80 КОП.

ИНДЕКС 73274

НАШ СОВРЕМЕННИК

Наш современник, 1989, № 11, 1 – 192.

НАШ СОВРЕМЕННИК 1989 11

ISSN 0027-8238



11 · 1989



Скульптор Ф. ВИКУЛОВ.
"Сергий Радонежский". 1980 г. Гипс тонированный. 20x14x10.
Фото А. Бурова.

НАШ СОВРЕМЕННИК

ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

11 · 1989

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА», МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **С. Л. Колганова, М. И. Кононова.**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200 24 83, 200 24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-18-71, 200-23 05 (отдел прозы), 200-23 07 (отдел поэзии), 200-24-76 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200 24 32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 14 08.89 Подписано к печати 24.10.89 А-03019
Формат 70×108 1/16 Бумага типографская № 2. Печать высокая
Усл. печ. л. 18 8. Усл. кр.-отт 17,24. Уч.-изд. л. 20,71 Тираж 313105 вкз. Заказ 1709
Цена 80 коп.

Издательство «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда»,
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

В. КАТАСОНОВ

ПРИРОДА НА ЭКСПОРТ

ПРЕОБЛАДАНИЕ топлива и сырья в советском экспорте существовало всегда, но «нефтяной бум» 70-х годов довел ресурсную ориентацию нашего экспорта до крайности. Так, если в 1960 году вывоз сырой нефти из СССР составлял 17,8 млн. т., то в 1980-м он достиг уже 119 млн. т. Стыдно сказать, но в начале 80-х годов на топливо, сырье и полуфабрикаты приходилось свыше 4/5 всего вывоза товаров из страны — это больше, чем у иных развивающихся стран. Не замечая, какую «мину замедленного действия» для нашего общества представляет растущий экспорт природных ресурсов, усердно писались многочисленные монографии, раскрывающие механизм эксплуатации империализмом природных богатств стран «третьего мира», пагубность ориентации их экономики на вывоз сырья.

С апреля 1985 года благодаря новому экономическому, политическому и экологическому мышлению пришло наконец осознание опасности сырьевой ориентации нашей экономики и внешней торговли. Начавшееся чуть раньше падение мировых цен на нефть и другие природные ресурсы обернулось для нашего государства убытками в 40 млрд. руб. (с начала 12 пятилетки от продажи только нефти) и одной из главных причин того, что союзный бюджет стал сводиться с громадным дефицитом (в 1989 году он, по предварительным оценкам, составит 100 млрд. руб., или более 1/5 бюджетных расходов)[1].

Сильная зависимость экономики СССР от вывоза одного товара — нефти (в начале 80-х годов — около 2/5 стоимости экспорта) делает ее (экономику) крайне незащищенной по отношению к стихии мирового рынка (особенно учитывая крайнюю неустойчивость сырьевой конъюнктуры). «Сокращение доходов от продажи нефти для СССР, — отмечает один из авторов журнала «Коммунист», — примерно равнозначно потерям, которые могли бы иметь место в случае потери всех доходов от экспорта продукции машиностроения, черной металлургии, леса и лесоматериалов, хлопкового волокна, рыбы и рыбопродуктов, вместе взятых». Подобные резкие «перепады» в уровнях экспортных доходов практически парализуют возможности планового ведения нашего хозяйства.

Если учесть, что вывозимые из СССР ресурсы практически лишены предварительной обработки, картина станет еще более грустной, а сумма потерь более полной. Наш «кругляк» (необработанные бревна), например, идет в западноевропейские страны не дороже чем по 72 доллара за кубометр, в то время как доски продаются там по 207 долларов за кубометр, газетная бумага — 630 долларов за тонну. Сегодня не только все развитые капиталистические страны, но и подавляющее большинство стран «третьего мира» прекратили подобный экспорт леса. Индонезия, Филиппины, Малайзия ввели запрет на вывоз «кругляка». У нас же в середине 80-х годов примерно половина лесного экспорта приходилась на необработанные бревна. Председатель Госкомлеса СССР академик А. С. Исаев в интервью «Советской России» (1988, 5 июня) заявил в связи с этим: «Неумение рационально переработать лес ставит нас в исключительно невыгодное положение на мировом рынке: мы по низким ценам вывозим эшелоны первосортных бревен и втридорога закупаем изделия из них же». Подобная же практика действует и по другим природным ресурсам. Самое ужасное, что вопреки всякой логике, требованиям научно-технической революции, многочисленным призывам и решениям партии и правительства в 70—80-е годы по многим группам сырья доля необработанной продукции, вывозимой за рубеж, не снижалась, а росла! Это означает, что разбазаривание национального богатства шло и продолжает идти по нарастающей.

Вряд ли удастся перевести на язык цифр экологические последствия от неуемного вывоза природных ресурсов. На одном Ямале, где ведется разработка газовых месторождений экспортного назначения, на сегодняшний день уничтожено шесть мил-

[1] Доклад министра финансов СССР В. И. Гостева на сессии Верховного Совета СССР в октябре 1988 г.

лионов гектаров оленьих пастбищ. По расчетам сотрудников Ямальской сельскохозяйственной опытной станции, минимальная стоимостная величина ущерба природе Ямало-Ненецкого округа составляет 60 млрд. рублей (что примерно равняется стоимости всего советского экспорта за год). Аналогичная ситуация и на других нефтяных и газовых месторождениях. Так, еще в 1983 году главный инженер проекта освоения газового месторождения в Ямбурге Г. А. Шемраев в беседе с корреспондентом журнала «ЭКО» (1984, № 2, с. 156—157) вынужден был признать: «Эффективной очистки стоков специально для Заполярья... еще не придумано. Используемые методы намораживания стоков неизбежно выльются в проблему — что с ними делать дальше? Предельно сжатые сроки проектирования не позволяют заказывать НИР. Это относится не только к очистным сооружениям, но и к проекту в целом». Комментарии, как говорится, излишни. Только работы в том же духе на Ямбурге продолжаются.

Не менее удручающее положение сложилось в сфере экспортных лесозаготовок. Казалось бы, лес — воспроизводимый ресурс, и поставки древесины за рубеж можно осуществлять при сохранении и даже расширении соответствующей экспортной базы. В Финляндии благодаря рациональному природопользованию площади лесов к концу столетия сохранятся на нынешнем уровне, а объемы лесозаготовок возрастут на треть. Увы, в условиях нашей бесхозяйственности даже воспроизводимые ресурсы перестают быть воспроизводимыми. Темпы лесовосстановления у нас в десять раз ниже, чем в Западной Европе. Прирост древесины на гектар в полтора раза меньше, чем заготовки; в Канаде и Норвегии — наоборот. При современных темпах лесозаготовок и экспорта древесины мы используем оставшиеся леса за 50—60 лет и превратим нашу страну, сохраняющую пока титул «лесной державы», в настоящую пустыню.

Наиболее, пожалуй, страшное последствие экспорта природных богатств за рубеж заключается в том, что он разрушает не только природу, но и человека. К. Маркс писал в свое время: «Слишком расточительная природа «ведет человека, как ребенка, на помочах». Она не делает его собственное развитие естественной необходимостью» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 522). Кажется, будто бы К. Маркс обращается специально к нам! Многие во времена застоя, наверное, задавались вопросом: «Почему?» Несмотря на усиливающийся развал экономики, мы продолжаем тем не менее существовать, и сравнительно безбедно: от голода никто у нас не умирал, люди приобретали дорогие вещи, молодежь привыкла модно одеваться, миллионы граждан стали выезжать за рубеж по турпутевкам и т. д. А ответ-то простой — за счет природных богатств, вывозимых за границу, то есть, выражаясь научным языком, за счет дифференциальной ренты (стоимости, создаваемой в других странах и улавливаемой нашим государством как владельцем природных ресурсов). Психология людей в таком государстве в своей массе становится иждивенческой (исчезает привычка к творчеству, инициативе, напряженному труду).

В период с 1974-го по 1984 год экспорт нефти и нефтепродуктов дал нашей стране солидный доход — 176 млрд. инвалютных рублей. Где же они? Значительная часть из них ушла как вода в песок: была проедена или изношена в виде импортного ширпотреба. Видимо, не случайно, что «нефтяной бум» и резкий рост закупок зерна и продовольствия нашей страной совпали во времени. Если в 1970 году мы импортировали зерна на 121,3 млн. рублей, то в 1976-м уже на два миллиарда, а в 1981-м — на четыре миллиарда. В застойные годы закупки зерна за рубежом вышли на уровень 30 — 40 млн. тонн в год. В то время как Индия и Китай успешно продвигались к решению своих продовольственных проблем, мы все больше запускали свое сельское хозяйство.

«Нефтедоллары» оказывали развращающее влияние на наших руководителей промышленности. Вместо поиска внутренних резервов они предпочитали закупать импортное оборудование. В результате сегодня на таком оборудовании в стране производится почти 100 процентов искусственных волокон и жидких комплексных удобрений, более 70 процентов аммиака и карбамида, 60 процентов цемента, 40 — целлюлозы и бумаги, 30 — проката, более 70 процентов легковых автомобилей. Только за годы 11 пятилетки страна получила из-за рубежа различных видов машин и оборудования на общую сумму свыше 100 млрд. руб. А импорт в конечном счете работал в подавляющем большинстве случаев против нас. Прежде всего он тормозил собственные научные исследования и разработки. Кроме того, часто закупалось морально устаревшее оборудование, способствующее еще большему отставанию нашей страны от Запада в техническом отношении. Наконец, направлялось оно прежде всего на развитие отраслей и производств, связанных с добычей топлива, сырья, производством материалоемкой и энергоемкой продукции. Все большее количество «нефтедолларов» стало расходоваться на дальнейшее расширение добычи ресурсов и производства первичных материалов. В результате возникла ситуация «экспорт ради экспорта»; наша экономика попала в своего рода «порочный круг» сырьевого экспорта.

Задача вырваться из этого «порочного круга» была четко поставлена XXVII съездом нашей партии. Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков, в частности, в своем докладе на съезде заявил: «Внешняя торговля вносит весомый и все возрастающий вклад в развитие нашей экономики. Ныне практически нет ни одной отрасли, которая не была бы вовлечена в сферу внешнеэкономических связей. Однако быстро двигаться вперед традиционными путями невозможно. Прежде всего предстоит изменить сырьевую направленность экспорта, повысить в нем долю обрабатывающих отраслей». Решение правильное. Как же оно выполняется?

Посмотрим на стоимостную структуру экспорта СССР. В 1980 году доля сырья, топлива, энергии, полуфабрикатов, химических продуктов и пищевкусовых товаров в нашем экспорте равнялась 81,7 процента (остальное пришлось на машины, оборудование, транспортные средства, промышленные товары народного потребления). В 1985 году этот показатель составил 84,4 процента, в 1987-м — 81,9 процента. Как видим, особых изменений сегодня по сравнению с началом 80-х годов не наблюдается. Некоторое уменьшение доли по сравнению с серединой 80-х годов объясняется значительным падением цен на топливно-сырьевые товары на мировом рынке. Казалось бы, в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры здравый смысл должен подсказать необходимость сокращения вывоза дешевеющего товара (тем более что многочисленные прогнозы предсказывают в дальнейшем существенное повышение цен на нефть и некоторые другие ресурсы). Мы же, оказавшись в «порочном кругу», поступаем как раз наоборот: чтобы компенсировать падение экспортных доходов, всячески наращиваем физические объемы вывоза ресурсов. Так, за 1985 — 1988 годы стоимость советского экспорта — в силу прежде всего падения мировых цен на нефть и газ — уменьшилась на 8 процентов, а физический объем экспорта увеличился на 16 процентов. Только за 1985 — 1987 годы вывоз нефти из страны вырос со 117 млн. до 137 млн. т (на 17%), природного газа — с 68,7 млрд. до 84,4 млрд. куб. м (на 22,9%), круглого леса — с 15,4 млн. до 19,3 млн. куб. м (на 25,3%) и т. д. С горечью приходится констатировать, что подобные «ножницы» в динамике стоимостных и физических объемов экспорта — типичная черта экономически слаборазвитых стран. Такая ситуация означает, — и этот вывод давно уже сделан специалистами по экономике развивающихся государств, — что чем больше страна вывозит, тем беднее она становится. Наше форсирование топливно-сырьевого экспорта напоминает все убыстряющийся бег на месте или даже вспять.

Форсирование вывоза опирается на дальнейшее наращивание добычи ресурсов. На фоне общеэкономической динамики топливно-сырьевой сектор нашего хозяйства демонстрирует истинные образцы «ускорения». Так, максимум добычи нефти в 11 пятилетке пришелся на 1983 год — 616 млн. т (включая газовый конденсат); затем добыча сократилась до 595 млн. т. Как пишет А. Аганбегян, «за прошедшие (после 1985 г. — В. К.) два года в Западной Сибири наблюдается форсированный ввод нефтяных месторождений. Все это позволяет преодолеть неблагоприятные тенденции в Западной Сибири и добиться устойчивого увеличения добычи нефти. За один 1986 год прирост добычи нефти (включая газовый конденсат) в стране составил 20 млн. т. В 1987 году продолжался устойчивый рост добычи нефти, и ее объем (включая газовый конденсат) составил 624 млн. т.» (Аганбегян А. Советская экономика: взгляд в будущее. М., Экономика, 1988). В том же восторженном духе академик пишет о дополнительной добыче природного газа, угля, деловой древесины. И это притом, что затраты на добычу каждой тонны топлива и сырья у нас растут чуть ли не на глазах. Весьма странно слышать похвалы в адрес наших добывающих отраслей от ученого, который всего три года назад доказывал, что наращивание добычи ресурсов в нашей стране нецелесообразно, так как оно тормозит перевод советской экономики на рельсы интенсивного развития (см. Аганбегян А. Научно-технический прогресс и ускорение социально-экономического развития. М., Экономика, 1985). О причинах подобного рода метаморфозы остается только догадываться.

Попирая решения XXVII съезда партии, «успехи в дополнительной добыче» сегодня начинают восхвалять многие хозяйственные руководители, которые по своему положению как раз и призваны решать задачи структурной перестройки экономики и внешнеэкономических связей страны. Так, заместитель председателя Госплана СССР Л. Б. Вид в «Экономической газете» (1988, № 37) сообщает читателям: «Перед предприятиями и объединениями комплекса (топливно-энергетического. — В. К.) поставлена очень важная задача по наращиванию производства. В 1989 г. предстоит добыть сверх заданий пятилетнего плана на этот год 8 млн. т. нефти с газовым конденсатом, 20 млрд. кубометров природного газа и 16 млн. т. угля.

Это позволяет подкрепить прежде всего экспорт, который должен обеспечить ресурсы для решения ряда проблем, в том числе социальных...» Старая, порочная линия, тянущаяся из времен застоя! А в газетных передовицах опять стали появляться набившие оскомину рапорты и заметки «о досрочном выполнении» и «перевыполнении плана» по добыче нефти и газа, выплавке стали, заготовке леса и т. д.

Может быть, кто-то опять хочет приучить нас к мысли, что чем больше мы выкапываем, выкачиваем, выплавляем, рубим, а затем вывозим, тем лучше нам живется? Опасная философия. И очень живучая! Эту философию отдельные хозяйственные руководители стремятся подкрепить своими «доморощенными» доводами и аргументами. Так, председатель ВТО «Союзнефтеэкспорт» В. А. Арутюнян на страницах «Литературной газеты» сообщает читателям: «Мы знаем о существовании такого мнения, что экспорт нефти и нефтепродуктов является чуть не стратегической ошибкой. Как тогда объяснить, что такие промышленно развитые страны, как Англия и Норвегия, не испытывают никакого «комплекса» оттого, что являются крупными поставщиками нефти на мировой рынок?»

Трудно согласиться с такой постановкой вопроса. Во-первых, доля нефти в экспорте указанных капстран была и остается на более низком уровне, чем у нас. Во-вторых, после «нефтяного шока» они почуяли опасность чрезмерной ориентации на экспорт «черного золота». Так, Норвегия еще

с 1982 года взяла курс на выравнивание диспропорций в структуре национальной экономики и снижение ее зависимости от «нефтедолларов». А в-третьих, с коих пор мы начали ориентироваться на худшие образцы в мировой практике? Почему бы т. Арутюняну не привести опыт такой развивающейся страны, как Кувейт, которая уже много лет проводит курс на сознательное ограничение добычи и экспорта нефти для того, чтобы растянуть ее запасы на максимально длительный срок. Кроме того, в Кувейте осуществляется отчисление части «нефтедолларов» в фонд будущих поколений. Поистине дальновидная политика, достойная подражания!

Защищаемая тт. Видом, Арутюняном и им подобными «философия» «чем больше вывозим сырья, тем лучше живем» откровенно выражает интересы административно-бюрократического аппарата. Ведь этот аппарат — за такую «перестройку», которая позволила бы «менять, ничего не меняя». И тут она возвращается к старому, испытанному приему: решать наши экономические, социальные и прочие проблемы с помощью валюты, получаемой «Союзнефтеэкспортом» и другими ресурсоэкспортирующими организациями. И это вместо того, чтобы осуществлять реальную, революционную перестройку: внедрять прогрессивные методы хозяйствования, предоставлять трудящимся реальные права в управлении производством, раскрепощать трудовой и творческий потенциал народа. Но такая перестройка требует от руководителей незаурядных способностей, мобилизации всех сил, настойчивости, а главное — смелости.

Бюрократия прекрасно понимает, что осуществление подлинной перестройки неизбежно будет подрывать устои ее власти. К ее сожалению, нельзя выдрессировать человека таким образом, чтобы тот, как отмечал Чернышевский, умел быть энергичным на ниве и безответным в приказной избе. Вот и делает она ставку на извлечение полезных ископаемых из недр земных вместо того, чтобы извлекать энергию и таланты из недр народных. Расчет не на человеческий, а на природный ресурс. Хотя первый более важен в эпоху НТР, является возобновляемым, а самое главное — совершенствующимся.

Мне могут возразить, что я сгущаю краски, что после XXVII съезда партии прошло еще только три года и что, мол, рано еще ждать каких-то реальных результатов перестройки структуры экономики и внешней торговли. Смею не согласиться с подобными утверждениями. Дело в том, что прямо на наших глазах сырьевая ориентация советской экономики «программируется» на многие годы и десятилетия вперед.

Возьмем, к примеру, хотя бы принятую недавно Долговременную государственную программу развития производительных сил Дальневосточного экономического района до 2000 года. Программа планирует трехкратное увеличение экспорта из региона. Однако это предусматривается прежде всего за счет продажи нефти, газа, угля, леса, причем преимущественно в необработанном виде. В это трудно поверить, но, например, объем экспортируемых пиломатериалов по отношению к вывозу круглого леса составит в 2000 году не более 10 процентов. Фактически эта программа узаконивает распродажу воспроизводимых и невоспроизводимых ресурсов богатейшего края, обрекая его на превращение в территорию с лунным ландшафтом. Уже не приходится говорить о том, что она будет способствовать увеличению разрыва между советским Дальним Востоком и его соседями — Японией, Южной Кореей, другими странами, превратит его в сырьевой придаток Азиатско-Тихоокеанского региона.

А давайте посмотрим на нынешний «бум» создания совместных предприятий с участием западных компаний.

Известно, что первоначально совместное предпринимательство было задумано для того, чтобы дать импульс развитию наукоемких отраслей промышленности, а также производства потребительских товаров и некоторых видов услуг для удовлетворения нашего внутреннего спроса. Однако сегодня складывается впечатление, что процесс создания совместных предприятий идет стихийно, уводя нас в сторону от магистральных путей развития научно-технического прогресса, причем активной стороной в этом процессе оказываются, к сожалению, не наши центральные экономические ведомства (Госплан, Государственная Внешнеэкономическая комиссия и др.), а западные монополии.

Что же надо нашим капиталистическим партнерам? Об этом откровенно говорит директор международной фирмы «Бизнес интернейшнл» Джон Скиннер: «Западные компании, заинтересованные в создании крупных совместных предприятий, преследуют в основном две цели: проникновение на советский рынок и переработка имеющихся там природных ресурсов с последующим экспортом». Ориентация на использование наших природных богатств вполне объяснима — цена на топливно-сырьевые товары на нашем внутреннем рынке, по крайней мере на сегодняшний день, в 2—2,5 раза ниже, чем на мировом. Объяснимы и планы западных фирм организовать переработку этих ресурсов на нашей территории — она относится к разряду «грязных» производств. Необъяснима только позиция наших хозяйственных руководителей, идущих на подобного рода «взаимовыгодное сотрудничество». Далеко за примерами ходить не надо: в марте 1988 года Миннефтепром СССР подписал протокол о намерениях по созданию совместного предприятия «Тенгизполимер». Иностранные партнеры — итальянские корпорации «Эни», «Монтэдисон», американская «Оксидентал петролеум», японская «Марубечи». Предусматривается создание крупнейшего в Восточном полушарии газохимического комплекса на базе мощнейшего месторождения углеводородов, сравнимого с такими всемирно известными гигантами, как западносибирское Самотлор или аляскинское Прадхо-Бей. Комплекс будет производить ежегодно 1 млн. т. гранулированной серы, 600 тыс. т. полиэтилена, 400 тыс. т. полипропилена, значительное количество других пластмасс. В предприятие намечено вложить 6 млрд. долл. Предусматривается, что значительная часть продукции будет экспортироваться. В связи с подписанием протокола о намерениях председатель совета директоров «Оксидентал петролеум» А. Хаммер на пресс-конференции в Москве заявил: «Мы не благотворительное общество, а группа транснациональных корпораций. Наша цель — получение прибыли». Возникает вопрос, каким образом эта «группа» планирует получение прибыли, если учесть, что в момент подписания протокола конъюнктура на мировом рынке тех товаров, которые должен выпускать «Тенгизполимер», была весьма неопределенной? Можно предположить, что она рассчитывает либо на дешевое сырье, либо на более низкие, чем в других странах, природоохранные издержки, либо на то и другое одновременно. Очевидно, что при этих условиях никакие превратности мировой конъюнктуры «группе транснациональных корпораций» будут не страшны. Капиталистические фирмы явно хотят подзаработать на непростительной уступчивости наших ведомств.

Другой проект подобного же масштаба (5 млрд. долл.) предполагается реализовать на базе тюменских месторождений нефти и газа. 1 ноября 1988 года Минхимпром СССР подписал протокол о намерениях с японской компанией «Мицубиси». Он предусматривает строительство в Нижневартовске в течение 13 и 14 пятилеток 15 заводов по производству конструкционных и полимерных материалов. Есть сведения, что нашими ведомствами ведутся переговоры с инофирмами с целью подписания соглашений о создании еще нескольких гигантов подобного же профиля. Переживаемый сегодня «бум» совместного предпринимательства может привести к тому, что уже к началу следующего столетия все наши природные богатства «уйдут» в виде полуфабрикатов за рубеж. Следует также иметь в виду, что загрязнение окружающей среды и другие экологические последствия от деятельности совместных предприятий лягут на плечи отнюдь не американского, итальянского или японского народов, а нашего. Очень может получиться: «им доходы — нам отходы». Подобная политика уже давно осуществляется транснациональными корпорациями в странах «третьего мира». Судя по всему, наши хозяйственные руководители не хотят учиться на чужих ошибках.

Будем откровенны до конца: действия таких руководителей толкают нашу страну на превращение в самый заурядный сырьевой придаток промышленно развитых капиталистических стран со всеми вытекающими последствиями: усилением экономической зависимости и утерей реального политического суверенитета. Для этого не надо быть ясновидцем: перед нашими глазами — печальный опыт развивающихся стран, вывоз сырья из которых не сделал их богаче, а привел в конце концов в самую настоящую «долговую яму» (внешняя задолженность стран «третьего мира» достигла уже астрономической цифры — 1,3 трлн. долларов).

Итак, экономический, экологический, нравственный, политический императивы: решительный отказ в нашей хозяйственной деятельности от опасного принципа «валюта — любой ценой» и безотлагательное прекращение распродажи наших природных богатств.

Ольга ГРЕЧКО



ЖИВЫ ЛАСТОЧКИ...

Поколение

Слава богу, не поодиночке
вырывают с корнем нас и жгут.
Нам не больно: вынянчил в песочке
берег Леты, сморщенный лоскут.
Никому не смею посулить я
лишних благ,
но хоть умрем не врозь.
Нам не больно,
без кровопролитья
после стольких боен обошлось.
Не над нами вороны кружили.
Кто был зол, кто чересчур умен.
Не убили — памяти лишили.
Не убили — не дали имен.

Деревня

Не коробит, слух не режет
ставней вывихнутых гром,
нелюдимый скрип и скрежет
покосившихся хором.
На дворе колодец вырыт,
пахнет плесенью дыра...
Но куда девалась, ирод,
сих подворий детвора?

Я-то выберу хибару,
стану семечки калить,
с домовым примусь на пару
до полуночи шалить.
Что мне глушь, когда я в гости
залечу на два денька —
покукую на погосте,
посижу без огонька.
Ни подкидышей, ни сирот,
ни иного дурачья...
Чья же это пашня, ирод?
Иль уже совсем ничья?!

* * *

Где дырявые ребра сарая
подпирают худую солому,
где, подворье свое озирая,
дремлет Русь,
подлежащая слому,
где нет-нет —
покачнутся и скрипнут
еще стольких строений скелеты, —
там...
к чему же там ласточки липнут —
и снуют, и хлопочут все лето?
Темный пруд зарастает цикутой,
камышом, и кувшинкой, и ряской.
Хоть по грудь меня тиною кутай,
хоть зубами от холода ляскай,
хоть какой — ради легкой поживы—
небылицей загробною потчуй, —
лето — жаркое,
ласточки — живы,—
а я знаю, что каждая — зодчий!
Эта лепит, а та штукатурит...
Дом и сад, и кувшинки, и снова
тихий омут загадочно щурит
золотые глаза водяного.

* * *

Распятье — пяльцы, вышиванье.
Боль,
в рот набравшая воды.
Какая цель у выживанья
все той же тощей лебеды?
И что у сорняка за гонор:
вплотную подступив к крыльцу,
хранить наш акающий говор,
гнать наши слезы по лицу?
Мы ж — под сургуч да под
замазку
свою полупрямую речь.
Лицо — под гипсовую маску,
чтоб выражение сберечь.
Молчанье хоть и многогранно,
оно как чужеземный плен,
где речь родимая сохранна
не дальше четырех колен.

Ненастье

Дремучий, древний шум, дождя косой орешник.
Как соль поваренная, вся в нем растворюсь.
Качается в саду покинутый скворечник.
Путь, горизонт, сквозняк, расхристанная Русь!
Что Русь, когда земля — в чужом глазу соринка,
когда не газ, а день с утра слезоточив.
Созвездье белых астр везут обратно с рынка:
дождь смыл с них полцены, старух ожесточив.
Я тоже не в цене — вчерашний недобиток.
С орбиты сорвалась, и выронила ось.
Астральной белизны во мне кипит избыток,
топорщатся лучи, прошившие насквозь.
С кем пламень поделить и в чем искать опору,
какого пожелать провидца и вождя!
А дело только в том, куда упасть забору
от золотых шаров, от ветра и дождя,
от яблонь — в чьем саду? Кто кутал их рогожей?
Кому за поворот нестрашно заглянуть?
Кто урожая ждет и осени погожей?
Ни я, ни мой сосед, ни прочие, отнюдь.

* * *

Слабо для песни лебединой.
Свой берег отпихнув шестом,
мы зарастем чернильной тиной,
а не рябиновым кустом.

Кто в тине квакает, кто в иле...
Дух заронив в антитела,
мы пустяка не поделили:
чужбины.
Родина цела.



Виктор ЛАПШИН

ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ БЕССТРАШНО

Святая правда

В восторге мстительном, или в слепой надежде,
Или в отчаянье мы те же, что и прежде:
Без прав наследственных, а с правом на права,
Без веры верные, отходчивые чудом,
Для пользы призрачной презревшие Слова,
Что ненавистнее погибели иудам.
Всех благ даятели — мы подаяний ждем,
Снимаем головы друг другу пред вождем,
Покорно каемся, умнеем торопливо,
Блуждаем радостно в глухом лесу затей
С опасливой оглядкой на детей,
Чья жизнь ущербная пуста иль сиротлива.
Их «Дай!» немыслимо без нашего «Даешь!».
Святая правда: что посеешь, то пожнешь.
Уже с ухмылкою бесовской доброхоты
От нас уводят их в бездонный ад забав...
Нет, поздно спрашивать: «Кто виноват? Кто прав?»
Пора задуматься бесстрашно: «Чей ты? Кто ты?»

Ответ народным фронтам

Опять клевещут и хулят
И покаянно пасть велят
России — на колени,
Как будто я, и ты, и он —
Свирепей волка испокон...
От рабства и от лени.

Мы знаем: ропщет не народ,
А лишь смутьян или юрод.
Иль неизвестно миру,
Что принимали вы хлеба
Из рук «лентяя и раба»,
Что беситесь вы — с жиру?

Кто некогда весь мир кормил?
Кто голову свою клонил
Пред Богом лишь и к Богу?
Чья богатырская артель
Могла за тридевять земель
Метнуть стрелу-дорогу?

Кто вас обидел? Разве ж мы?
От Соловков до Колымы
Не распинали нас?
Мы ль благу предпочли нужду?
Под чью вы пляшете дуду,
Чей близите вы час?

Корите спесью... Где она?
На всех равно лежит вина.
Смиритесь прежде вы!
Куда ни глянь — на бесе бес...
И нам, и вам погибель — без
Державы и Москвы.

Страшный сон

Век мыслимый, но может быть, и ближе.
Всемирное смотрелище в Париже,
Приют лентяям и зевакам рай, —
В восторгах млей, от зависти сгорай:
Тут ящик-спрут читает мысли бойко,
Там жалами сверкает землеройка:
«Держись, Ядро Земное, досягну!»;
А рядом «Коршун» смотрит в вышину:
Скажи: «Вперед!» — и, дряхлый или юный,
Ты через час ворвешься в кратер лунный;
Поодаль глина преет в Икс-котле,
И атомы в его гудящей мгле
Мятутся, стрекоча и подвывая:
Был глины ком — отведай каравая;
Вот бородатый Лейба Иванофф
Скопцов преображает в Казанов;
А вон цистерна с жижей ярче лака:
Глотните — и ни СПИДа вам, ни рака...

Береза здесь печальна и ряба.
В ее тени стеклянная изба.
Внутри — хозяин, стриженный под скобку.
В лаптях, в кафтане, выдирает пробку
Зубами из бутыли и в стакан
Льет водку он, с утра до ночи пьян.
Пред ним ржаные черствые чечули
И в жбане квас; на самодельном стуле
Сибирский кот, весь в лишаях, — Базиль.
Табачный пепел на полу и пыль,
В углах свисают клочьями тенета;
Христос взирает горестно с киота,
И балалайке дремлется под Ним.
Роятся мухи над горшком ночным.
Страж у крыльца, но на дверях — приманка:
«ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ. Вход четыре франка».

В углу

Под вопль и рокот роковый
(«Насилуй, грабь и режь!»)
Слезливо он сморкается
И отирает плешь,
Похрустывает пальцами,
Отхлебывает кофе.
«Вновь мы до Смуты дожили!
Россия на Голгофе!
Свободу вам, голубчики?
Да хватит ли на всех?
Закона захотели вы?
А где закон — там грех!
Кто власть у власти требует —
Не властен над собою!
Рабы свободы, радуйтесь
Расколу и разбою!» —
Кривится он и морщится,
И сплевывает зло,
Глядит на площадь сумрачно
Сквозь пыльное стекло,
Где тени тьмою рушатся.
И вспыхивают фары —
Под вопль и рокот бешеный...
О, время Божьей кары!

Они

Надоело: галдят и булгачат.
Да, бесправье и гнет...
Кто их держит? Никто не заплачет,
Вслед рукой не махнет.

Им ли мало и меду, и млека?
Гей, безродные, в бег!
Им желанны права человека,
Нам же — сам человек.

Аркадий САВЕЛИЧЕВ



ПЕРЕБОРЫ

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

За хлебом двинулись перед вечером, по золкому, еще светлому ветру. В Череповце телушка — полушка, стало известно деревне. А за перевоз сколько? Дорога сорок верст — дай бог хоть к утру добраться.

Федор Самусеев, однорукий председатель, раздерганный жизнью, пробовал задержать:

— Куда-а?.. Без вас там мало оглоедов?!

Ему не отвечали, чтобы лишний раз не раздражать. И так уж порубанная щека злым шнурком дергалась. Федора любили, закрывая глаза на все его председательские грехи. Тоже от бесхлебья кричит, от полного изнеможенья. Всю войну продержался, все три послевоенных года маятником прокачался между властью и безвластием... и вот остановился как несмазанный. Качни влево, качни вправо — ему все едино. Без женушки не сойти с крыльца... Да и чего там делать, на улице? Криком никого не возьмешь, а куском и собственный рот не заткнешь. Из амбаров мыши и те поубегали, наверно, в Череповец — город теперь хлебный, поди, прослышали: «Карточки поснимали, ка-арточки!» О людях и говорить нечего — впереди мышей бежали, по-мышиному тихо, бессловесно. Для председательского успокоения, да и для своего, конечно, вроде бы с работы шли, мимоходом.

Странно: не в деревню, а из деревни. Тихо и пригорбленно, как истинно уработавшиеся люди; так тихо выходили, что хрупкие навершки с оснеженных калиток не ссыпáлись — не хлопали на виду у председателя. Тот в конце концов пустым рукавом махнул, сказал свое успокоительное: «Ладно, хоть напьюсь да Юрок погоняю». — Но и оба Юрия, зная нрав названого батьки, тишком санки-дровушки за веревку и в калитку шмыганули. — «Вот теперь самое время душу потешить! Совесть чиста».

Чистой была совесть и у людского ручейка. Словно оттолкнувшись от дома Барбушиных, шорохом походных дровушек взбудоражил ручеек деревню, потолкался на изломе заулка у председательского дома и, набирая молчаливую силу, скатился за околицу. Дальше дорога известная — к Череповцу.

Барбушины и правили зимним избишинским ручейком. Вернее — старая Барбушиха, потому как даже дочки ее великовозрастные, Ия и Светлана, не могли поспеть за ней. Черный ли, белый ли ветер навстречу — так пластами и разваливался под костистой грудью Барбушихи. Она, оголодавшая, на запах хлеба бежала.

Журнальный вариант.

Хорошо задворья невелики. Вскоре дневной вьюжный ветер отступил перед гулким сумраком леса. Урёмные ели закачались и предостерегающе заскрипели. Но если и на дорогу повалились бы — все равно не остановили бы Барбушиху. Своим плечом старая и лес пропахала б. Прочь с дороги, сотона-а, изыди и отойди! Дорога натоптанная, с довоенных еще, переселенческих времен, когда море Рыбинское нагоняли на Забережье, а люд забережный загоняли в леса. Эти лесные семь верст избишинцы уже и не замечали — злой, скорый шаг вынес их на берег моря.

Завечерело. Ветер ударил с новой силой. Избишинцам надо было заворачивать влево, к церкви, и выходило: ветер не помеха — помощник неожиданный, почти попутчиком шел, разве что сильнее трепал правое плечо. Избишинцы катились с бугра на своих дровушках воистину как призраки лесные. Со стороны береговой церкви, где стояла рыбацкая артель, им что-то грозили, но они отмахивались, ясно было и так: предостерегали. Прибрежный лед изрублен рыбаками, заводившими в проруби сети, и уж немало горячих голов нашло могилу на дне окаянного моря... В том смертном счету и Домна Ряжина, мать одного из Юрок, того, что за старшего Ряжина остался. Он вышагивал, как положено, впереди, да и повыше был, приметнее; второй-то, из повзрослевших беженцев-белорусов, приходился ему только по плечо. Ходко, молчаливо шли судьбой сведенные побратеники. Но у мертвой, вросшей в лед березы остановились почти одновременно. Там, в оледенелом море, покоилась мать старшего Ряжина. Рыбные проруби и в первую военную зиму рубили, а нрава моря, разбухшего на крови Шексны, не знали. Может, эта береза, а может, и какая другая слышала предсмертный крик Домны, но останавливались Ряжины, коль приходилось, именно здесь, у березы приметной, как бы когтями изодранной. Поговаривали, это Домна ногтями обмерзлыми за ствол цеплялась, все не хотела на дно уходить. Старший Юрка неспроста черные метины погладил, прежде чем пустился догонять своих.

Могилы, военные могилы, куда ни глянь! Море выстлало льды на месте бывшего Избишина; березы-то были деревенские, вот в чем дело. Разбросало бывшую деревню широко и далеко, ой далё-око!.. До Мяксы и Череповца, до Рыбинска и Вологды, слышали, и до самой Москвы. Уж во всяком случае, и до кладбища затопленного — кое-где еще выступали кресты из-подо льда, иней серебрил задубелые оконечники. Сумерки скрашивали страшный разор. Иди и припади, человече! Да не по пути им было — старая Барбушиха нарочно в сторону своротила. Иначе пришлось бы у многих, ой, у многих могил останавливаться!.. Она лишь стрельнула завьюженным глазом в сторону притихших ребятишек и неожиданно ласковенько сказала:

— Ладно, хлебца бы поесть...

И сразу всё — из головы вон. Хлебца, хлебца! Прости кого мать, прости кого отец... А простит ли земля родная? Шли избишинцы по своей родовой деревне, веками стоявшей на хлебном пути и потому не знавшей голода, озверело топтали ее заледенелый прах, но думали не о ней — о Череповце, о дальней дороге... и горячей, парной буханке в конце той заклятой дороженьки... Ветром принесло весть — карточки отменили! — ветром и в спину толкало: без карточек дают, всякому-якому, даже колхознику! Вдруг и деньги цену возымели, деньги снова заскрипели в потных, натруженных руках. И скрип этот единым вздохом отдался:

— О-осподи! И колхозникам, как людям?!

Значит, можно им? Если, конечно, повезет, если дойдут до Череповца и достоятся в зимней очереди. Сорок верст — свет не ближний, чего уж там. Но за ночь одолеть можно, коли идти и идти, не останав-

ливаться и про ноги не думать. Юрий Ряжин и не думал про них, просто шел, как лошадь, мотая головой, по намятой Барбушами и другими женщинами тропе. «Мужики отстали, а бабы тропу торят», — устыдился Юрий и обернулся к побратенику:

— Обгоним, Юрась?!

Не хотелось тому с хорошего хода в снег зарываться, но привык слушаться названого братца — следом припустил. Передние дровушки обошли уже со взмокшими спинами. И только приняли тропу, сбились с Барбушихиного шага. Она прикрикнула:

— Кой ляд! Так и до завтрева не пришарашимся.

Отдышавшись, Юрий прибавил шагу. Но Юрась отставал на старой, уже сильно переметенной тропе — валенки увязали.

— Садись, — велел Ряжин и крепче взялся за построму.

Поначалу Юрий особой разницы не чувствовал. Дровушки взяли с собой легонькие — одно название. Не дрова же на них возили! А побратеник и того легче... Но вскорости уже тянул построму, тянул и завидовал женщинам, откатившимся назад, на ровную, накатанную мало что валенками, так еще и полозками тропу.

— Юрко, бачышь агеньчыки?

Юрий ничего не ответил. Братца-белорусика он по-своему любил, но держал в строгости. Младшему — и младшее слово.

— Помолчал бы лучше, карась!

Побратеник молчать-то молчал, да все в спину, должно, посматривал, и старший Юрий почувствовал: теплеет под кожушком. В самом деле, говорит Юрась — как наваждение сгоняет, чего малого строжить. Хлебца бы ему в зубы да прокатить с ветерком! Только не с таким злющим... Жаль, хлебца не было, в узелке — лишь десяток картошин. Оглянулся, и Юрась понял: быстренько дорожную котомку развязал.

— Почастуйся, братка.

Пожевали на ходу — хороши картошины. Старший Ряжин подгонял себя: «Быстрее, быстрее...» Но тропа пошла хуже, местами она терялась под снежным наносом — и тогда Юрий оступался, а то и падал, подминая снег всем телом, местами она выходила на гладкий лед — и тогда легонькие дровушки прямо-таки неслись на ветру что было духу. Остальные избишинцы уже заметно поотстали, пошумливали — не для всех в радость по топкому снегу наперегонки бегать.

Юрий знай поддавал жару и совсем не ждал, что уткнется с разгону в сугроб, начисто сбивший тропу.

— Приехали... — сказал досадливо, подсаживаясь к Юрасю на дровушки.

Сзади подходили и подъезжали другие, рассерженно гомонили. Мало-помалу обоз подтянулся к побратимам. Избишинцы устали и проклинали дорогу. Старший Ряжин — мужик, пятнадцать годков, шутка ли! — в пустые бабьи разговоры не встревал. Раскрыл котомку и достал по паре картошин, подкрепиться не мешает — сколько еще бежать. Ели не торопясь, не беспокоясь, что в мешке всего ничего остается, — обратно на хлебе череповецком побегут. До Череповца дотащиться бы!

Юрий сидел на дровушках, вглядываясь в обманчивую гладь. Слева чернели затопленные леса, справа что-то посверкивало. А что — лед, известно. Там стрежень, ширь, там ветры все сметают. Туда?..

— Туда и пойдем, — сказал он, — в этих снегах завязнем.

Барбушата несговорчиво зашумели, да и пожилым женщинам его указ не понравился — поднялись и поперли по сугробам, отыскивая заметенную тропу. Как же, найдешь ее здесь — со всего моря сметает! Юрий насмешливо смотрел на барахтавшихся в снегу крикливых куриц и не спешил подниматься. Среди вмерзших в лед деревин отыскал взглядом подходящую елку и послал к ней Юрася. Нужен был длинный сук. Ничего не стоило согнуть из него дугу, вставить в заднюю обвязку дровушек и привязать к ней растянутый мешок — парус!

Как вышли на гладкий лед, в мешок так и ударило ветром, так и понесло по звонкому льду! Еще довоенные отцовские дровушки, полозья окованы шинкой — коньки, да и только! Юрась плюхнулся — несет. Погодя на смену Юрасю и старший присел — понесло и его, тяжелого. Женщины уже не ворчали, торопились выбраться на гладкий лед, повеселели, приободрились.

Но укрепились души бабонек ненадолго — белый ветер перешел в черный, ночной. Вскоре обрывки тревоги долетели до Ряжина:

— Не заплутать бы, оюшки!..

— Заклятое море-то!..

— Ведь позаги-инем, позасты-нем!..

А того не понимают, что если ветра держаться — не заплутаешь: южный, злой на зиму, от Рыбинска тянет, но как ни злится, несет все равно к Череповцу. Хоть и не видно его в ночи, Юрась то и дело с дровушек голос подавал:

— Аге-еньчыки! Аге-еньчыки!

Как ни всматривался Юрий в черноту, никаких «агеньчыков» не видел. Ветер лизал выметенный дочиста лед. Подбрасывал сверху белое сеево, кружил поземкой. Казалось Юрию, вместе с поземкой дровушки их кружит, а за ними — весь избишинский обоз.

Ночь уже исходила предрассветной чернотой, а до Череповца еще не добрались и Юраськины «агеньчыки» куда-то запропали. Холодом жгло спину, страхом: а ну как заблудились? Хоть и шли все время по ветру, но море без конца без краю, необузданное, может, в какой глухой затон занесло их и кружит на месте. За ветром, злым поводырем, и идут по кругу...

Юрий остановился. Да и вовремя — сзади донеслось испуганное:

— Ведь погиба-аем!..

— Заве-ел нас Ряжин!..

Юрий кричал: «Зде-еся мы! Зде-еся!» — кричал долго, натужно, пока не сбились, не сошлись в кучу вокруг их дровушек хлебные ходоки — не заметались перед лицом истрепанные ветром черные полы нехитрой одежонки избишинцев. Пока не почувствовал: вот сейчас ткнется головой в сугроб — и больше не встанет. «Да, в сугроб уперлись — откуда тут сугробы?! Все лед был, лед, и вдруг намело, как под береговой кручей... Круча? Береговая?!» — и когда прожгло его страхом, вдруг и померещилось что-то живое впереди...

— Лезь на плечи, — велел Юрасю.

Сам встал на дровушки, с трудом, из последних сил приподнял Юрася. Побратеник вытянулся лозинкой на плечах: «Аге-еньчыки! Близенько...» — и тут же, словно сухой прутик, в сугроб полетел — ветром снесло...

Неужели к череповецкому берегу прибились?..

Стоило сделать в гору десяток-другой трудных шагов — и, будто сказочный сад над береговым обрывом, открылся Череповец. Всей своей нагорной частью. Всеми своими утренними огнями. Огни сулили хлеб — вожделенный, близкий...

Со стороны Череповца, заполняя всю округу, призывно, радостно, гостеприимно неслось:

> Жизнь счастливая колхозная
> Спелым колосом шумит.
> С кумача победно-звездного
> Мудрый вождь на нас глядит.

Магазин начали штурмовать прямо с ходу. Передом шла старая Барбушиха. Так и разваливала плечом толпу — откуда и силы взялись! — так и раскраивала ее, словно плуг, вспарывающий сцепившуюся корнями дернину. А с боков голодных людишек отжимали молодые Барбушата:

— Матаня, смотри-гляди, не уступай никому!
— Как же, гляди-смотри, уступлю-у!
— Эй, Светка, дя-аржись!
— Ийка... э-эх... поддяржи-и!..

Со звериной яростью двухлемешный этот плуг врезался в задичалое человеческое поле, а в борозду за плугом, пока она не засыпалась, валили остальные избишинцы. Черепане, запрудившие пространство перед магазином, не ожидали такого наглого вторжения и от растерянности пропустили деревню до самых дверей магазина, а там — поздно! — взорвались, спохватились.

— Никак деревенщина! Зевай пошире!..

К дверям магазина, сминая устоявшуюся с вечера очередь, повалили новые толпы, то справа, то слева, оттесняя попеременно друг друга, но напрямую, сквозь туго сомкнутые спины, трудно было пробиться. До поры до времени спасала сплошная бестолковщина, да теперь уже дело шло к открытию — не шутка! — спины настороженно закаменели. Кто протиснулся — ладно, а новых держали.

Торговые ряды принадлежали еще дореволюционным купцам — крепко ставились. Первый этаж кирпичный, а до второго, бревенчатого, не доставала даже долговязая Барбушиха. Что уж говорить про низкорослых черепан! Они знай выли:

— Жми-и масло из ведьмы!

Барбушиха стояла под самым притвором. Когда нажимали справа — клонилась головой на заступившую ее Ию, когда слева давили — висла на плече у Светланы. Дочки в бабьих годах, крепкие, но росточком пониже, с двух сторон уцепились за дверную скобу, а скоба сквозь окованные брусья пропущена — не согнешь, не сломаешь. Тут ведь когда-то монополька была, знали, от кого запирались. Главное — держись за дверь! Поняв выгоду своей обороны, и остальные избишинцы за Барбушиными в общий круг сбились. Юрий Ряжин носом пахал жаркую и на морозе спину Ии, чихал от душившего потного смрада. Ни голода, ни усталости не чувствовал. Когда совсем уж трещали кости, сквозь стон выдыхал:

— Держи-ись, Ия... Держись, ми-илень-кая...

Юрась, еще ниже уткнувшийся в спину Светланы, постанывая, вторил побратенику:

— Трыма-ай, даражэ-энькая...

И они держались, смертным клубком сцепясь, и уже не замечали, что старая Барбушиха вроде как ниже ростом становится. Нажмут справа — как присядет, слева подожмут — еще поубавится... Что бы это такое? Но не только Юрию — и дочкам некогда задуматься. Все силы, все мысли напряжены в одно: устоять, не сдаться! Как ни длинна зимняя ночь, избишинцы поспели лишь за час до открытия магазина, когда уже весь Череповец настоялся на ногах. Было само по себе чудом, что им удалось пробиться к дверям, да ведь большее чудо — выстоять в этой немыслимой давке: избишинский клубок стонал, перекатывался возле дверной скобы, окатанный до предела, истертый до жмыха, уминался, но никуда не девался.

— Жарку-уй избишинцев! Как откроют... сбивай их в сторону! — угрожающе гудела толпа.

Но никто, и сами черепане тоже не знали, как открываются двери этой бывшей монопольки. Думали, настежь. А ничего подобного! Просто повернулся огромный нутряной ключ, железно грохнул внутренний засов — и дверь под напором тел сама отмахнулась вовнутрь, и все избишинцы, поджатые сзади, оказались в коридоре-клетушке, за ними дверь пропустила еще сколько влезло. Счастливчики уперлись в другую дверь — на запоре, с окошком. Из него вдруг нетерпеливо рявкнуло:

— Две буханки на нос. Деньги готовь, пошехонье.

Барбушата затараторили в окошко:

— На троих нам... сразу на всех!

Отпускали две продавщицы. Одна взяла деньги, другая уже сунула шесть буханок... и вдруг как закричит:

— Да ведь мё-ортвая берет... мертву-ушая!..

Крик рванулся по коридору, через головы вылетел наружу и отдался где-то в толпе, на площади:

— ...ё-ортвая!.. ву-ущая!..

Толпа страшно взревела позади, и Юрий подумал: вот теперь всех и передавят...

Но в коридоре была еще одна, боковая, раскрытая дверь, через нее-то по запасному коридорчику и вывалилась троица Барбушиных в морозный рассвет — прямо на задний двор, подальше от толпы.

Подтолкнув вперед себя Юрася, старший Ряжин сунулся в окошко:

— Нам на двоих, тетя.

Сумрачная, немолодая продавщица посмотрела на него и тихо сказала:

— На семерых, Юра, не считая Домны-страдалицы. Денег-то хватит?

Хлеб стоил сущие копейки, денег хватило, и буханки, числом четырнадцать, ловко ссыпались в подставленный мешок.

— Семеро?.. Да откуда ей известно? — обернулся Юрий, подтаскивая мешок к боковой двери.

Выдача пошла вовсю — получали остальные избишинцы, — продавщицы метались, беремями, как полешки, таскали буханки.

На заднем дворе Юрий судорожно завязал мешок, ростом как раз с Юрася-карася, уложил на дровушки, сверху пустым мешком прикрыл и обвязал драгоценную поклажу бечевкой. Огляделся. На тихую улочку, куда выходила задняя дверь магазина, измученно, как комья теста, выжимались избишинцы, разбирали свои дровушки, удивлялись:

— Надо же, Юрку-то, Юрку признала!

— Как не признать? Из беженок, года два у них жила...

Вспомнилось и Юрию. Запоздало, но радостно. Да и как не быть радости: с хлебом домой отправлялись. Вот только Барбушиха...

Из магазина вытрясались уже чужие. Надо было уходить, пока не побили. Избишинцы скучились, засобирались — столько снега еще перемесишь, пока до дому доберешься. И лишь Барбушины закаменело стояли поодаль.

Управившиеся с дровушками женщины стали подходить к ним. Всматривались... Дочери держали мать под мышки — остолбенело, немо. От двух буханцов, что ли, примявшихся под прижатыми к груди руками, так огрузла, осела Барбушиха?

— Мертвая она, — застылыми губами чуть шевельнула Ия.

— Хлеб-то зажала... — только и добавила Светлана.

Без отдыха до Избишина не дойти, а отдыхать было негде. Выползли на пустынный берег Ягорбы и остановились: куда приткнуться?

Подсказала заброшенная сараюшка: не ахти какая, да все-таки крыша. Оставили дровушки с мертвой Барбушихой у ворот, быстро затащились внутрь, наломали из развороченной угловины торцов, костерок разожгли на земляном полу. Расположились у глухой стены на соломе, что, может, от прежних каких путников осталась, — много всякого люду шаталось вокруг Череповца: стройка начиналась. В гостеприимном жару костерка начали раздергивать мешки и котомки и по кусочку, по корочке отщипывать хлебец.

Когда избишинцы уже сыто подремывали у огня, в сараюшке откуда-то взялся дядька Юрия Ряжина.

— Как узнал-то про вас? — оглядел он осоловелых земляков. — Весь Череповец уже знает, как вы на мертвых хлеб получали... Чего

радуетесь этому хлебу? Руки в ноги — да бегите отсюда... Стройка, дай бог, к концу года раскрутится, а вербованный народ уже подваливает. Можете мне поверить: тот еще народец! С ним каши не сваришь — скоро по вашу душу пойдем. Думаете, за лесами, за морями отсидитесь? Найде-ом соколиков! Призове-ом на стройку! Вы-то понадежнее, чем вербованные. Вот и выходит: жаль мне председателя Самусеева, остатний люд разбежится. Как мухи броситесь на медок череповецкий... из вашего-то гнилого Избишина!

Избишино было уже не для него...

Дядька Ряжин, Демьян Иванович Ряжин, откололся от деревни еще до войны. Долго учился и долго мотался по свету. В бо-ольших инженерах пребывал! Юрий мало что смыслил в его должностях, но знал, что в очередях за хлебом дядька никогда не стоял, а если навещал осиротевших племянников, привозил гостинцы — в руки взять страшно, не то что есть. Не отважились, стало быть, избишинцы наведаться к Демьяну Ивановичу, отдохнуть после магазинной давки — да просто нельзя было немытой ордой лезть к такому земляку. Вот и племянник даже решительно отнекивался: «Нет, Демьян Иванович, мы с Юрасем от своих не отстанем, да и тетку Барбушиху надо домой завезти. Не тащиться же бабам одним!» Демьян Ряжин не стал настаивать. Только велел подождать, пока соберет гостинцев. А долго ли на машине? Через час уже и вернулся, как не уходил от избишинцев! Подбросил на руках мешки — один, другой, нелепые на заплеванной соломе, удивленно, с неизменной своей усмешкой, покачал головой:

— Радуетесь? А чему? Поистине, сорок верст киселя хлебать... Думаете, этим вот череповецким хлебом и будете сыты? Хлеб в Череповце не сеют, не жнут — только жрут. Ртов-то, ртов голодных понабежало! А стройка еще раскачивается, как дурная качель. А ну как вкруг головы обернется и по вам же ударит? И ведь обернется, в самом скором времени! Я же и сзываю народ, я же и вербованных принимаю. И до вас доберусь, попомните мое слово. Прямо вот на буханки эти горячие и посажу! — толкнул он на мешок одну из подвернувшихся Барбушат. — То-то запищите от радости...

Насмешник он был превеликий. Не любили его в Избишине. И не только за то, что еще перед войной окаянной войну-то и предвестил — пустил на Пошехонье воду родимой Шексны, от Переборов, от великой приволжской плотины, ладонью каинской сгреб к Череповцу Забережье, прахом пустил вековую жизнь; нет, были еще и грехи послевоенные: когда в РИКе работал, той же ладонью вдовьи медяки — на заем, на налоги, бог уж знает на что! — немилосердно подгребал и ссыпáл в какой-то бездонный мешок... Правда, из этого же мешка и обещали накормить народ российский, да все случая, видно, не выпадало; отмена-то карточек — не из того ли долгожданного обещаньица? А если так, чего же смеется этот каин городской? Смеяться над тем надо, как по череповецким улицам мело-подметало карточную сорь... Юрий не удостоил дядю даже взглядом. Хоть и не имел, говорят, Демьян Ряжин отношения к этим пущенным по ветру карточкам, все черное и злое давно уже пало на его имя заклятой печатью... А он и в ус не дул! К племяннику подбирался:

— Юрий — вот ты? Четыре класса да пятый коридоришко? Думаешь, так и жить будешь, в своей избишинской норе? Не-ет, племянничек, нетуньки! И ты попомни мое слово: прибежишь на стройку. Кто печеного хлебца поел, тот уже не колхозничек. Кто вкус городского магазина почувствовал — тот к председателю за обсевками не пойдет. Мы на стройке это понимаем!.. Нам люди нужны, мно-ого людишек... Так много, что во всей округе не наскребешь, хоть начисто вас выметн. Видели, сколько бескарточного хлеба навалили в магазин? Вот то-то, землячки мои дорогие, — приманка!

Зная своего дядьку, Юрий чувствовал в его насмешке какую-то подспудную правоту и лишь по общей ряжинской привычке несогласно бычил голову. А Демьян Ряжин свое гнул:

— Черный день для председателей! А для нас-то — светлый. Мы народ на стройку созываем. В набат бьем. В колокола, думаете? Нет, в буханочку хлебную. В ту самую, которой тетка Барбушиха, царство ей небесное, и подавилась... Ничего, ничего, — стрельнул он бесовским глазом, — пусть девки всласть пожуют. Такие нам и нужны, толстомясые! — Демьян Иванович с довольным видом приобнял притихших Барбушат. Начальственный земляк не замечал хмурых лиц, казалось, и насупившегося племянника не видел — так, на собственный голос откликался. Может, настроение у него сегодня было хорошее — вот и разговорился. Вскоре и причина открылась. — Кадрами я теперь заведую, всеми вами, значит, поскольку вам дорога одна — ко мне. Имейте в виду, не зевайте. Я вот только первый день при новой должности, добрый. Дальше-то похуже буду, — хорошо так пообещал, откровенно.

Прямо залюбуешься дядюшкой! Пальто на нем дорогое, с искристым каракулевым воротником, из такого же серебристого каракуля высокая, как бы генеральская шапка. Зря племянник непримиримым глазом отгораживался от него. Запросто ведь прикатил Демьян Иванович к своим землякам, запросто к их табору подсел. Ничего начальственного, кроме усмешки да колючих речей, кроме каракулевого воротника да острющего ряжинского взгляда. Уселся дядюшка на чурбашок, на заплеванном блатняками кругу, и Барбушат под бока толкает:

— Ничего, мать свое отжила. Вам-то ведь тоже пожить надо? Валяйте, говорю, ко мне!

Барбушата закраснелись, завозились с двух боков.

Рассерженным мужиком встал Юрий над костром, над сонью избишинской, грохнул по кострищу подвернувшейся чуркой:

— Пошли!.. Нечего...

Ни на кого не глядя, перекинул через плечо построму дровушек, на которых лежала закоченелая Барбушиха, выволок их на берег Ягорбы и по льду двинулся к морю. Следом и остальные стыдливо потянулись.

Дядька Ряжин что-то там кричал, звал с берега, но Юрий не оглядывался, бегом бежал по скосу берега, не замечая снега. Как вспомнил про братанов и побратеников, что в Избишине дожидались его, главу всех Ряжиных, усталость так и отцепилась от ног. Разгорался солнечный февральский день, золотыми лучами скользил по льду Рыбинского моря — но не скрашивал обратные, тяжелые версты.

Тугие встречные ветры шли от Волги, от немыслимо далеких, заснеженных Переборов. И вместе с ветрами подступали к оледенелому морю, к хлебному обозу, едва поспевавшему за побратениками, запахи приближающейся весны. Да, да! Весной, вдруг проступившей, дышало все: море, грозно посверкивавшее в ожидании, небо над головой, лес на затопленном берегу.

Юрий раздувал ноздри, торопился и сердцем торопил весну: где она, весна избишинская? Но и его подгонял женский настигающий гвалт:

— Ю-урка, осатанел ты!

— Не поспеть ведь нам, Ю-урий Кузьмич!

Ничего удивительного: шел сюда Юрка, а возвращался Юрий Кузьмич.

— Мы так, мы дойдем, — твердил он запыхавшемуся Юрасю. — Без всяких-яких, без дядюшкиных!

Сильным себя почувствовал старший Ряжин, взрослым.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Федор Самусеев был еще председателем. Он мог послать лошадей в Мяксу, даже в Череповец, мог всласть и без обиняков покричать на Барбушат и на своего незаменимого Юрку, мог туда-сюда перебросить

пудик-другой золотых весенних семян, но уже не мог ничего поделать с собой, не было никакой моченьки. Голова как будто на плечах, душа иногда прозревала, а все равно: ни зги впереди. Седьмой год пёр коренником шаткий колхозный воз и вроде бы находил дорогу, не тыкался носом — чего же теперь-то?.. Уж на что бывало: займы, хлебопоставки, лесозаготовки, бесхлебье сплошное — разве не вылезал на какую-нибудь горушку?.. И колхоз вывозил. С кровавым надсадным хрипом, но поднимался на карачки, а там и на ноги. Рука была не в счет, и пустым рукавом хорошо отмахивал. Когда в прошлом году бросились было Барбушата вербоваться в Карелию, на даровые, как думалось, хлеба, он суконной рукой хлестал прямо по рожам. Да что Барбушата! Свояк Ряжин, давно уже для всех Демьян Иванович, от пустого председателева рукава зайцем в кусты забивался. Сходило с фронтового рукава. Не заслоняло никакой пылью дороженьку колхозную. Что же сейчас-то слепота такая?

Он, конечно, лукавил. Сам-то знал — от чего... Бесы по утрам одолевали. Так и скакали по запечью!

Вот и сейчас — даже валенка не боятся. Другой было нашарил, но и его вырвали, с гоготом унесли в свое запечное логово. И визжат, и кричат на разные голоса — то Санькиным голосом, то Юркиным, а то голосом Веньки или Домнушки:

— Тя-атька! На работу пора!

Попытался Федор сосчитать бесей — сколько их понабралось? Стал загибать пальцы: Юрка, Санька, Венька, Домна, еще раз Юрка — пусть будет, чтоб не путать, Юрась-карась, — еще... но вроде как и не хватало пальцев, осталась рука в камнях карельских... А голоса взывали, ревели, разбредались, шатались по какому-то темному лесу, аукались...

Оставив несподручный счет, Федор попытался сосредоточиться на том, на чем и вчера застрял. Поехал, как всегда, к рыбарям за щучкой — хороша ушица под чарочку, да еще под настроеньице. А те его, пустого, самокатом с горы спустили. И Федор понимал: не случайно. И вовсе не потому, что рыбари сколотили отдельную артель. Вышли они из-под его руки еще год назад, но и теперь ее не забывают. Потому как власть рыбацкая далеко, за морем, за туманами, в Мяксе, а он — здесь председательствует. И приветит, и ответит за них, если что. И лошадку даст, и каких-никаких обсевков на кондёр подбросит. Известно, не эскимосы, одной рыбкой не проживешь. Что тогда от председательской каши носы-то воротят?

Федор отвлекся и, слава богу, потерял из глаз бесей. Ноги сами собой пришли прямехонько к столу и усадили Федора на табурет. Не сердился Самусеев на бесей. Имена у них хорошие. Не он давал их, но берег он, и, если уж на то пошло, любил. Только с обидой любовь была смешана. Больше других женщин — особенно горькой была эта обида — любил Федор мать Юрася. Стало быть, никогда и не забывал, даже в кромешном похмелье... Даже тогда, когда в мокром рюмочном стекле видел отражение Юрки-большуна, а может, отражение матки его, которую Федор знал-то не больше другой какой бабы. Чего же так глядит на него Юрка? Вовсе ни к чему так на него смотреть — за семь голодных, под одной крышей, годов ничего друг другу плохого не сделали, наоборот, друг дружкой и держались: два хозяина, два старших мужика. Никогда Федор не думал, что этот пятнадцатилетний запечный бес может так на него смотреть. Полное свое безвластие беспокоило председателя. Только знать бы ему, что не отца своего и не святого угодника вспоминал Юрий, когда выволакивал на себе хлебный обоз к Избишину — его вспоминал, лешего однорукого...

Видит бог, никогда и ничего не боялся. Скрипел ли зубами в сорок первом, окропляя карельские камни собственной кровью, плакал ли в сорок втором над красной линялой скатертью, слезно выжимая вдовий

заем, метался ли в бессильной ярости в голодном сорок шестом, начисто выметая уполномоченным оглоедам последний колхозный амбар, — не бывало страха! Не упрекнет никто! Чего же сник сейчас, под взглядом всего-то пятнадцатилетнего бесенка-замухрышки? Слезы — на тебе! — в пустую рюмку ручьем сливаются...

Федор не слышал, как хлопнула дверь. Почувствовал ее, хозяюшку. Не к ребятишкам, как ни ждали, прошла, а прямо к нему. И села на корточки, голову опустила: бей, ругай ее — все едино, не переменится.

— Ну что, Праведница ты наша?..

Она не отвечала. Терлась сухой, седеющей головой о его колени и похлюпывала носом. Праведница и есть, не сомнешь даже самым грозным словом — выстоит, вытерпит.

— Ты видела, что они вытворяют?

— Видела, Федор Иванович...

Федор с ненавистью глянул на эту поникшую, рано поседевшую голову. Своих вот бог не дал, — одного в начале, а другого уже в конце войны по-дурному схоронила, — так от чужих проходу нет, и все в один голос мамкой зовут... Господи, была ли на свете другая такая семья, где семеро по лавкам — и все друг дружке неродные?! В великом гневе Федор забывал: не совсем все, первые трое между собой все-таки кровные, и двое несмышленых последышей от одной, хоть и позабытой ими по малолетству матери, и двое средних, пусть и записанных по разным фамилиям, двое самых любимых — от единой же матери, а ползающая в ногах Домнушка — так даже и его, Самусеевой, крови... Да, но Тонька-то, Тонька при чем тут?! Уж для нее-то все они подчистую — сироты приемные, все от разных батек и маток... а она смотрит снизу вверх святыми глазами! Федор поднял кулак, готовый опуститься на седую поникшую голову, но его цепко ухватили сзади:

— Мамку не трожь!

Она разогнула семижильную спину, отвалилась назад, отвалив и Саньку, и Домнушку, и всех остальных, кто за ее подол держался, кивнула большаку:

— Рассолу неси.

Юрий принес миску капустного рассола и с ухмылочкой поставил на стол.

— Я, Юрий, закаленный, — серьезно заметил Федор, — добро назад не выпущу.

— То-то и беда, отец, что не выпустишь...

— Не твоего ума дело! — прикрикнул Федор. — Ты лучше ешь да на наряд иди.

— Я-то пойду, а ты, председатель?..

Федору некогда было отвечать, из миски взахлеб рассол пил. Похватал горячей картошки с капустой, запил опять же рассолом и побежал в контору. Юрий ушел еще раньше. А раньше-то обоих мужиков ушла она, Праведница, наряд раздать, если муженек слишком уж заопохмеляется...

Что же значила в его жизни Тоня-Праведница, бывшая когда-то Тонькой-Лутонькой?..

Младшая сестрица первой военной председательши, неукротимой Домны-командирши. Хоть и сестра по крови и роду, а от старшей ничего не взяла, даже обличья родового. Даже фамилии материнской. Кто помнил ее фамилию! Как отрезали — от родства, от рода, и от имени даже. Одно неслось: Лутонька да Лутонька! Как наваждение, как короста. В век, говорили, не отмыться. За непутевость, за непотребность свою. Да ведь отмылась, вот в чем дело-то! Года не прошло с победной той весны, как обернулась она, словно расколдованная, новым своим ликом. А когда и как обернулась, Федор и сам сказать не мог. Ни увидеть, ни понять не успел. Вначале, по смерти своей незабвенной Ма-

рыси, горе помешало, потом мешали дела колхозные. Так и не до нее, не до Лутоньки было. Свалилась на него, принял в дом — детское сиротство по всем лавкам. После Марыси Тоньку и не замечал, терпел, как беду терпят. Ну, живет и живет; ну, стирает и варит. Ребятишки присмотрены, щи, какие уж умела, сварены — и ладно. Молчит или детям песенки попевает — тоже хорошо. Дело обычное. Когда же она из Лутоньки в Праведницу-то обратилась?..

Знал он ее десять лет... и не знал совершенно, ни капельки. И всякий раз, как попадалась она ему на пути, Федор неминуче ожидал беды. Так, так и было. Еще за три года до войны, в три дня его краткого армейского отпуска, змеей подколодной выбсжала из-под берегового камушка на Шексне-реке, погуляла, поплясала вместе с ним на пристани и вместо чемодана походного отбыла женой командирской на тревожный Карельский перешеек. Ну, отбыла и отбыла, так служи вместе с мужем, или бей баклуши с другими неприкаянными женами, пока дитенок в зыбке качается, или хоть пляши на посиделках в селе карельском — сельге по-ихнему, если дурь одолевает. Так нет же, бросив и ребятёнка, и красного командира своего, спуталась с каким-то леспромхозовским вербовщиком...

Может, и не ее вина, что сына-то командирского, убегая из Карелии, под бомбами схоронила... но все же кого винить?!

Может, и не своей дороженькой, а беженской обратно на ту же шекснинскую пристань оборванной Лутонькой прибежала... но командиру ее калечному разве от того легче?! Не один месяц водила их по кровавой земле война, прежде чем опять вместе свела. Пойми возьми судьбу! Тонька, поистине непутевая Лутонька, понимать ничего не хотела, а брать брала. Чего уж там, от первого встречного-поперечного второго сынка прижила, да и того схоронила, носясь по широкой России... Поистине Лутонька непотребная, а ему так и за глаза ненужная! Разве что крыша — общая для всех, а для Тоньки, возвернувшейся после беспутных скитаний, еще и нежданное наследство. Как же — тетка троим ряжинским сиротам! А остальным?..

Эта потерявшая хозяев ряжинская изба стала вроде беженского детдома — взрослые уходили, а дети оставались... Первым ушел и не вернулся ее хозяин-строитель — Кузьма Ряжин; немного пережила его и хозяйка Домна. И дом осиротелый приняла на себя белорусская беженка Марыся, ставшая в конце концов женой изуродованному и той же судьбой прибитому к этому берегу пограничнику и матерью трем сиротам — в память о прежней хозяйке. Только отшибло ее прямо в майский победный день. Надорвалась Марыся после родов на проклятом колхозном поле, оставила Федору их Домнушку, Юрася своего да сирот ряжинских Юрку, Веньку, Саньку... И когда уж пятеро село по лавкам, когда жизнь совсем зажала в угол, тогда и заявилась — в который уж раз! — довоенная женушка-потаскушка, горько оклятая Лутонькой, и к сапогу его, как к последней милости, при всех детках-сиротах бросилась, целовала, как заклятье творила. Голос Марыси был: возьми и не отвергай, Федор, возьми великую грешницу... хотя бы ради сирот несчастных! Как виденье нашло, как наказ. И он в злом беспамятстве взял, приставил потаскушку к детям. Кто осудит слабость такую?.. Ничьи, видимо, дети не были так хорошо умыты и накормлены, как они, для Тоньки все поголовно чужие. Будто испытывая ее, заскочила в деревню еще одна, возвращавшаяся в свои южные края беженка, и, как горькое семя, через несколько дней на те же лавки еще двоих обронила. Федор был в районе на совещании, когда вернулся — беженку успели закопать. «Так, семеро?!» — спросил он в великом изумлении. «Семеро, — смиренно ответила новоявленная хозяйка. — Своих-то у меня все равно уже не заведется, Федор Иванович». Что верно, то верно: не заводилось — напоминала черная непримиримая память. Но что память для людей! Деревня, в грязь было отшвырнувшая дурную

Лутоньку, в какие-то незримые полгода ее же Праведницей и нарекла, и теперь уже с полным именем: Антонина.

Красным палом жег Федор глазищи грешницы-праведницы — уважать, как уважал Домну Ряжину, не мог, а любить, как любил Марысю, — и в мыслях не держал. Твердил одно: «Прочь с глаз моих, подколодная!» Но она уходила, чтобы вернуться при детях, при самом земном поклоне: «Не женой, а служанкой я к тебе возвернулась, Федор Иванович».

И верно, служила — такого теперь не сыщешь. Он этого не замечал, а деревня-то углядела, вскоре и понесла по улице: «Праведница, истинно Пра-аведница, коль такие грехи искупает!» Кинулась под ноги бывшему, далекому мыслями от нее муженьку не по любви — какая уж любовь! — по жалости к сиротству. А жалость-то, что ни говори, все же любовью обернулась, пусть и с одной, с ее стороны. Дети, откуда они берутся? Не может на холодной росе взойти, на голой вражде не поднимется росток заветный — не зашелестит кудрявой верхушкой. Хоть немного, да пригреть должно, посветить солнышко, рассеять темную ночь своим светлым ликом, согреть теплом своим и святого, и грешника. Дождался бы Федор еще прибавка, не скинь Тонька напоследок. Не простил все-таки Федор и не простит — поняла, и тогда-то, на могилке остатнего своего, где-то в лесу укромном, за ночь и поседела. Даже у него какая-то живая жалость в душе шевельнулась. Хотя, видит бог, если он есть, не забывал Марысю, ни на единый миг, даже в грешной слабости, коль уж случалось, только ее и любил, ее звал сквозь горячий мрак. Она являлась всепростительницей, повелевала: люби, Федор, живи, не прожить без любви, пусть и крошечной. Да, всякий раз ее лик затмевал Тоньку. А та всякий раз мольбой исходила: «Не зови ты, милый Федор Иванович, меня Марысей...»

Он до сих пор не мог себе простить, что и Марысю свою променял на бесплодное колхозное поле — пустил, такой-то совестливый, сразу после родов в работу. Как надорвалась в первый же день, так и не встала — обескровела на весенней пашне. Сама земля от такой жертвы вздрогнула, на первое послевоенное лето тучным, печальным колосом поднялась. Для всех деток голодных, а для ее сводных сирот и подавно: ешьте, родные, растите! Что-то непонятное творилось той осенью, хлебным духом кружило голову. Сколько Федор помнил, не бывало такого. Шнтые еловым корьем телеги с верхом нагружали, хлебушко по домам развозили. Ешьте, свои и чужие, пришлые и родовые. Ешьте на здоровье! Еще не все военные беженцы по домам разъехались, а некоторые и не хотели ехать обратно — кому некуда, а кому и незачем. Деревня в первую послевоенную осень источала печной дух, шаталась от сытости, как когда-то от голодухи. Всякое соображение люди потеряли, всякую память. Только бы одно: есть, жрать, уминать! Как наваждение, как болезнь какая: хлеб да пироги, пироги да пышки. Тонька у печи устали не знала — да и какая усталость, коли хлеб на столе?! — варила, жарила, все торопилась на такую ораву напечь-наготовить, не помнила, когда и спала в тот послевоенный первый год. Ели хлебушек и Марысю вспоминали; за пирогами — еще более давнее: Домну и ее лютую смерть — в рыбацкой случайной проруби, на дне ледяного Рыбинского моря...

На стене — как иконы — фотографии одной матери и другой. Стены помнили, а сытые дети забывать стали. Да, может, не то чтобы забывать — привыкать начали: не все прошлым жить... По хорошему времени Тонька съездила в Череповец, и за пироги сделали ей из маленьких, темных фотокарточек два больших, ясных портрета, на один лист картона наклеили. Под иконой богоматери, в чистой половине, Тонька его повесила, ни для кого не разделяя, где Домна, где Марыся — общая им всем двуликая матерь с чертами небесной и вечной матери-заступницы. В покорности своей Тонька ни взглядом, ни сло-

вом рядом себя не ставила — нет, третьей не было. Только тихое услужение, только всегдашние заботы. Когда уж тут на себя смотреть? Дымом седым затянуло светлые Тонькины кудри, оплыло от бессонницы зазывное лицо. Не тридцатилетняя молода-жена, а богомолка-старуха. Посматривай на тех, рано и честно ушедших из этого дома, и сравнивай, сравнивай, сравнивай!

Пожалуй, и хорошо, что зеркала у них не было. В день смерти Марыси содрал Федор зеркало со стены, ногами растоптал, чтоб и себя-то никогда не видеть. Тонька, третьей заступив хозяйкино место, ослушаться не посмела, а ребятишки в слепом страхе возле нее жались. Зеркало им было и не нужно — нужны были пироги: с ненасытной звериной жадностью взирали на новоявленную матерь и привыкали к ее теплым от хлеба рукам. Полгода не прошло, как все в один голос: мама да мамочка! Дольше других Юрий-большун крепился, но и он в сытом тепле истаял. «Мать», — по-взрослому сказал однажды, да уж иначе и не называл. Как и Федора самого: «Отец». И то сказать, взрослый самый, не сюсюкать же у чужих коленей. Спасибо и на том, что не отринул, не увел за собой детскую ватагу, для которой ни Федор, ни Тонька не были ни отцом, ни матерью. Из всей оравы лишь маленькая Домнушка его крови, да и та под полной домашней властью большуна. Федор не видел в том беды, а только хранил в душе усмешечку: Тонька по заслугам несет крест, а ему вроде можно и по счастьицу...

Не сомневался: было, было счастье... За что про что — это уже другое дело, но было, сполна далось. Три года прожил он с Марысей, три военных года; этим все сказано. Все то время, пока другие мерзли в окопах, он хоть и мерз, и голодал не меньше, все же каждый тяжелый миг находил рядом ласковое плечо Марыси. Счастье как награду ощущал — но незаслуженную вроде, однорукости своей стыдился, будто нарочно у женской юбки пристроился. Помнится, за всю войну только один раз — на Победу — и надевал орден, тоже единственный. Больше уж не доставал из сундука. Хоть и встречались фронтовики, хоть и калечных было немало, но он себя к ним не причислял, потому что вышел из войны на пятый ее день. Во-он когда было — быльем поросло! Оставив руку на границе, он не воевал, он просто жил все эти годы. Спроси его: для чего? Для Победы, верно; но больше для жизни. Сиротской ли, вдовьей ли, своей ли, чужой ли — все равно для нее, для жизни человеческой. Он, лейтенант, учившийся когда-то в училище, все военное давно растерял, а потому и не вправе судить по строгости. Что с того, что другие, вроде Демьяна Ряжина, и вовсе не воевали? К таким он себя тоже не причислял — причислял к этим, которые навстречу попадались. К избишинцам, будь они неладны!

Улица деревенская не длинна, но и не настолько коротка, чтобы Марысю свою не вспомнить. Каждый день, и уж каждое утро. Годы пройдут, века рухнут — никогда, ни за что и нигде не забудет...

К колхозной конторе подходил всякий раз с тихим извинением: «Вот видишь, живем...»

Федор не удивился Демьяну Ряжину — заезжал он и раньше. Совесть, поди, тянула: как-никак трое племянников, коли чужих не считать. К чести Демьяна сказать, чужих он тоже считал, не мелочился: если привозил из Череповца гостинцев, так уж всем, помнил ведь, что и Федор родство не делит, не говоря уж об Антонине.

— Здравствуй, дядюшка, — улыбнулся Федор на Венькин манер. — Домой-то зайдешь?

— Да зайду, зайду, тебя дожидался, — засуетился Демьян и стал прохаживаться по пустой конторе. — Чего поздно?

— А то не видишь? С похмелья... — погасил минутную улыбку Федор.

— Да вижу, вижу, хоть и не одобряю.

— Не одобряй — слава богу, теперь не в подчинении.

Демьян уже около года, как из района в Череповец перебрался, а служба в Мяксе не забылась: предрика, не шуточки! И если выше еще пошел, так тоже шутить не пристало. А Федору не до шуток — вот и не счел нужным скрывать свою утреннюю хмурость.

Без церемоний и Демьян: при одной полевой сумке, а вмиг все на столе. Не оглядывается, как предрика, открыто наливает... Кто их там знает, какие такие у них череповецкие должности!

— Не донесут на тебя? — спросил Федор.

— И донесут, так на казенные.

— Э-эх, куда хватил! Уж не министр ли?

— Ну, какие в Череповце министры? Лечись и давай дело делать.

Федор первое с легкой охоткой исполнил, а на втором спохватился:

— Дело, говоришь? Ну, какие у тебя теперь в колхозе дела!

— Не скажи, серьезные. Зря, что ли, магарыч вожу?

— Не дружки ведь мы, Демьян Иванович, не приятели. И не родственнички даже, хотя и не без твоей помощи твоих племянничков воспитываем. Приехал-то зачем?

— Да чтоб объявленьице на стену повесить. Есть клей какой?..

Клей попал под руку, Федор прихлопнул листок не читая. Была нужда! Опять: «Труженики колхозов! Ударим обеими руками по голоду и неурожаю!» Он как-то сказал в районе, при том же грозном предрике Демьяне Ряжине: «А мне-то как быть — как в две руки ударить?» Прицепились — еле отодрался!..

Сейчас от того грозного предрика и помина не осталось. Гостейка дорогой, да и родич незабвенный. К тому же запасливый: и хлеба в газете привез, и колбасы. Федор не помнил уж, когда ел колбасу. Кажется, на каком-то праздничном районном совещании. Но там и колбаса была похуже, и сам Ряжин построже, еще в чине предрика. А здесь свой-свойский. За обе щеки уминает, будто не едал никогда. Посмеивается:

— Да ты хоть прочти, председатель.

— Дай дожую, а то ведь не оставишь колбасы-то.

Федор с сожалением посмотрел на крошки, которые сам же второпях скомкал вместе с газетой. С еще большим сожалением — на скупую четвертинку. Могла бы и покруглее быть, поохватистее! Но на душе отлегло, улыбнулся гостю. Ряжин, довольный, папиросой угостил. Чего не посидеть мужикам? В конторе-то никого. Наряд Антонина, по обыкновению, и без него провела, а в погонялки он играть не охотник. При таком-то хорошем настроении! Теперь можно и листок казенный почитать, от глаз не убудет. Федор вперился в объявление. Удивило его: скромными черными буквами оно пропечатано, а не радужными цветами, как бывало всегда. Да и листок невелик, в четвертушку против привычного плаката.

Но еще больше удивился, когда прочитал. Это было объявление о наборе рабочих. Безотказное, потому и скромненькое. Скучненькое даже и неприметное. Слова, слова сами за себя говорили! Федор по третьему разу читал:

«Уважаемые товарищи колхозники!

В городе Череповце начинается Сталинское строительство металлургического завода. Стройки Череповца ждут ваших крепких рабочих рук. Все, записавшиеся на стройку, получат гарантированную зарплату, спецодежду и в скором будущем общежитие. А пока, до сдачи общежитий, оплачивается наем частной квартиры или дается койка в вагончике.

При строительстве работают Сталинские курсы каменщиков, печников, штукатуров, плотников, стекольщиков, кровельщиков, бетонщиков, жестянщиков и других специалистов III разряда.

По решению ЦК ВКП(б), для работы на стройках Череповца справок от председателей колхозов не требуется.

Медицинское освидетельствование проводится на месте.
Заявления принимаются круглосуточно в отделе кадров.
Да здравствует ударная Сталинская пятилетка!»

Федор Самусеев, однорукий растерянный председатель, в оба глаза смотрел на незваного посланца, но ничего перед собой не видел, словно и глаза потерял вместе с рукой. Только в голове молотком постукивало: так, так, так! Без справок, без справок, без справок! И первым желанием было сорвать, смять, в прах истоптать страшный листок. Рука его вслепую, судорожно шарила по стене. Так, так, так!..

— Не надо, — тихо предупредил Ряжин. — Что толку? Сорвешь, новое приклеят. Еще и голову намылят, смотри, Федор.

— Намылите! На том стоите!

— Да я-то что? Я теперь не начальник над тобой.

— Не надо мной, так над всей областью Вологодской. Гляди, из Тотьмы какой-нибудь набегут!

— Не только из Тотьмы или Мяксы... Вербовщики уже шуруют на Украине и в Белоруссии, в Казахстане даже. Тысяч под сто людишек съедется. А сколь разбежится, получив подъемные?.. Вот то-то. Еще столько же прикинь. Одним-то вологжанам не вытянуть, хоть всю область под метелку замети.

— Вот-вот, заметай...

Разговор, начатый с крика, угас сам собою. Чего кричать, чего размахивать пустым рукавом? Слухи о том давно ходили, вербовщики и раньше захаживали. Но был им, как говорится, от ворот поворот. Рабочие? Работайте в Стройка? Стройте себе на здоровье, нам-то что! Рабочие? Работайте в свое и наше удовольствие, да нам не мешайте! На том и кончался разговор. Дальше порога конторы никуда их не пускали. Сказ короткий: без справки не примете, а справок не дам! Разрушенное войной народное хозяйство, говорите? Оно ведь что в городе, что в деревне, одинаково; может, в деревне еще и похуже, поколдобистее. Пошли прочь, хнычи! Федор отвечал — как плевал в лицо, знал, что с этим народом иначе нельзя.

Но вот приходит совсем иной вербовщик, родственник, если считать по Домниным малолеткам, и за стакан беленькой да ломоток колбасы берет и душу председательскую, и его несокрушимую печать. Отпустишь, говорит, и без печати — отпу-устишь! И не грозит при этом, и не ругается, даже сочувственно кивает, а все равно: по бревнышку раскатывай деревню, по человечку. Ведь куда человек, туда и бревно; куда бревно, туда и дом поехал; куда дом, туда и деревня покатилась! Еще до объявлений этих в соседней Верети началось: жил-жил один такой тихоня, не колхозник и не рабочий, из бывших шекснинских бакенщиков, с разливом моря оставшихся на затопленном берегу, смотрел-смотрел в сторону Череповца да и стал разбирать свой пятистенок, красной краской клеймить бревнышки — свяжу, мол, все в плот и на собственных веслах, со всем семейным курятником, как грянет половодье, поплыву в Череповец. Со всего света народ сзывают, а тут-то свой, со своим же домом. Чего-чего, а работа мужику найдется. Ого-гой, море Рыбинское! Ничего не скажешь, отчаянный. Ну как и избишинские дома тем же ходом пойдут к Череповцу? Ихняя река Оклятая в то же море впадает, а дурной пример заразителен...

— Не пойму, Демьян: не вредительство ли? Неуж не понимают: ведь под корень рубят деревни. Особенно наши-то, переселенческие. Еще и не устоялись по новым местам. Сказывают, шестьсот с лишком деревень одно море Рыбинское заглотило, теперь вот Череповец... ни дна ему ни покрышки! Ведь не удержать нам колхозы!..

— Чего за всех говоришь? Сказано: Сталинская пятилетка!

У Демьяна Ряжина прежнее прорвалось, предриковское. Федор даже поежился под его застекленелым взглядом. Прежде, бывало, не трусил, а сейчас с чего бы?..

— Страшный ты человек, Демьян. Сам знаешь, никогда я тебя не любил. Всегда ты не к месту суешься.

— Ошибаешься, Федор, ошибаешься, — к самому месту. До войны таким местом было Рыбинское море, после войны стала наша голодная Мякса, а теперь вот Череповец. Самое что ни есть мое место: я ведь строитель.

— Разрушитель ты, Демьян, разрушитель...

Ряжин не отвечал, посмеивался — нервы, не то что у Федора, крепкие. Будь сам Федор при такой власти да при таких-то двух руках, давно бы ворот обидчику оторвал. А тут долго ли пофырчишь? Вышло все горячим паром, папиросным дымком выкурилось. Ругать ругал, а от папирос даровых не отказывался.

— Нет, Федор, ошибаешься ты, — повторил Демьян Ряжин без всякой видимой рассерженности. — Хоть и учился ты, но только этому: ать-два! Не обижайся, больше лейтенанту и не нужно. Но ведь от поры лейтенантской сколько прошло?.. Вот то-то и оно. Политграмоту я тебе читать не буду, но все же скажу: дальше своего Избишина смотри. Хоть до Мяксы. Хоть до Череповца. А лучше — до самой Москвы. Что там, не понимают? Конечно, заводы, которые поднимутся в нашем Череповце, подомнут под себя Вологодскую область, да и соседей, может, прихватят, но что делать? Лошадей мы на войне побили да на колбасу перекрутили, — щелчком сшиб он оставшуюся на столе колбасную кожуру, — а пахать надо? Сам знаешь, что надо. И лучше тракторами, которых у нас нет. Да и пушки, как ни крути, лить будут... Будут, Федор, будут. Вспомни, чему вас в училище учили? Череповец и даст для них железо, и неплохое, можешь мне поверить. Уж если такие деньги бросают, так не зря же. Всего одна пятилетка отпускается. Тут сейчас такое начнется, что не нам с тобой — министрам не разобраться...

Демьян встал. Делать в конторе ему больше нечего. Колбаса, пусть и конская, съедена, бутылка, пусть и вербовочная, выпита.

Сказал напоследок:

— Если хочешь — мой совет: усердствовать особо не усердствуй, но и мешать не мешай. Вместо меня могут и настоящие вербовщики нагрянуть, сам знаешь, с наганами. Я-то вроде как и по дружбе... Бывай, Федор. Загляну к племянникам, да той же ногой обратно.

Долго после ухода Демьяна Ряжина стучал Федор кулаком по ненавистному объявлению, пока ненароком не изодрал середину. Надо было, значит, и остальное содрать. Но клей по краям, за всеми этими душевными разговорами, успел засохнуть. Что оставалось — тряпку мочить да оттирать клочки со стены. За тем немужским занятием и застала его Антонина.

— Федор Иванович?

— Не видишь, стену мою.

— Вижу, да разве у меня-то рук нету?..

— У тебя-то уж куда как хороши, но и я не безрукий!

Федор отступил от стены не раньше, чем измочалил, в грязь истер беспокойное объявление. Вроде не так муторно стало.

— Ну, чего там еще? — сел он за стол, довольный.

— Семена, Федор Иванович. Кончили веять, да ведь мало, поди. Шепчутся бабы. Ты никому не давал ключи?

— Кому давать? Шепчитесь, если шепчется. Как раз шепотком и засеете поле!

— Ой, Федор Иванович, посмотри сам, — прильнула щекой к его руке Антонина. — Чтой-то боязно мне. В закромах-то завроде поубавилось...

— Поубавится, с такими-то мышами! Чем шептаться — акты бы лучше составили.

— Составила я, да бабы не подписывают...

— Какие еще там бабы?..

— Такие, Федор Иванович. Марьяша да Василиса Власьевна, Верунька да из Барбушат одна, Ийка которая... Светка навоз вывозит.

Угощенье ли ряжинское, погода ли хорошая сказалась, но было ему легко. В семенной амбар прибежал, посвистывая.

— Ну, где там эти мыши? Бабы, гляди! Ийка, смотри у меня!

А чего там смотреть, когда Ийка под железной председателевой рукой, а больше в свою охотку закувыркалась в ворохе колючего ячменя, тоненько, как мышь, попискивая.

Чтоб нескучно ей было, и сестру, порожняком завернувшую к амбару, в тот же ворох завалил. Думал, тоже запищит, но та вдруг сумрачно и серьезно, совсем не по-барбушьи, спросила:

— Справку-то дашь?

Федор сразу не понял, чего она добивается таким испытующим взглядом. А Светлана не торопила с ответом, и сестра хихикать перестала. Будто сговорились теперь, посматривают в четыре остановившихся глаза. Ясно, что и эта не случайно вслед за председателем подвернула, не случайно и в укромный уголок откатилась, подальше от других баб. И когда смысл ее просьбы дошел наконец, Федор уже совсем по-трезвому похолодел: «Во-он она о чем!» Приезд Демьяна Ряжина, хоть и гостил он у племянников не больше часа, не остался незамеченным, а слух и без того полз: по череповецким кадрам пошел Демьян Иванович, хлебный теперь человек!

— Без справки не возьмут, — не моргнув глазом соврал председатель, — а справки не дам. И не просите, толстомясые!

Снова, что ли, захмелел Федор — озорун на него напал. Вслед за Барбушатами бухнул на ячменный ворох, да еще и за ворот сыпанул: «Будешь Митю покрепче любить!» — самую молодую из этого женского круга и самую счастливую — Веруньку. Она при живом мужике жила. Когда на фронт призывали, выбраковали парня, не заграбастала молодую жизнь война-разлучница. За невесткой мать Мити, не старая еще Марьяша, в шуршащем ячмене очутилась. А тут уж совсем разошелся председатель — старенькая скотница Василиса Власьевна не миновала ячменной забавы, попеняла только: «Слышь, Федор, кости бы мои не рассыпались...» Как сгреб и опустил в ячмень без всякой осторожности Праведницу свою, так стало веселее веселого. Можно и языки почесать. Председатель добрый, вместе с бабами уселся, тоже напитываясь сытым, хлебным духом.

— А что я скажу, бабоньки... — дернулась и замерла зашнурованная щека. — То и скажу, что весна идет. Уже четвертая послевоенная... кто бы мог подумать, что доживем! Я вот каждую весну, как последний день, думаю, отсеюсь, а там живите как хотите. А лягут семена в землю, так что-то внутри обрывается. Вроде как рожаю... Не смейтесь, бабы. Ждешь, ждешь, а когда оно будет? Вот говорите: председатель, председатель... А что — председатель? Была бы земля вспахана да лето хорошее. Вырастет и без меня. Вот без вас-то, бабы, вырастет ли что?

Сказал, что нужно, самое житейское.

Бабы сидели насупленные, каждая свое перетирала.

«Да, мыши-то», — вспомнил Федор и досадливо поднялся, чувствуя, как за голенища ссыпается ячмень.

— И не хотел, а полфунтика унес бы!

Председатель старательно отрясал валенки. И в самом деле, хорошая пригоршня набиралась. Бабы клонили головы, молчали. Тоже ведь в валенках, с широкими такими голенищами...

— Ну, мыши не мыши, а надо акт о недостаче подписывать. Не ровен час, проверка... раздевай вас тогда до пупка!

Он первым подмахнул подсунутую Антониной бумагу, и бабы стыдливо химическим карандашом помахали. Одна Верунька, как светлая

ромашка, покачалась на ветру, но тоже, как и все, согнулась. Ей-то и наказал Федор:

— Вера, ключи возьми себе. Антонина-то вроде как жена мне, нескладно.

Верунька хотела что-то возразить, но Федор не стал дожидаться, вышел. И так от дела зря оторвал. Семена есть семена, не шуточки. Весна-то того и гляди водой грянет.

И грянула вода, и пошла! Вначале по буграм, по заовражью, потом и по верхам полей. Весна шла хорошая, размеренная. Днем припекало, ночью подмораживало, грязи особенной не было. С саней на телеги пересаживались незаметно. Да и не сразу, а где и как удобнее. По улице и к скотным дворам, конечно, на колесах, а к низовым огородам навоз еще на полозе возили, торопились, пока наледь держалась; там-то уж грязи навязнет по ступицы — земля жирная. Антонина, как всегда, распоряжалась, а ему знай посматривай. Дело-то само собой ладилось. Жизнь, как весенняя вода, играла. Зашевелились люди, ожили. С веселой охоткой бежали на звонкие весенние поля. Запарки пока не было, наваливали да сваливали, под песню жаворонка, навоз, а после полудня, как спадал тонкий наст, по домам отсиживались. Вода играла, вызванивала. Поля в светлых, теплых морщинах так звоном и переливаются; больше месяца скатилось за весенним солнышком, по буграм уже подсохло. Неделя такая — и можно сеять овес. Жди да радуйся.

Но Федор Самусеев с тревожным сомнением смотрел на поля. Жарко парят, кое-где с плугом скоро заезжай, а там и с сеялкой — две у них в колхозе, хорошие. Одна еще довоенная, подремонтированная, другая совсем новенькая, только в прошлом году получили. Сеялки ломались меньше, чем лошади и трактора: на войну их не брали, на лесозаготовки не дергали. Ящики на колесах, золотые, считай: что посеешь, то и пожнешь, уж поистине так. Без семени не взойдет. Хоть ячмень. Хоть овес. Прописана в плане и пшеница, но на чужих, завозных семенах, стало быть, председательского беспокойства тут не было. А вот овес, а вот ячмень особенно, зерно тугое и спорое... Думать об этом не хотелось Федору: ячменек не к спеху. Первым-то будут сеять овес: зерно легкое и хранится лучше. Это Федора успокоило. Он постегивал лошадь и размышлял сам с собой: «Почему так? Сил на войну хватило, четыре послевоенных года тянул, а больше-то нет, шабаш. Вроде как выдохся? Семь работных лет — это как раз лошадиная жизнь. Пяток годков силой наливается, да пяток от прошлых кнутов отряхивается — значит, хорошо, если семь-то лет в хомуте походит. Чего же требовать больше? Федор, смотри-и, Федор, гляди-и!» И смотрел Федор, и глядел, да гляделки помутились. Железный, что ли? Ну, нет сил, и все. Лег бы, кажется, да и глаза закрыл. Облака, они пусть плывут и без него. Вода, она пускай себе названивает по пустым полям. Жизнь... жизнь, трясись, как эта телега...

Сена навалено, под сеном мешок, но все равно тряско. Не на санях. Где лужи, где колдобины, а где еще и снег дотлевает. В еловых урочищах его по ступицу. Как пошло от нагорья, мотает и мотает. До моря все бока изломаются. Федор на спине лежал, так помягче. Может, и облака где плывут, может, и в лесу вода побежала, глаза бы на все это не глядели!

И все же глаза время от времени открывал. Так и лилась с небес теплынь, топленым молоком в груди растекалась.

Лошадь выбралась из заснеженного ельника на сухой, чистый взгорок. Колеса мягко зашлепали по нагорному песку. Значит, сейчас и Береть. Хочешь не хочешь, бери вожжи. Лошадь потянет к деревне, а ему надо левее. Ему надо к Матвею Макаровичу. Ах, Матвеюшка, мокрая душа...

Федор привстал, а потом и по-настоящему уселся. Дом Матвея Ма-

каровича не виден, хотя дымок из-под горы вроде бы курился, и Федор нетерпеливо поерзывал — беспокоило что-то... Что? Море еще зимнее, гладь ледяная слепит глаза отраженным светом, даже лошадь, кажется, щурится, как не щуриться седоку, правя встречь солнцу? С нагорья дорога спустилась к берегу, а там — пни да колодины. Море шаталось по осени, долго не успокаивалось в новых, необжитых берегах. А по всему морю — леса, где пиленые, где жженые, а больше того на корню. Попилишь их разве от Рыбинска до Череповца! Сколько могли, поковыряли заключенные. Но что-то их недолго держали, распорядок оказался некрепкий. Шестьсот с лишком деревень по берегам затоплялось, а в каждой деревне дома, и в каждом доме люди, живые, русские. Пока его, переселенца, из дома выкуришь, да пока родимые необхватные березы, что под родимым окном, подневольной пилой изведешь, он изведет души не только подневольников-заключенных, но и самих вольников-заключателей. Бывало, вместе на завалинке — и стражники, и пильщики, а ружье промеж них на земле валяется. Песни со слезой пополам. И то сказать: не душегубы, не злодеи великие были согнаны сюда — вполне христианские души, не пожелавшие вступать в колхоз. Было им теперь все равно: пилить деревенские березы или песни петь. Как и самим стражникам — не дураки, чтоб ссыльных пасти, по сути-то, расконвоированных. Вечером пересчитал, да и ладно. В одних и тех же домах квартировали, разве что стражнику на печи да помягче стелили. Одна предосторожность: вытащит из ружья на ночь патроны, подсумок под голову засунет — все-таки случаи бывали, бегали ссыльные, но не больше, чем из-под самых настороженных ружей. Тут много местных «подкулачников»-бедолаг работало, куда им бежать? Вот песни орать— орали; вот вдовушек щупать — щупали, порой и дрались из-за вдовушек со стражниками. Впрочем, не из-за того поспешили убрать беспокойных работничков: братание ненужное началось. Заключенные — со стражниками, стражники — с бражниками, а все вместе — с ошалелыми переселенцами. Когда проверка нагрянула, в лагере этом деревенском десятка два лишних людей обнаружилось. Думали, успокоение пришло, безропотно вместе со всеми в строй встали, отвечали как положено, потому как не понимали, где воля, где безволие — тоже не по доброй охотке выселяли, пошумливали. Дня три так и работали в куче. Потом разобрались, провеяли это людское братство и каждому место должное указали: ты подневольный, ты пока вольный, а ты стражник, смотри!

После построже стало, но начальство поспешило убрать развеселый лагерь, так и не допилив деревенские березы и не сведя окрестные леса. Тут война началась, не до лесов стало. Воду от приволжских Переборов, от плотины заклятой, пустили прямо на леса и деревни, справедливо рассудив, что вода когда-никогда и камни расшатает, не только что дерево. Уляжется море в предначертаные начальством берега, никуда не денется.

А оно вот уже восемь лет чертило свой круг, с самой весны сорок первого, но все не могло улечься. Мало что через каждые пять верст, на месте больших сел, торчали из воды непорушные церкви, так и леса торчком, и дома кое-где покачивались — с фундаментов их посрывало, носило по морю, забивало рано ли, поздно ли в глухие прибрежные углы, в мертвые затопленные леса. Как и люди, деревни на кладбища перебирались.

Вот по останкам деревни Избишино, минуя уцелевшую нагорную Вереть, и спустился к морю Федор Самусеев. Осень была шумна, но маловодна, за зиму Рыбинская гидростанция весь запас воды изработала, а новая ведь еще только двигалась к морю, до самых берегов не доходила, застревала по глухим оснеженным лесам. Было видно по осевшему льду, как далеко отошла она. Пустой лед хрумкал под колесами и часто проваливался. Федор несчастную Домну Ряжину вспомнил... Бывшую старую деревню, уже разметанную волнами, притопило осенью всего-то на полметра. Теперь и эти полметра ушли, оголили побережье. На месте фундаментных камней, рухнувших печей и разных колодин снег таял раньше, выталкивал черное напоказ. Так и шло вперемешку: где камень, где лед, где дерево, а где уже и сырая вода. Федор держался бывшей деревенской улицы, которая и после восьми морских лет еще маленько просматривалась. Сюда водой тоже понаташило разного хлама, но проехать было можно, ведь вода изработалась, через Переборы скатилась к Волге. Федор благополучно проехал по деревенской улице и, хоть здешним жителем не был, мысленно перекрестился: слава богу, пронесло!

Оставалось подняться на соседний мысок, к дому знакомого бакенщика. К Матвею Макаровичу...

Но если по правде, то никакой он и не бакенщик — кончилось его время, поснимали бакены с моря. Если дальше глядеть, то стражник он, самый настоящий, из тех, что лагерем здесь перед войной стояли. Не задалось что-то у него на службе, содрали погоны; но в рубашке, видно, родился, если легко так отделался. Говорили, заранее нелюбовь к себе почувствовал, приготовился; говорили, ушел по болезни. Как бы там ни было, шинель казенную снял и на здешней красавице женился, к которой и ходил-то вроде бы ради баловства. Поселился незадачливый стражник на этом берегу как раз в то время, когда уже вода от Переборов наступала. Смеялись все: чокнутый! А он хуторок на отшибе от деревни облюбовал, на краю высокого древнего могильника. Вода-то и не дошла! Все Избишино разметала, а у него только нижний огород подтопило. И связь с землей осталась, через узкий длинный перешеек. Когда закрывал ворота, нарочно для того поставленные, оказывался как бы на острове, в крепости. Горько и завистливо теперь шутили: от лагерной привычки это — запираться. А он ни от кого и не запирался, в бакенщики поступил, а бакенщику, известно, вдоль реки мотаться. Так все годы и промотался, даже военные: служба такая, нужная. Но вот недавно и она кончилась: маяки стали ставить на море, разве бакенов напасешься. Значит, и бакенщик он тоже бывший...

Все, все здесь бывшее!

Бывшее Избишино, бывший стражник, бывший бакенщик, бывшая река Шексна... Могильник на взбережье... Дом при нем...

И дома не оказалось! Все разливы выстоял, все переселенческие бури, а тут — ясной и тихой весной — пал. Неделю только Федор не гостевал здесь, а что натворили... Дом был уже разобран и уложен на прибрежном осевшем льду в единую сплотку. Все размечено, рассортировано, повязано веревками, проволокой, а по углам и скобами сбито. По морю плыть, по волнам. Видна домовитость во всем, основательность. По-цыгански жить Матвей Макарович не хотел, даже в пору разора сносно устроился. По намороженным, натертым полозьям на плот целиком втащена баня, без печки, конечно. Спали в бане, а варили пока в русской печи, только трубу укоротили. Федор подъехал как раз в то время, когда Матвей Макарович и двое его помощников разбирали трубу и кирпич складывали на плот. Печь топилась, было вокруг жарко, дымно и весело. И вольно как-то, по-бурлацки бесшабашно. Федор от радости аж захмелел — ах, как хорошо ему тут всегда бывало! Ни домашних хлопот, ни колхозных забот. Гость желанный.

Федор оставил лошадь на подъезде — не дай бог ноги переломает в весеннем чертоломье — и прямиком понесся к берегу, к весело фукающей печке.

— Здоро́во живем, зимогоры!

— Да ничего, здоровы, — ответил за всех Матвей Макарович. — Зима кончается — кончается и зимогорье наше. Пора отчаливать.

— Неуж за один раз увезешь? И печку даже?

— Чего ее, кирпичи по воде заберу. Где я найду подвод, чтобы за сорок верст тащиться?

Сорок — по береговым дорогам, а по воде, напрямую, и тридцать-то едва наберется. Но в любом случае поплакаться не мешает, особенно перед председателем — может, даст, на худой конец, сколько-то подвод. Ничего не скажешь, предусмотрительный мужичок. Федор успокоил:

— Все-таки не рви дурьмя. Если что, подкину лошадок. Не перевернешься так-то?..

— Не перевернусь. Речник я все ж, соображаю. Как поднимется вода — и плот поднимет. Ничего, доплывем. Возьмет она, моя Шексна, возьмет плотик!

Федор критически осмотрел сооружение, пластом лежавшее на сухом льду. Хотелось ему хоть к чему-нибудь придраться. Горожанин теперь Матвей, уже и работенку где-то при стройке подыскал — оттуда и помощники. Корову продал, корова ему теперь не нужна — молочко за деньги, а хлебушко за денежки. Запасливый.

— А вдруг как вода малая? Не поднимет плот? И будешь тут куковать на берегу? С разобранным-то домом?

— Не буду, Федор Иванович, как-нибудь и без твоих лошадок обойдусь, — отмахнулся Матвей от помощи. — Гидростанция под Рыбинском должна работать? Должна. Пароходы должны ходить? Должны. Дело государственное. Так что наберут водицы и на мою долю. Скорей бы лед сходил! А там... как уплыву, так прямо на Ягорбе и пристану, уж и место приглядел. Попомни мое слово! Одно худо — далековато тебе будет, Федор Иванович. Соображай.

— Какое там соображенье, — махнул тот на его городские замашки. — Не видишь, что ли?.. Ох, зараза моя! — потряс набухшей, как от талой воды, головой. — Лечи давай, да поскорее. За мешком-то потом сходишь.

— А это не раньше того, как трубу вчистую снимем.

Федор шуганул взглядом слишком уж аккуратного хозяина, но смолчал. Присел к столу, тут же у печки. По-свойски сглотнул остатки из чьего-то стакана, зажевал груздем и приготовился ждать. Ничего не поделаешь...

Все же маяться пришлось недолго. Матвей Макарович — человек понимающий. Да и помощники того же склада. Печь топилась вовсю, щи так и фырчали в чугуне, картошку уже аппетитной коркой засмолило, и разбойным смольем пошло лицо Матвея Макаровича, снимавшего прямо горячие кирпичи, коротким таким ломиком, расплющенным. Дело у него ловко шло, ни одного кирпича не побил. Федор терпеливо улыбался, глядя то на Матвея, то на чугун с картошкой.

— Погоди, будет чего и до картошки, — ободрил его Матвей Макарович. — Видишь, как скоро мы?

Он сбивал кирпичины уже с лежака и подавал помощникам, те таскали на плот; даже и на плоту еще дымились, такие горячие. Разошлись мужики, сама хозяйка из баньки вышла да прикрикнула:

— Ну ладно, ладно! Свод-то сегодня не разбирайте, успеется.

А им того и надо. Руки ополоснули в ледяных, натаявших лужах — и к столу. Мечи, хозяюшка, от печи!

Молочко за деньги, а хлебушко за денежку, опять вспомнилось Федору. Деньги у мужика водились — чего прибедняться. Поезжай хоть в Череповец, хоть в Мяксу, да и покупай, что душе угодно. Было бы за что! У Матвея Макаровича — было. Поговаривали, из довоенных припасов, когда сгонял со своих гнезд неуступчивых забережных переселенцев. Законы тогда вышли скорые, а крикунов много, тех, что с насиженных мест съезжать не хотели. Но кричали они только до поры до времени, потом были готовы последнее заложить, лишь бы под ружье не попасть. Отходчив оказался Матвей Макарович, говорили, с кого хотел, любой крик полюбовно снимал... а с кого не хотел — дотла зорил, потому как жаловаться было некому. Торопили с переселеньем — когда тут уговаривать! Чем чище место, тем лучше для моря. Матвей Макарович со своей серой командой развернулся вовсю — летели пух и перья по деревням. Может, и лишнее что болтали, но жила его жена молодая всю войну припеваючи и песней встречала муженька, мотавшегося со своими бакенами по морю; веселая и, не в пример другим бабам, гладкая. Она и сейчас, как солнышко, от бани к печке носилась. Посуда была уже на плоту, а стол оставался у огонька, поневоле забегаешься.

— Что, Макаровна, всех гостей скоро спровадишь?

Пробегая, она понимающе и ясно улыбнулась. С гостями такими хлопотно, но и без них не управиться. Дом перевезти — не шуточки.

Федор позавидовал: вот баба! Постарше его Праведницы, а как ягодка наливная. Так теплым соком и сочится.

— Худо мне, Макаровна, худо, — пожаловался он, когда она и в следующий раз вихрем мимо пронеслась; жаловаться было приятно и легко теперь...

И опять она только улыбнулась ему, ничего не сказав. Себе на уме, да на уме своего хозяина. Так их и называли — Макарович да Макаровна, хотя было же и у нее какое-то свое имя.

— Видишь? — кивнул Матвею Макаровичу. — Смекни — кто ты, а я тебе завидую.

— Уж это так и должно, смекаю, — ответил тот, утирая бороду рушником.

До старческого возраста ему далековато, и бороду носил он для красы. Шутили про него: из предосторожности — со стариков и спросу меньше. И на призывной пункт, было, с бородищей приперся. Бритвы, видно, такой крепкой не нашлось, вернули — бакены на море пасти. Не потому ли и любил так свою бороду?

Федора, как ни крепился, лукавый бес начал задирать. Из пустого упрямства возразил:

— Да почему тебе завидовать-то?

— Не дураки потому что, а люди с понятием.

— Это ты-то — понятие?..

— Я. Свой хлеб ем, свое вино пью, по соседям не шатаюсь, — недобро прищурился Матвей Макарович, а помощники его и жевать перестали, руки на стол выложили, как топоры. — Всему своя мера и свой смысл. Понимать надо, со смыслом жить.

— Жулик ты и ловкач, но без всякого смысла, Матвей, без совести, Макарович!

— Со смыслом, Федор, и с совестью, Иванович, — переборол себя хозяин и снова есть принялся. — Знаю что к чему. Иначе кинул бы тебя в телегу и лошадь подхлестнул.

— Ты? Меня? — с шумом полез на него Федор.

Но много ли намахаешь одной рукой? Сам хозяин даже не встал от еды, помощники утихомирили и обратно, как полено мокрое, осадили. А хозяюшка еще и прибавила со значением:

— Все шумишь, Федор? Разве тебе можно шуметь? Попивай да помалкивай. Семена-то!..

Была права она, ясноглазая хозяюшка, во всем права. Кто семена сюда в мешках колхозных возит, тому кричать не пристало... Но он и тут не утерпел:

— Скажи своим рукосуям, чтоб забрали с телеги. Да налей, сколь не жаль. А больше я сюда ни ногой, нет, захребетник ты лагерный!

Матвей Макарович налил полный стакан, сказал угрожающе:

— Докричался ты, Федор Иванович. Пей. В остатний раз.

Едва отлипли губы от стакана, услужливые рукосуи поволокли крикуна к телеге.

— А мешок-то, мешок! — вырывался Федор. — А бутыль-то, бутыль-то мне давай!

Матвей Макарович, провожая его, посмеивался в бороду:

— Нет уж, Федор Иванович, нетуньки. В тюрьму с тобой угодишь, знамо. Семена-то — не шуточки!

— Да все равно, Матвеюшка, душа-то, она окаянная...

— Ну так ладно, еще напоследок, — мигнул он своим помощникам.

Еще — значит, опять же стаканище. Хоть и велик, а прозапас его не возьмешь, расплескается. Федор, уже со зла, махнул.

— Так что, разругались?

— Разругались, Федор Иванович, разбежались. Н-но! — хлестнул Матвей лошадь, направляя ее на дорогу. — Никак за тобой скачут?

Федор поначалу не обратил внимания на его слова. Поразило удивительное совпадение: второй раз вот так выпроваживали! Неделю назад рыбари — теперь эти. Хохочут! Но вот и назад уже отбегают, сокрываются от греха подальше. Донеслось только:

— Сейчас тебя Митрий опохмели-ит...

Сквозь закрывавшую глаза мглу Федор успел распознать: в самом деле, Митька Окатов, его негласный заместитель. Верхом и с недоброй усмешкой на молодых губах. Грозил кнутовищем уходившим к берегу мужикам, а Федор его успокаивал:

— Я сам им — видишь как? Побежали как миленькие!

— Да ты-то уж, Федор Иванович — сам! Ты-то уж гляди куда хорош! Семена-то все сюда перетаскал?..

Федор хотел было что-нибудь ответить, но из головы все вышибло и на дно телеги бросило. Так и по-онесло по кочкам!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Председателя не стало, но и безвластия не случилось. Митя Окатов, в один день обратившись в Дмитрия, самолично сместил Самусеева и сел за его стол. Вышло это как бы само собой, без подсказки.

Когда привез он пьяненького председателя в контору, там уже собралась, считай, вся деревня. Собрание не собрание, а что-то вроде того. Сев хотели начинать, примерялись друг к другу и к лошадям. За зиму отвыкли. Дело непростое — оглобли на постромки поменять. В оглоблях и старость лошадиная не так видна, а в постромах шатается. Набирался всего пяток пахотных лошадей. Да и тех, если уж по совести, лучше ставить в пароконные плуги; ими обычно брали тяжелую пашню, залежь да луговину, и сейчас вспомнили от великой слабости.

Нашлись лошади, а с семенами что?

Никто в точности не знал, сколько убыло с лихой председательской руки золотых весенних семян. Но оказалось ясно — на посев не хватит. Времени не было, да и боялись перевешивать, чтоб от тоски зеленой и новому председателю не запить. Жалея и Самусеева, а особенно его семерых неприкаянных сирот, молчаливо решили овсом возместить. Отыграются на лошадях: без овса на пашню выйдут. Не хватит овса — и на людях отыграются, за счет гороховой заповедной прикормки, оставленной с осени. Не пойдешь ведь в район с протянутой рукой: подайте христа ради на семена — по осени же рапортовали, что засыпано заполностью. Подать-то, может, и подадут, только возьмут прежде в залог самусеевскую головушку. Теперь все едино. Ладно, решили, все подчистую пойдет на поле. Может, и умилостивят сеялки, выгонят назначенные колхозу гектары...

Обо всем этом и судили-рядили, когда Дмитрий Окатов доставил председателя вместе с последним неразменянным мешком — садись, Федор Иванович, на свой оплеванный стул! Мешок на попа посередь конторы, председателя напротив толкнул. Но Самусеев умудрился промахнуться — треснулся мимо стула, так что шапка с головы долой! Плохая примета... Подоспевшая на крики Праведница подняла его и усадила на законное место, но ненадолго. Качался Федор напротив злополучного мешка и ничегошеньки не понимал, что вокруг творилось. А вокруг смеялись, перебранивались на разные голоса, ревели.

Подступил Дмитрий Окатов к столу. И сказал Самусееву:

— Ты давай слазь, Федор Иванович.

Странно, но негромкие слова Митькины дошли до Самусеева, поднялся со стула. Когда выходил из-за стола, еще и оглянулся, словно потерял что. Но терять ему было уже нечего...

Дмитрий Окатов выждал немного и сел на место Самусеева. Набычился, и уже погромче:

— Значит, так. Значит, я теперь буду председателем.

Контора снова взорвалась спорами, бабьими всхлипами, соленой руганью — так, что тараканы по щелям шуганули.

— А Димитрия-то можно бы и пожалеть. Один он у меня, — подала голос Марьяша.

А что один — всем известно: муж ее, Клим Окатов, еще на финской сложил голову, а сын Владимир — на этой, проклятой... И уцелел только вот Дмитрий, потому что косолапый, даже при такой людской нехватке на фронт не взяли: безногий военком, пропустив тихого Володьку, на шустренького брата наорал: «Куда ты прешься со своими лапищами?! Ходи за плугом!»

Барбушата встряли:

— Знамо дело, мужик! Хоть и косолапенький!

Юрка Ряжин на них прикрикнул:

— Кончай барбушить! Не отец, так пускай другой кто. Чего толковать — сеять надо.

— А то без тебя не знаем... — недобро одернул кто-то.

Дмитрий Окатов смотрел-смотрел на все это — и хвать ладонью по столу.

— Будет! Полдня на разговоры ухлопали. Пахать через неделю, а плуги да лошади не готовы. Горн сам раздую, а лошадей хоть из горсти, да подкормите! Я вам не Самусеев. Спуску не дам.

Уйти бы Федору, раз уж так повернулось, да на печь забиться, в самый глухой угол, а он у стола перед Митрием выставился, посверкивает, косит налитыми глазами, подергивает рваной, косо зашнурованной щекой:

— А как не захочу уйти, с председателей-то? Кто тебя выбирал, Митька?

— Да вот они, — нашелся тот. — Люди-то!

— Да когда, когда?..

— Да вот сейчас, Федор Иванович... сейчас прямо и выберут, — и не думал сдаваться Дмитрий. — Ну, кто хочет, чтобы я был председателем?

Такого еще не знала колхозная контора! Парень сам себя высватывал...

Самусеев, видя это, раскатисто, трезво захохотал. Дмитрий Окатов своим тяжелым смешком придавил его:

— Видишь, Федор Иванович? Две руки всего и против.

Истинная правда: две. Только — одного человека: Марьяши. Защищать защищала, а председателем сына не хочет.

— Митя, опомнись! Семена пропиты, кому отвечать?.. Ведь засудят тебя.

— Верно, тебя, Дмитрий Климович, — подтвердил Самусеев. — Без ревизии колхоз принимаешь.

— Слышишь, сынок? — взмолилась Марьяша. — Не бери в руки проклятущую печать!

Ее крик и напомнил Дмитрию: печать. Он пощелкал, пощелкал ящиками стола, ничего в них не нашел и протянул руку к Самусееву:

— Давай, Федор Иванович.

Самусеев помедлил, прежде чем вытащить из кармана кожаный мешочек. Семь лет носил, истерлась кожа, жалко, а отдавать-то надо — надо! Дернул шнурок, достал печать:

— Возьми... коль тюрьмы не боишься...

Дмитрий Окатов взял печать, покачал на ладони:

— Что-то легковата... Без мешочка чего?

— Того! Когда Верунька сошьет тебе, тогда и спрашивай...

Федор Самусеев сунул пустой мешочек в карман и вышел из конторы. Вслед собрание как одна душа выдохнуло:

— Во-от как надо любить-то!..

Мешочек под печать шила Марыся, еще в первую военную зиму, когда Федор вот так же принял на голую ладонь эту нищую печать...

Запоздало устыдившись, стали расходиться. Последней неохотно уходила Верунька. Не хотелось оставлять мужа, но что-то подсказало: надо ему побыть одному... Разве что на пару с печатью. Помолчать, а может, и поговорить с ней, потому что печать эта — существо тоже живое. О многом может порассказать...

О, печать, печать, печать! Горькая, колхозная!..

Вырезали тебя не в столичных гравирнях, не в таинственных печатных чертогах, где каждое слово — золото. Не за семью камнями, не за десятью дверями. Не на медном полированном столе — на столе тесовом, неструганом. И не от лености — от скудости. Не было у здешнего печатника Гришуни никакой гравирни, а был клетушок в сенях, с маленькой железной печуркой, самодельным мягким креслом, березовым чурбаком с правой стороны и тисками со стороны левой, чтобы уж не подниматься, как посадят, — без ног сидел Гришуня, и то ладно, что было на чем сидеть. И то хорошо, что было из чего ключи-замки точить. Железо, ржавое военное железо, еще хранившее запах крови, и кормило солдата Гришуню, вместе с детишками и безответной женой. А печать?

Печать, печать... Невелика штучка, но ценна. Без нее, например, не уйдешь из деревни — любой милиционер вернет тебя обратно. Без нее бумажка — просто бумажка, а с ней — уже с п р а в к а, пропуск в тридевятый, городской мир. Не знал мастер Гришуня, вырезая колхозную тусклую печать, что и пройдет-то всего десяток-другой лет, как рухнет сила этой печати. Появится у колхозника, как у всякого земного человека, свой лик гражданский — паспорт. А пока его не было, лик этот печать заменяла, для которой не нужно фотографий, и знать не нужно, где и когда ты родился. Просто — колхозник, существо, приписанное к земле, и именно в том только месте, которое значится на печати. Как на этой, лежащей на голой ладони Дмитрия Окатова: **Колхоз «Свободный труд» — Мяксинский район — Вологодская область.** Но можно и без области и без района — главное, окрепное слово: колхоз. И кто прикреплен к нему — тот колхозник, и никем иным быть уже не может. В институт ли, на побывку ли к сыну, на розыски доблестной воинской могилы, в другое место куда — проси печать. Без нее нет тебе пути-дороги. Провидец с самодержавным взглядом, попыхивая носогрейкой да в усы кавказские ухмыляясь, как никто представлял ясно: стоит рухнуть власти этой печати, и покатится народ из тысячелетних деревень, как вода весенняя! Удержишь ли ее? Ставь тогда казенные плотины повыше, чем в Переборах. Соблазн вольной жизни, при которой куда захотел, туда и поехал, очень велик, не выдержать его российскому человеку, не осознать — думали сильные мира сего, где посулом, где обманом закрепостив деревенскую жизнь. Обязательно, мол, удерет, хоть с юга на север, хоть с севера на юг, а то и далее того — до заснеженных карельских скал, до сожженного войной, пустующего до сих пор Карельского перешейка, до туманных, безлюдных Курил, до не остывших еще от войны хуторов у развалин прусского Кенигс-

берга. Все равно куда — лишь бы вырваться из беспаспортной неволи! Вон половина Вологодчины по вербовочным листам разбежалась, а другую половину крутит-мутит Череповец...

Нельзя без печати. Все под ней ходят, под крепким чурашком из березовой капы: и Гришуня-печатник, и детишки его, и жена безответная, и ты, Дмитрий Окатов, и Самусеев Федор — и живые, с мозолистыми крестьянскими ладонями, и те, не родившиеся еще, не проклюнувшиеся людские семена.

Держи ее крепче, Дмитрий Самозванец, смотри, не роняй. Уронишь — не сносить тебе головушки своей. За «Свободный труд» тебе отвечать. Знай — и никогда не забывай!

На последние гектары семена собирали с лукошками. Сам Дмитрий ездил по дворам, а Марьяша рассевала. Сеялка была в исправности, но сеялка знает свое: золотые ручейки пускать — на хороший исток рассчитана. Да при поворотах-разворотах на коротких полосах еще немало растеряется. А из горсти — зря не падет ни зернышка. Когда Дмитрий привозил очередное лукошко, мать ладонь подставляла:

— Горсть у меня, Дмитрий Климович, такая то-оненькая!..

А уж какое там тоненькая... Не всякий мужик захватит. Потому как не всякий и работал столько, сколько Марьяша Окатова, военная семижильная лошадь. Уже и без войны четыре года, все равно — безостановочно в борозде. Подмены нету. Кто не подрос еще, как ребятишки Самусеевы, кто изработался вконец, как скотница Василиса Власьевна. Сеять она умела, да быстро отсеялась: упала со своим лукошком и только семена зря растеряла. По зернышку собрали их ребятишки, а Василису Власьевну в деревне возле коров определили. Марьяша себе на уме:

— На наших землях лучше недосеять, чем пересеять.

Вернулась с дальнего конца с пустым лукошком.

— Э-эх, — посетовала, — еще бы пару таких мерок — и отсеялись бы, и спать бы можно спокойно.

Но легко сказать — пару! Все дворы с милостыней обошли. Где уговором, где криком, а где и слезой обобрали. Мол, горсть-другую на своем участке не бросишь — ничего, все равно этим клочком не прокормишься. Давай на колхозное поле. Надо же как-то выручать себя, если проворовались. Надо! Сам Дмитрий все свои семена отдал, а пустующий участок, в насмешку, свеклой сахарной да репой засеял, — нашлись где-то давние семена. Свекла после украинских беженцев осталась, репа своя. Чего там, надо! Одноруко притащил свой семенной узел и Федор Самусеев, но с того взяли только половину: он-то виноватый, а ребячья орава при чем? Ячневая каша куда хороша! Так и сказала ему Марьяша, велела вторую половину обратно тащить. Все равно семян не хватало — сиротской горстью поле не покроешь...

Вот тогда-то, в минуту полного отчаянья, и заявилась фрау Луиза. Вся в пыли, но с двумя мешками. На хорошей череповецкой лошади. И сама вроде бы уже череповецкая, а подвернула прямо к полю.

— Досевай, Марьяша, — поторопила. — Слышала я, гроза на вас идет. Сама знаешь, в мою парикмахерскую всякий народ попадает. Болтают разное...

Марьяшу не надо уговаривать. Мешки с телеги долой, лукошко насыпала — и пошла поле мерить, после каждого взмаха руки приговаривая:

— Теперь-то уж дотя-анем... теперь-то уж, фрау моя дорогая, досеемся...

Дмитрий не мог так круто чужим добром распоряжаться.

— Откуда у тебя, Луиза?..

— Никого не зарезала, Дмитрий Климович, не бойся, — посмеялась она крашеными губами. — Все заработано и на базаре куплено.

— А денег? Денег сколько?..

— Много, Дмитрий Климович, много... Но мне и платят немало. Жить люди захотели, красиво жить. Неспроста же меня в Череповец затребовали. Кто жен да и самих начальников причешет так, как я? От зари до зари не выхожу из парикмахерской. Без праздников и выходных. А тут еще уроки немецкого... Тоже жизнь, учиться захотели. Вот и репетирую, с бывшими солдатами... которые всю Германию прошли, а только и знают: «хальт!» и «хенде хох!». Да еще с таким вологодским выкриком, что невольно руки вскинешь. Один безногий лейтенант, когда я ему такое замечание сделала, чуть было не пристрелил! Пистолеты до сих пор по карманам носят. Спасибо, другой лейтенант, на своих двоих, вышиб у него пистолет, скрутил. Набили они там у меня стекла, да уж ладно, замирились. Мне что, у меня доля такая — терпеть... Чего на них обижаться. Оказалось, тоже поступать собираются, да еще в Московский университет! А у самих же, говорю, ничего за душой, кроме «хенде хох». В Москве ведь не покричишь. Велела им ежедневно приходить в парикмахерскую. Стригу там и брею, кудряшки разным капризным женам накручиваю, а попутно с ними разговариваю. Они теперь смирно сидят в уголочке, как пленные, — сами над собой посмеиваются. Признались мне, что и с пленными немцами хотели репетировать, да тот безногий чуть оберста одного не придушил, закрыли им вход в лагерь. Господи, когда же злоба людская пройдет?!

Дмитрий Окатов впервые видел фрау Луизу плачущей. Молчала — да, терпела — да, но слезу, бывало, не выжмешь. Из немцев, а из каких — пойди пойми! Как в начале войны прибилась к здешнему беженскому берегу — как смерть в толпе беженцев, — так и жила, безответная, безликая. Уж не знали, что и думать: по своей воле, нет ли, так никуда и не уезжала. Ребятишки, бывало, как завидят ее, кричали: «Шкилет идет, шкиле-ет!» А бабы и того откровеннее: «Смерть немецкая окля-атая!» Только в последние годы и стали замечать, что молода еще она. Всю войну Луиза работала — то в колхозе, то в артели рыбацкой. И что удивительно: ничего не просила, как все тянула, выжила — видать, на роду ей было написано. Сердце русских, известно, отходчивое — привыкли к «фрау» избишинцы и непонятное это слово вроде как за фамилию считать стали. Когда же беженцы, как журавейки, к родным местам полетели, у нее словно и родины не было... Не заикалась о ней. Да кто погонит человека, если он работает и никому не мешает? Свыклись и уж от себя не отделяли. Поэтому и удивились, и даже обиделись, когда минувшей зимой вышло распоряжение — за гербовой печатью, посмотрели, не чета колхозной, да с закорючкой-подписью — отправить фрау Луизу в Череповец. Для парикмахерского дела, значит, для утверждения послевоенной красоты. Она, конечно, и раньше деревенских стригла, да никто же не думал, что знаменитость! С нарочным, позади седла, и отбыла в Череповец. Вот и пробежала черная кошка, да такая, что Луизе в Избишино хоть не показывайся. Слухи ходили — прямо страсть! Она там и стрижет, и бреет, она там со всеми немцами водится, а начальство ее по головке гладит. Забыли, с кем и воевали-то!

И вот прикатила. С двумя мешками ячменя. Как дар божий!

Дмитрий слушал Луизу и чувствовал: на губах закипала пена, как в тот военный день, когда объявилась здесь беженка-немка. Немцев обвинял в смерти отца, и только их, до сих пор простить не мог, хоть не немцы его убили, а тихие финны, еще на том заклятом Карельском перешейке. Сдерживал себя, думал, ничего — а прорвалось:

— За два мешка ячменя нас купила? Пожалела? А если нам твоей жалости не надо... сука недобитая! Ма-ать! — на все поле прокричал он. — Собирай семена... чтоб и не пахло тут ими!

Марьяша как раз очередной круг завершала, подошла со своим лукошком и высыпала из мешка остатнее. Грустно посмотрела на сына:

— С полосы собирать-то, председателюшко?

— С полосы! По зернышку! — отрезал он, не задумываясь над своими словами.

— Ага, председателюшко, вот только досею последыши...

Дмитрий бегал вокруг телеги, пинал колеса, трепал пустые мешки, даже лошади за что-то перепало — на дыбы взвилась! Но тут из-за кустов, скрывавших поле, набежала самусеевская, или, как горько говорили — самосеевская, ребятня, и всем своим голоногим посевом понеслась навстречу:

— На-аша Луиза!

— Ма-ама Луиза!

У малышей этих каждую приласкавшую их женщину повелось называть мамой; немудрено, что и Луизу, — стригла все эти годы. А кто стрижет, тот и по головке гладит. Рады! Так и зависли всем скопом на череповецкой гостье. А она гостинцы из карманов жакета достает, рассовывает по ладошкам:

— На, Веня, на, Саня маленький, на, Домнушка, ты моя...

Домнушка на руках, Санька на ногах висит, а Венька спереди подол тормошит. А тут и Юрий-большун, ходивший вслед за Марьяшей с бороной, приостановился и совсем по-мужски руку тянет:

— Здравствуй, фрау Луиза.

Дмитрий Окатов еще пинал пустую телегу, а слезы у Луизы уже высохли.

— Юрий, — приобняла она за потные плечи сеяльщика, — ты ведь большой уже. Какая я тебе фрау?

— Хорошая фрау, — потупился Юрий, — нечего меня учить.

— Ну, спасибо и на том. А учить тебя все-таки нужно, Юрий. Да и самому учиться. Чем тебе пятый класс не понравился?

— Немецкий там, — буркнул Юрий и потащил прочь свою борону.

Этого она не ожидала услышать... «Немецкий там». Но вдруг вспомнила: батька этого Юрия погиб под Тихвином, от немецкой пули пал. Луиза села на пустые мешки и, ничего не понимая, слушала, как все палил и палил ясным огнем разбушевавшийся молодой председатель. Слова не доходили — она словно оглохла. Ребятишки, не выпуская из рук гостинцы, жались друг к дружке в сторонке и, подражая старшему брату, по-ряжински, да и по-самусеевски, гнули к земле бычьи лбы. И Луиза на все поле, казалось, развела руки:

— Господи, да кончится ли когда?!

Что хотела она этим сказать? Да и было ли у нее право говорить, если бы и хотела сказать что?

Подошла Марьяша, будто с прощением, хотя и без особой радости:

— Ладно тебе, Луиза. Пойдем чай пить. Отсеялись — чего лучшето...

В кухне Марьяша как села на лавку, как вытянула ноги, так и не встала бы, кажется. Чуть ли не в рев запричитала по сыну:

— Да на кой леший все это нужно? Сколько той жизни проклятой? Мужика убили на финской, сына забили на вашей, немецкой... на этой войне, — поправилась она, видя, как задрожали губы у Луизы. — Все едино, как ни называй! А теперь и младшенький... Ведь только дурак на погибель свою и сунется в председательский хомут, да после самусеевского-то разора!

Причитала Марьяша, а Луиза ставила самовар. Что ей было говорить? Всю войну вместе прожили, знали друг дружку. Выплакаться нужно Марьяше. Это все равно что отдохнуть.

И верно, десяти минут не прошло — наотдыхалась.

— Рассиживаюсь, а поросенок не кормлен. Чем его кормить? Картошки самая малость, хлебом и не пахло. Пойду хоть крапивы нарежу да напарю. Ты сама тут собирай.

Луиза кивнула, занялась нехитрыми сборами. А Марьяша с поро-

сенком так же быстро, как и со слезами, управилась. Вернулась довольная.

— Солощий он у меня. Ничего, попасется на травке, мы-то восьмой год уж как пасемся. Не сдохли. Осенью картошкой вместе с поросенком подкормимся, авось и обсевков каких сынок на трудодёнки отвалит... — эти слова сыпались без злости, как само собой разумеющееся. — Погоди, не торопись, Луиза, у меня и сахарок еще есть.

Чай был не настоящий, цветочный, да и сахар тоже — домашней варки, но все же не пустая вода. Научились за эти годы, ко всему приспособились. Не южное солнце на Шексне, но кое-какая сахарная свекла росла и здесь. Беженцы с Украины научили. В первый же год всю пустую землю сахарными семенами забросали. Вот народ! Бежали из-под бомб и снарядов, несли только то, что на себе, а семена не позабыли. Считай, в каждой беженской котомке лежал заветный узелок с семенами: и цибуля, и чеснок, и огурцы, и никогда не вызревавшие здесь помидоры, и свекла, конечно — красная и белая. Поначалу смеялись избишинцы: вроде бы кормовая, для поросят! Белую, кормовую, и на Шексне знали: перла дуроломом из земли, горькая, безвкусная, только свиньям и жрать. Но то, что выросло у пришлых украинцев, сразу к ним отношение переменило — сахарок! Сладкую белую свеклу, хоть и вырастала она помельче, чем где-нибудь на Полтавщине, ели во всех и всяких видах. Ребятишки — те прямо из земли драли, грызли, как морковь. А женщины варили домашний, дармовой, считай, сахар. Давно уже, и все поголовно, поуезжали украинцы «на ридну Украину», а до сих пор в их славу неслись по Избишину сладкие песни возле исходивших свекольным соком осенних печей — за добрые семена благодарили, за сахарную их науку.

Марьяша с Луизой выпили уже по три чашки, торопиться некуда. По всему выходило, посидит Луиза. И Марьяша настроилась на долгий разговор.

— Знаешь, Луиза, по-всякому мы беженцев встречали, а теперь вот жалко. Чем не жизнь вместе-то! Хоть белорусов, хоть и тех хохлов взять: засуха у них смертельная все эти годы. Гляди, что вышло: земля у нас худая, а все-таки лучше родит. Да и лес подкармливает. А у них степь плешивая, чего было ехать?

— Да ведь родина, Марьяша, ро-одина...

Та внимательно посмотрела на гостью:

— Родина, говоришь? Да ведь ты-то сама не едешь?

— Не еду, Марьяша...

— Чего так, ведь не лагерница ты вроде?

— А того, что не пускают... Чужеродная немка, говорят...

Что-то давнее, настороженное заворочалось в душе у Марьяши. Немка? Чужая? За восемь лет и камень, пригретый у печи деревенской, своим станет — чего ж смотрит она на Луизу все-таки не так, как посмотрела бы на Василису Власьевну или на Тоньку-Лутоньку?

— Теперь пора? — и Марьяша поднялась проводить Луизу.

— Пора. Спасибо. Мне на работу нельзя опаздывать... Никак нельзя... До утра только и отпустили.

На голоса женщин из межполосных кустов вышел Юрий, подозвал лошадь, подъедавшую клеверок, запряг сноровисто. Положил клеверку в телегу — чтобы помягче было, да и дорога дальняя, лошади без кормежки не обойтись.

— Спасибо, Юра, — кивнула ему Луиза и покатила по вечерней остывающей дороге.

С другого конца поля подошел Дмитрий, тихий и усталый, сказал чуть слышно:

— Море, говорят, вскрылось. Жди теперь гостей!

Гости — это, известно, начальство. Самолетов у них нет. А кружным путем, через Череповец, не наездишься. Морем, да на хорошей шестивесельной лодке, другое дело: два часа — и на здешнем берегу, если с погодой повезет. Лед пошел — готовься к встрече гостей, председатель!

Но ждать ему пришлось еще недели две. Уж и озими, хорошо перестоявшие зиму, закустились, уж и яровые прорезались. Зеленая щетинка к концу мая ровно и сочно покрыла красноватые поля, и только сбитые строчки выдавали, где проходили сеялкой, а где вручную. Чтобы из горсти разбросанные семена и простроченные сеялкой сошлись единой скатерочкой, двух недель маловато, пускай и при добром тепле. Грех на него жаловаться, но все равно времени в запасе не оставалось. И так удивляло, что «Свободный труд» слишком уж от многого освободился...

А что удивительного? Новое, переселенческое Избишино, в отличие от старого, разбитого Рыбинским морем, отошло в глубь забережных лесов на семь километров — на самый закраек района, который глухим, совсем уж неуправляемым концом смыкался с тверской стороной. Ход в районную Мяксу был только через море или вокруг него, через соседний Череповец. Но вкружную никто не ходил и не ездил. Да и дорог настоящих не было: старые, петлявшие вдоль Шексны, ушли под воду, а новые кому торить? Избишинцы были даже рады, что с районом связь плохая, а председатель — тем паче. Мудрецом сказано: подальше от начальства — поближе к себе. Телефон работал, и ладно; телефоном, на зависть другим, обиженным колхозам, обзавелись еще в довоенное время; прямо по живым, обрубленным соснам провода тянули, и ничего, не так уж часто рвались. А порвутся, по обрубкам сучьев, как по лестнице, парнишку вверх пошлют, чтобы проволоку связал. И что еще хорошо, матюги слышны, а не видны — сколько их ни сыпь по проводам, они пустыми матюгами и останутся. Не маленькие, научились отговариваться. Другое дело — начальство или какие уполномоченные... Тут уж нос книзу — и паши, паши стол!

Дмитрий Окатов ожидал начальство со скрытым чувством страха и нетерпения. Отговорки телефонные пока помогали, навострился зубы заговаривать: да, нету Самусеева, да, на дальнем поле Самусеев, передадим, передадим, да, болеет все еще, да, опять, так уж опять и заболел, да, заместитель слушает, да, пашем зябь, день и ночь пашем, а как же, скажем, скажем ваши приветы...

Помогало и то, что Дмитрий Окатов, для своих-то пахарь-бахарь, вместе с Самусеевым бывал на районных совещаниях, малость помелькал на виду у начальства. Но вечно отговариваться нельзя. Все равно настанет день, когда придется глянуть в грозные очи...

И день настал. Пасмурный такой, серенький денечек. Без дождичка и без солнышка, как под пологом парным. Для хлеба спорый.

С утра Дмитрий гонял по полям, смотрел и радовался, как дружно поднимаются зеленя. Потом пошумел маленько на летней ферме, но тоже весело, легко: причин-то не было злиться. А как зашел в контору... так и упала душа! Пролистывая, прежде чем в район отослать, отчетную ведомость, наткнулся на объявление, хитрой рукой между страницами засунутое. Ясно, Самусеево наследство! Дмитрий от первой до последней буквы, и несколько раз, прочитал эти зазывы на стройки Череповца. Еще не зная толком что к чему, одно понял: схитрил Самусеев. Раз объявление, черным по белому пропечатанное, так место ему на стене, рядом с портретами, плакатами и подпиской на заем. А на стене объявленьицем этим и не пахло. Перевернув листок, Дмитрий нашел и отгадку: на обороте была приписка, сделанная знакомой рукой Демьяна Ряжина: «Самусеев, не дури! Видишь, второй листок оставляю?» Ага, значит, был и первый! Не имело значения, пустил ли его Самусеев на курево или на что-нибудь еще такое потребное — скрыть-то все равно не удастся. И все же, поразмыслив, Дмитрий упрятал зло-

получный листок опять поглубже в бумаги. Он не видел, он слыхом не слыхивал. Однако настроение упало... Потянется народ в Череповец, ой как еще потянется-то... Не зря пристают Барбушата. Не зря и Юрий Ряжин как-то странно заговаривал...

Поругал Череповец — и вслух, и про себя. Но не выговорился — помешали. В окно увидел: по его председательскую душу! Двое милиционеров и какой-то штатский, незнакомый... да нет, чуток припомнился: кажется, нарочным приезжал за фрау Луизой. Он, явно он. Катись душа в пятки!

Дверь настежь отмахнулась, вошел штатский — милицию на улице оставил.

— Товарищ Окатов?

— Дмитрий Окатов, ежели...

Нарочный присел на стул сбоку стола, раскрыл портфель. Дмитрию бросилось в глаза, что и портфель, и человек словно бы едины — серенькие, как на дворе денек, непромокаемые. Плащ на человеке из какой-то трофейной клеенки, портфель тоже, видно, из нее. Да и кепка одного пошива, острым клинышком. Дмитрий не удивился бы, окажись и сапоги клеенчатыми...

— Чему вы улыбаетесь, Окатов?

— Я? Улыбаюсь? — искренне удивился Дмитрий.

Он отвернулся, набычившись. Контора углом выходила на улицу, на каждую сторону — по два окна. Ему было видно, как из-за угла вышел милиционер, пожилой и болезненный, уселся на скамейку — Дмитрий одобрил его выбор: сторона южная, тихая, и скамейка для отдыха удобная — и вытянул ноги, спиной прислонился к бревнам. Кашель его душил, мокрый и хриплый.

— Чего он так? — посочувствовал Дмитрий.

Уполномоченный тоже зашелся кашлем, тоненьким и стеснительным, спрятавшись за поставленным на столе портфелем. А успокоившись, сухо, без кашельной слякоти, посмотрел в глаза Окатову:

— Здесь вопросы задаю я.

Дмитрий невольно опустил голову. Портфель из серого стал зеленоватым. В такой же зловеще-болотный цвет окрасился и плащик, и даже кепка-остроклинка прозеленью пошла, словно и ее сырой гнилью прихватило. Дмитрий непроизвольно стал оправдываться:

— Ежели чего не так, так ничего — отсеялись. Трактор обещали, да не дали — на своих хвостах вытянули. Весна помогла, хорошая весна. Вон как зеленя пошли! — перевел взгляд с маячившего перед лицом портфеля на первозданно чистое, яркое поле за окном. И увидел Веруньку: задумчиво покусывая травинку, она подходила к конторе.

Дмитрию не хотелось, чтобы Верунька видела его, и он посунулся вдоль стола в угол, по неловкости портфель локтями столкнул. В нем что-то железно загремело.

— Слесарите вы, что ли? — хотел нагнуться Дмитрий.

Нарочный опередил его, сам подхватил портфель, тоже неловко — опять звякнули какие-то железки.

— Уж слесарь-то так бы нам кстати! Нищие, а ничего, расплатимся.

— Удивляюсь я, Окатов, прямо удивляюсь... Он еще и шутит!

— Да какие шутки, — вздохнул Дмитрий, — с самой зимы слесарей не видали. Хотя бы цыган какой заблудший, как в прошлый раз, смех и грех... Курицу у матани сперли! А без них нельзя. Швейная машина у кого с войны осталась, самовар у кого потечет. Да и сеялку надо бы получше подрегулировать, у меня что-то плохо получается...

— Во-во, сеялка, — успокоился приезжий. — Почему вручную сеяли?

— Говорю же, обе не отрегулированы. Зря семя в землю осыпают.

— Зря ли? Может, по норме?

— Норму люди устанавливают. Беречь надо семя, дорогое.

— Во-во, беречь. А почему? Куда оно уходит?

Хотел Дмитрий сказануть — куда, но за окном послышалась возня, а потом и недовольный голос матери: «Разлегся тут со своим ружьем проклятым. Нам тоже хочется послушать-то». Мелькнула спина нахохлившегося милиционера, обшарпанный приклад, потом платок Верунькин, потом мать опять голос подала: «Еще подвинься, бабы-то подходят». Бедного милиционера оттиснули за угол, а за окном замаячил платок Василисы Власьевны, еще чей-то, и Венька Ряжин носом в стекло полез.

Дмитрий будто и забыл про незваного гостя. Посматривал в окна. А тот опять злюще раскашлялся:

— У вас что тут... кх, кх... бездельники одни вокруг конторы?..

— Да и в конторе без делов... Идти мне надо. Вы-то остаетесь?

— Останетесь и вы, Окатов,— приезжий властно осадил его.— Не придуривайтесь и отвечайте по существу. Первое: по какому праву вы захватили колхозную власть?!

Дмитрий опять вздохнул. И не поворачивая головы чувствовал: набилось за окнами людей — аж потемнело в конторе. Назойливо не высовывались, будто спинами подслушивали. Дмитрий торкнул раму:

— Не маячьте! Меня тут спрашивают, куда семена подевались, да по какому праву я власть захватил. Мне думать надо. Тих-хо!

Захлопнул окно. И в самом деле, перебивают, не дают собраться с мыслями. А ведь отвечать-то нужно по существу вопроса — был он с Самусеевым на районном совещании, именно так и говорили. Дмитрий деловито расположил локти на столе и доверительно посмотрел в глаза странному посланцу: если, мол, ты нарочным послан, так выкладывай, что надо, а я отвечу, а ты на карандаш бери да уезжай обратно, пока море не расшаталось. Бывало, и по три дня мотает. На ночь задерживаться никак нельзя. Нарочному, коль уж послан за справкой, надо торопиться...

— Семена-то, говорите? Семена в свой срок легли, исправно. Отсеялись, можно сказать, удачно. Я тут вот отчеты подготовил, сам уж собирался в район везти. Вот вовремя вы! Возьмите,— подвинул старательно переписанный Верунькой отчет.— А что касаемо председательства... Самусеев все болеет, мне приходится отдуваться. Правление поголовно, считай, женское, как бы и насовсем в председатели не уговорили! Беда прямо, некому руководить. У Самусеева болезнь военная, запущенная — какой теперь работник? Не лошадь он — тоже износился. Кому коренником? Вот вы, ежели, становитесь? Знамо дело, изберем! — разговорился Дмитрий и совсем уж по-дружески глянул на гостя.

Но что во встречном взгляде увидел! А что услышал!

— Окатов, вы что делаете?! Вы чего контр-р-революцию разводите?! Нарочно разглагольствуете, чтобы все за окном слышали?!

— Хоть шепотом говори, услышат,— погнал он и без того негихий голос.— Любопытные они у нас, потому что женщины. Мужики-то наши знаете где?..— хотел во имя отца, Клима Окатова, помянуть, но все же сдержался и даже улыбочку вымучил: — Как им не послушать? В кои-то веки нарочный! Да еще с охранниками! Ба-альшой человек! Вы не предрика новый? Я-то никого в лицо не знаю, могу ошибиться. Понимаю, половодье вас держало, а теперь-то... Я, правда, и не понял,— внутренне улыбнувшись, сел опять на своего председательского конька,— я никак не могу взять в толк, по севу вы или по молоку? По молоку подзавалили, без кормов из зимы вышли, за счет зеленой травы покроем. А если по севу, так в отчете все указано, да я и по памяти могу доложить: все плановые задания выполнены — ячмень, овес, лен, горох, картошка, капуста, брюква, свекла, вика... Вот по вике полгектара недобрали, мелкие у нее семена, просчитались. А где других найдешь? Я в отчете это самокритично признаю: упущение. Недосев за счет клевера покроем. В отчете указано также...

Дмитрий обрел угрюмое спокойствие и приготовился, раз уж прислан такой важный нарочный, выложить все, вдобавок к письменному отчету, что на бумаге и не напишешь. Но ему коротко и властно было приказано:

— Хватит антимоний, Окатов. Одевайтесь. Отчитываться будете в районе.

— В районе?.. Дак я одет... Дак я ж не голый.

Уполномоченный посмотрел на него как на глупенького:

— Я имею в виду пальто, запасные портянки, пару белья, кружку и ложку. Можно и сухарей, если хотите.

— Да откуда у нас сухари? Слава богу, хоть на картошке да на зеленой крапиве дотягиваем. В Череповец за хлебом не наездишься, да и там очередя, много там нашего брата, с ума посходили, как не стало карточек. Все есть хотят!

Не слушая больше, районный нарочный брякнул портфелем и сунул его под мышку.

— Вот что, Окатов, обойдемся без твоих антимоний. Нужно сегодня же в Мяксу возвратиться, а море неспокойное. Так что даю десять минут на сборы. Антипов! — крикнул он в окошко.— Хватит мух ловить. Своди Окатова домой. Да побыстрее!

Возня за окном усилилась, и в ответ послышалось:

— Дак связанный я, как идтить?..

Нарочный прянул к окну и некоторое время наблюдал толчею возле своего поверженного охранника. Потом подскочил к дверям и тем же нетерпеливым голосом позвал:

— Титов!

Никто не откликнулся. Подозрительно оглядываясь, нарочный вышел в сени. В боковой кладовке вроде скребся кто-то, глухо бурчал. Титов догадался, погремел замком.

— Ты как там оказался, болван?

— Оказался вот... Затащили...

Дмитрий рассмеялся: истинная каталажка! Когда переселенцы устраивались на месте выморочного хутора, под контору пустили никому не нужный раскулаченный дом. А в нем все сделано на совесть — сенная кладовка рублена из двухвершковых бревен, дверь непробиваемая, кованая, даже для воров несокрушимая. Коли ключ повернули — пушками не возьмешь! Высунувшись в сени, участливо посоветовал:

— Баб надо просить, иначе вашему Титову не выйтн... да и вам не выбраться подобру...

— Что-о? — весь позеленел, сердешный, забрякал портфелем, что-то из него доставая, да кашель скрючил, мокрый, тяжелый.

Дмитрий сочувственно хлопнул по спине:

— В окопах нахватались-то?..

Сочувствие только ожесточило незадачливого посланца. Пересиливая кашель, закричал:

— Что-о, я вас спрашиваю?! Контр-р-революция?! Отдаете себе отчет, Окатов, чем это пахнет?!

— Да мне чего, вам отчитываться. Поди, снимут с работы?

Болезный посланец давился кашлем. Чем больше раздражался, тем хуже ему становилось. Прямо душило мужика.

— Что-о?..

В это время бес его знает откуда подвернулся Юрка Ряжин и выхватил железно загремевший портфель.

— Юрка, не дури! — крикнул вдогонку Дмитрий, но того уже за угол унесло.

Нарочный сел на порог, не замечая, что к крыльцу подступает густая толпа, и закрыл лицо руками:

— Снимут, уж это точно, снимут дурака...

Дмитрий не мешал ему каяться, тоже не зная, что теперь делать.

— Может, я догоню?..

— Как же, догонишь твою контру! — безнадежно махнул рукой нарочный.— Что он с портфелем-то утворит?..

— Ничего не утворит. Да и не контра, а лучший колхозный пахарь... Конечно, после меня,— подумав, добавил Дмитрий.

Но рановато он защищал Юрку Ряжина. За конторой вдруг грянул выстрел... и второй, и третий...

— Все правильно,— поднял голову нарочный,— три и было. Больше-то, думаю, зачем? Не на череповецких же уголовников шли.

Малое время спустя Юрий возвернулся, без слов сунул портфель. И опять за угол.

— Не смей, Юрка, не смей! — понял уже Дмитрий новую его затею.

Но куда там! Возня, кашель, а потом раскатились громкие, будто пушечные, выстрелы.

— И тут все верно: пять,— сосчитал нарочный.— Самих-то не прибьете? Смотрите, Окатов, все равно вам тюрьма... Смотри-ите!

Но смотреть приходилось не на Окатова — совсем в другую сторону, вдоль улицы. Оттуда подходил, отмахивая рукавом обтрепанной шинели, Самусеев.

— А я-то думаю: не война ли снова? А это ты, крыса тыловая, гром поднял? Ну, Чехвостов, гад Чехвостов!

Знали друг друга без церемоний. Даже руки пожали, и нарочный кивнул:

— Вот он, стрельщик...

Из-за угла выходил Юрий Ряжин, подталкивая в спину развязанного и вконец скрюченного кашлем пожилого милиционера. Самусеев и ему, как старому знакомому, руку пожал:

— Ты-то, Антипов, фронтовик, чего с этими штукарями таскаешься?

— А есть?.. Есть-то, Федор, надоть! Куда с моим здоровьем? На Ладоге осталось... Теперь вот и отсюда выгонят. Куска ты меня, идол, лишил! У, паразит! — для острастки ткнул он винтовкой в сторону Юрия.

— Да не останешься ты без куска, карточки-то вон отменили. Иди хоть в сторожа, а то хоть и в наш колхоз. Пахать-то не разучился? Плуг-то от ружья отличишь?

— Какое теперь паханье, Федор? С самой финской, считай, уж десять годков ружьем пашу... Дырявый, как решето... кхе-кхе... чтоб уж разом сдохнуть! В сторожа — другое дело. Хорошо бы взяли-то?..

Погруженный в свои хозяйственные соображения, Антипов вскоре позабыл про начальника. Зажал меж коленей возвращенную ему пустую винтовку и кашлял, как обреченный. Поглядела-поглядела на него Праведница, пожалела — принесла кринку теплого топленого молока и кружку, налила молча. Антипов выпил, уже мягче покашлял и благодарно кивнул. Праведница хотела и начальнику молока налить, но тот выставил запрещающе руки, а оживший Антипов пояснил:

— Вылей, ласковая, молочко. Да посудку прокипяти. Чахоточный ведь я...

Праведница испуганно вылила молоко прямо ему под ноги, кружку следом шмякнула:

— А чтоб вас! Деток вон сколько у меня! Заразите еще, кашлюны несчастные...

Самусеев проводил ее нетерпеливым взглядом и начал распоряжаться:

— А теперь слу-ушать мою команду!.. Пока трезв. Лейтенант я все-таки, не бобик драный. Значит, так: всем расходиться, а тебе, Дмитрий, в первую голову. Иди, иди,— подтолкнул в плечо.— И сиди себе дома. А вы, воители районные,— пустым рукавом незваным гостям махнул,— ступайте своей дорогой к морю. Третьего вашего дурака я сам выпущу. Он ведь, поди, заряженный?

Робко подошла Верунька и недоверчиво, косясь на Дмитрия, протянула большой амбарный ключ:

— Не разрядить мне было — бугай такой!

Самусеев понимающе подмигнул Веруньке и подступил к нарочному:

— Хоть ты и живоглот, Чехвостов, да ведь тоже человек. Верно, выгонят тебя. Придумай там что-нибудь... мол, зэки из Череповца бежали, напоролись мы на них... А еще лучше — пленные, мол, немцы целым батальоном на нас высыпали, пришлось отстреливаться... Давай ври покруче! Для спасения! В войну не довелось, так вот сейчас воюй. Дуй давай... а я напьюсь хоть...

— Может, и нам, Федор?..— с надеждой поднял голову несчастный нарочный.— Самое время...

— Вам нельзя, вам в трезвости надо прибыть,— с довольным видом смеялся Самусеев.— Да и мало у меня, на всех-то все равно не хватит. Давай проваливай, Чехвостов!

Дмитрий рядом посиживал, в затишке у колхозных амбаров, по другую сторону плотно утоптанной площадки перед конторой. Здесь и лошадей запрягали, семена и зерно на руках нянчили, и собрания по теплу проводили, случалось, и дрались понемногу, а бывало, плясали. В День Победы Марьяша Окатова, первая избишинская вдова, в лоскуты, в клочья изодрала всю войну хранимую черную шаль, черным прахом пустила по слезно-песенному кругу... Случалось, здесь же и займы криком занимали. И беженцев с этого утоптанного круга провожали по домам. И редких мужиков с войны встречали. И просто так, по вечерам, когда время выпадало, топтались на этом теплом кругу. Хорошее место! Здесь он Веруньку впервые приметил, худенькую и невзрачную сиротку, и под локоток придержал, такой острый, что сердце укололо.

Приметное местечко! Взять недавнее — когда он без спроса за председательский стол уселся, а посидев, вышел — сюда же, на колхозный круг, с которого никто и не думал уходить, его, новоявленного председателя, поджидали. Ничего не говорили, а только смотрели, как он идет — по-мужски ли, по-хозяйски ли. Видно, крепко прошел поперек истертого подошвами круга, если прочь не прогнали. Месяц уже этой дорогой к конторе шлепал — и ничего, не спотыкался. Сегодняшняя напасть не в счет, как кашель, взяла — и отпустила. Двое вон кхекают у крыльца, виновато прощаются, а третий в сенный продух что-то орет. Дмитрия все это будто и не касалось, просто на амбарной ступеньке покуривал. Поглядывал, как гости незваные убираются восвояси... Ага, остановились, Самусеев окрикнул. Знает Дмитрий, за чем побежал бывший председатель: за спасительными бумагами. Сейчас вынесет отчет по весеннему севу, а главное — протокол колхозного собрания, где чин чином прописано, как избирали Дмитрия Климовича Окатова. Длинный протокол, складный. Юрий Ряжин, грамотей по пятому классу, писал под общую диктовку. Так и есть! Вынес Самусеев документ, как Почетную грамоту, на ладони. Чехвостов принял его с легкой душой: оправдание, что не привез самовластного председателя. Пожалуй, и удержится в должности, если еще приврет, как пленных немцев, которые бежали со строек Череповца, геройской тройкой догоняли, о чем и обоймы расстрелянные свидетельствуют, и гарь пороховая в стволах. Да ведь нюхать-то особо никто и не будет, пожалуй, и в самом деле спишут на пленных; дела нет, что о бегстве они и не помышляют — в свою Германию уже собираются. Все равно! Чехвостов знает, что сказать, и его начальство знает, как оправдать дурака. С тем и пошли повеселевшей парой прямо к морю.

А третьего бугая, которого лукаво заманила Верунька, долго Самусеев не отпускал. Молодой и дури много, и наган при нем — не могла, конечно, Верунька наган отнять. Дмитрий на всякий случай поближе перебрался и встал за угол конторы. Кто его знает, что там выйдет.

Хоть и хорохорится Самусеев — одна рука-то. С замком и то не сразу совладал. Антонина было подскочила на помощь, но он, взглядом, назад ее шуганул. И других, чтоб не мешали, в сторону отмахнул. Зря... Только после того и открыл скрипучий замок. Настороже, как быка из стойла, выпускал. Но даже отступить не успел! Выскочил дурной бугаенок с наганом в руке. Самусеев отлетел к стене, тот ему стволом в грудь: вставай да иди вперед, в районе и поговорим! Встал, ничего не поделаешь. Дмитрий вдоль стены совсем уж близко подобрался, чтобы предстать второй самусеевской рукой. Ведь уведет бугаенок Федора в район, а там как есть засудят! Но Самусеев ничего, пошел, заложив единую руку за спину. А тот, молодой бугаенок,— следом, наганом в спину тычет. Визг со всех сторон, плач: под наганом уводят! Дмитрий решил, что тут же за углом и перехватит — аркан на глаза попался, как раз для бугая. Вещь безотказная... Дмитрий половчее собрал аркан в правую руку, в левой сделал напуск метров на десять...

Но бросить аркан не успел. Самусеев вдруг остановился, одноруко стал заправлять штанину в голенище, не обращая внимания на уткнувшийся в спину наган, посмотрел по сторонам, как бы от сапога кланяясь всем земно... и, сделав резкий поворот, снизу ногой вышиб наган! Дмитрий тут же бросился на помощь, да Самусеев раньше поспел — и сам наставил наган на молодого, опешившего бугаенка:

— Ну, что теперь?..

— Не знаю,— отрешенно промычал тот.— Больно уж ты ловко!

— Ты мне не тыкай, сопляк, а забери свою пушку, с которой и обращаться-то не умеешь...— Самусеев одним щелчком, казалось, разрядил рукоять.— А пульки я завяжу тебе таким узлом, что до Мяксы не развяжешь...

Антонина поняла с полуслова, подскочила, сдернула холщовый фартук. Самусеев ее на этот раз не прогнал, обойму бросил на фартук, свернул его конвертиком и одной рукой, помогая зубами, стянул своими потайными узлами. Зубы только скрипели!

Конвертик повесил на ствол нагана и сунул пушку в руки молодому бугаенку: давай проваливай вслед за остальными! Бесстрашный! И то сказать: тут и Дмитрий вплотную подступил, и Антонина была рядом, и Юрка Ряжин крутился за спиной. А глупый бугаенок, отбежав на безопасное расстояние, все-таки попытался развязать узлы. Не тут-то было! Так и ушел, грозя бесполезным наганом.

— Что-то теперь будет!..— запоздало испугался Дмитрий.

— А ничего, председатель, ровным счетом ничегошеньки,— передернул щекой Самусеев.— Будут молчать, как мыши. Чехвостов дело свое знает, Чехвостов себя побережет. Ну да и вы зря-то языками не треплите, не велико геройство... Горькое, прямо скажем. Самое времечко напиться... Да! Некогда мне с вами, пустозвоны!

На руке его повисла Антонина-Праведница, под ласковые свои обещаньица повела домой.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Заведующий районо был человеком странным...

Максимилиан Михайлович давно уже стал своим в Забережье, а все Забережье для него сошлось в одну точку: Айно. Два ольховых листа, два потрепанных листика. Один сорвало в Ленинграде, другой — в Карелии; один путями госпитальными, другой путями беженскими — общим злым ветром прибило на берега Шексны. Дальше пути не было; дальше — море, поглотившее и саму Шексну.

Ах, море, море Рыбинское! Максимилиан Михайлович и проклинал его, и любил, как любят самое насущное, хлеб например. Что Ленинград — красивая, давняя сказка? Он не видел его с военной зимы — когда вырвался на день, чтобы оплакать погибшую под обломками и

уже без него, оказалось, похороненную свою молодую, словно едва распустившиеся цветы, семью. Теперь он даже думал, что это и лучше, чем собирать дорогие ему кости в насквозь промерзшей квартире, — семья ушла из его довоенной жизни ясноглазой и вечно юной!.. Чтобы три года спустя обернуться точно такой же, ясной и юной улыбкой. Трудно теперь сказать, было ли между ними, живыми и мертвыми, что-либо общее, но наложилось одно на другое — как сердце на сердце; бьется, и ладно, радуется жизни, и хорошо. Жена Айно зажигала день; сын Кузя высвечивал вечернюю зорьку. Максимилиан Михайлович мог считать себя счастливым человеком. А море?.. Море тоже было счастливое; ах, разбежалось, на двести верст по Шексне! Оно каждодневно вставало грозным серым валом между ним и домом; между Мяксой и ее лесным Забережьем. Зимой по льду, летом на лодке, а как в межсезонье? В этом месте неширокое, километров пятнадцать-двадцать, но все равно море... горе переселенческое! Вода вперемешку с затопленным лесом; трубы рухнувших прибрежных деревень и остовы непорушных церквей, мелко, всего лишь по паперть ушедшие в воду. Пошалило море и бессильно расплескалось на мелководьях; кое-где еще и деревянные дома уцелели. Плохо перед войной поработала серая заключенная команда, а после войны и не до того было; как плескалась вода, так и плещется, нет до нее никому дела. Хлеб по берегам, рыба по водам, по лесам сосновые бревна для Ленинграда, а в узкой горловине, куда море доползло на последнем издыхании, над малым притоком Шексны — Ягорбой, уже и железом попахивало. Там, справа, если плыть от Мяксы,— Череповец; слева, на острове,— его нынешний островерхий дом, а еще левее — уцелевшая от потопа Вереть, и от нее — дорога в Новое Избишино, к своим последним, самым дальним школьникам. Тут, в узком месте, между островами и подтопленными перелесками, и пересекали море. Самое безопасное направление. Сухие леса — но все же леса — гасили волны; малы острова, бывшие глинистые горушки,— но все ж укрытие от ветра. Не плавали, а ползали по морю; чистое пространство, стрежень Шексны, продирали с оглядкой и только в хорошую погоду. Научились за десять лет половодья.

Этот мотор по бедности подарили ему речники; лодку по обету сшил и просмолил один тонувший рыбак — случилось, что Максимилиан Михайлович, проплывая мимо на казенной шестивесельной лодке, снял его, полуживого, с деревины, в чувство привел и на берег вывез. С этим хоть понятно — человеческая благодарность. А речники — те просто за здорово живешь одарили; как оказалось, из бывших беженцев, застрявших на берегах Шексны. Пожалели барахтавшееся на веслах школьное начальство. Пара весел по здешним ветрам — явная гибель; море, разлившееся вдоль Шексны, открыло прямую дорогу сиверку, и теперь здесь постоянно завывало: у-у-у!.. Мотор с какого-то спасательного катера хорошо держал волну. Лодка тяжелая, но ходкая; то и другое к добру — легкую перевернет, неповоротливую сунет бортом на волну. Даже когда на шести веслах, если порожние, грузят мешки с песком, для остойчивости. Была пара таких мешков и у него, да за ненадобностью дома оставил. Вдоль берега ползает. От острова к острову, по лесным затопленным дебрям, даже по дороженьке — углядел себе бывший большак. Шел он когда-то к шекснинской пристани, а теперь его вел. Лодка, как телега, легко проходила: мелкий лес успел погнить и обвалиться в воду, держалось только кряжное дерево. Гладкое, ошмурганное волнами и ветрами. Иссиня-медные колонны. Как мачты затопленных кораблей. Кто их строил, кто в море пускал, кто нещадной рукой топил? Молчало море, плескалась бессловесно вода.

День был теплый, тихий. Максимилиан Михайлович даже распахнул заячью безрукавку — постоянную спутницу его послевоенной жизни. И сейчас же Айно, потянувшись рукой к безрукавке, набросилась:

— Максимо! Сколько тебе можно говорить?

И сейчас же Кузя поддержал:

— Дя-а, па-апка! Сколь-ки ти-бе говолить?

Два таких голоса! Надо и запахиваться на две полы. Хоть и жарковато, а сделал это с удовольствием.

— Ну, теперь-то хорошо?

Довольные, закивали.

Максимилиан Михайлович выхватил Кузю со дна и усадил рядом с собой на рулевом рундуке. Это было против всяких правил, и Айно забеспокоилась:

— Максимо! Долго ли с этого ящика бултыхнуться?

— Не бултыхнемся. Лягушатник!

Не совсем, конечно, лягушечьи заводи — метра полтора все же есть, но не море, как в лесу голубом. Ромашек да колокольчиков только не хватало. Ну, и пряного травяного запаха. Водой попахивало, еще стылой, зимней. Кое-где в затишке дотлевали загнанные сюда ветрами льдины. Горбили серые зимние спины. Май уходил с их последней грязью.

Левой рукой сына прижимал, а правая все время настороже: хоть и тихо продвигались, а по лесу. Бывший большак уже перехлестнуло рухнувшими деревинами. Не дай бог напороться!

Но вот и лес расступился, открылась тихая поляна, если можно назвать поляной закрытую заводь. С противоположного краю выплывала навстречу им лодка. Большая, районная. Максимилиан Михайлович узнал вечного порученца Чехвостова — что-то был невесел.

— На волков ходили? Или на зэков? — с усмешкой кивнул на торчавшую с борта винтовку.

— Твой Самусеев похлеще зэка! — отрезал Чехвостов и губы поджал, словно сболтнул лишнее.

— Чего так?

— Ничего. Ваше интеллигентское ученьице!

Какие интеллигенты в Мяксе? Но и тех угрюмо и злопамятливо ненавидел Чехвостов, учителей в первую очередь. Максимилиан Михайлович не забыл, как безуспешно защищал одного фронтовика-историка, с похмельной головы насчитавшего всего лишь семь «Сталинских ударов»... Не забыл он и донос на одного из рыбарей, как оказалось, женой Чехвостова и написанный. Спасибо, фронтовики тут стеной несокрушимой встали... Нет, зарплату в общей риковской кассе получали, а любви особенной не было. Разве что тревога по случаю приезда такого черного гостя. Потому и помялся еще возле его лодки, стараясь узнать истину.

— Уж не шпионы ли развелись и на нашем берегу? Чего так?

— Ничего,— был скорый и сумрачный ответ.— Вы на правый берег, мы на левый. Взя-али!

Трое их в лодке, в шесть рук рванули. Вот и поговори! Увозил Чехвостов с одного берега на другой какую-то смертельную обиду, а вида не хотел подавать, скрывал.

Максимилиан Михайлович покачал головой и прибавил скорости. Главное место проскочил, там еще небольшая лесная дорожка, а за ней — и настоящий берег.

Час от часу не легче! От берега, на больших плотогонных веслах, отплывал дом и весело попыхивал печкой. Ну, не дом, конечно, а банька, но все равно вроде парохода. Вмазанная вместо котла плита — как она там у них — камбузом зовется? На плите поплескивали чугуны, повизгивала над варевом повариха, висел на рулевом весле доморощенный капитан, а по бокам скрипели загребные. Из распахнутых дверей баньки неслись ребячьи голоса. Кудахтали куры, блеяли овцы, взлаивала собака, на штабелях разобранного дома мяукала кошка, с конька баньки позыркивал боковым горящим глазом чернющий петушина!.. Ну, прямо всякой твари по паре! Ноев ковчег.

Максимилиан Михайлович знал, конечно, новоявленного Ноя — это-

го Матвея Макаровича. Да и удивляться переселенцам не приходилось: десять лет прошло, как зашевелились берега Шексны, а все еще туда-сюда людишки сновали. Побережье помаленьку укладывалось в уготованное ложе, а люди улечься не могли. Были беспокойнее даже самой шекснинской воды. От добра ли, от зла ли — все чего-то искали. Не стоило останавливаться, но все же так вот, целым подворьем, нечасто дома сплывали. Максимилиан Михайлович окликнул:

— Куда путь, зимогоры?

— Известно куда — в Череповец.

— Что, прискучил наш бережок?

— Чего тут делать? Тараканов разве давить!

Больше и говорить не о чем. Лодка прошла впритирку с плотом — загребные подняли весла, а хозяйка, смеясь, с борта на борт сунула пяток оладушек. Соседи-зимогоры. Самые ближние... С их отъездом и вовсе одни с Айно оставались. Рыбацкая артель не в счет, рыбаки народ кочевой. Единственная прибрежная деревня, Вереть, была в трех километрах. Максимилиан Михайлович опустил прощально глаза, то же сделала Айно: ей-то уж совсем плохо без соседки. Лишь подтопленный лесок и разделял их. Один утренний дымок перекликался с другим, как в истинной деревне. А зимой, по льду, и вовсе рядышком. Так что грустное выходило прощание...

— Чистой воды держитесь! — крикнул вдогонку.

— Уде-ержимся!..— донеслось с плота.

По затопленным правобережным лесам им, конечно, не пройти, бывшие дороги для такого плотища тесноваты, надо на простор выходить. Волна тяжелому плоту не страшна. Но как обогнут лес, пойдут они все же по ближнему закрайку, по бывшим лугам: тихо-тихо, а сплывает вода в сторону Рыбинска, встречь им, и выходить на стрежень нельзя; так и поползут вдоль кромки черных лесов. Добро, если за неделю доберутся! Придумать такое мог только бывший речник. Максимилиан Михайлович понимал его замысел: сейчас, по большой воде, причалит где-нибудь к косогору на Ягорбе-реке, а как вода спадет — дом и окажется на прибережье. Ну, может, еще на десяток метров поднять, чтоб уж совсем надежно. А баньку и оттаскивать нечего: как раз у воды окажется. Дошлый мужик!

Они уже причалили к берегу, а переселенческий дом все еще у кромки леска качался.

— Странные люди...— признался Максимилиан Михайлович.

— Страшные люди! — сузив до щелочек свои лесные карельские глаза, поправила Айно.

Это была новость! Такого от своей тихой женушки Максимилиан Михайлович не ожидал...

— Но ты ведь дружила с хозяйкой?

— Но ты ведь дружил с хозяином?

Максимилиан Михайлович усмехнулся: что было, то было. Соли, спичек, даже хлеба кусок — дадут, не откажут. В праздники посидеть на бережку — посидят, песню споют, войну проклятую поругают. А вот загорись у них на острове дом — не побегут с ведрами, не вытащат... Нет! Это прозрение как морским ветром принесло, враз окатило. Максимилиан Михайлович стыдливо опустил голову на колени Айно: грешен, грешен, слишком много доверял соседям, а может, и прикрывал своей служивой полой. При всей послевоенной строгости жили соседи как бы сами по себе, ничейные; чем-то занимались, что-то возили взад-вперед, что-то скупали-перекупали — разберись поди! Слухи бродили, да их не трогали: как-никак за одним столом с начальством. Вроде бы и неудобно прижимать. Год уже, как ликвидировали службу бакенщика, но бывший бакенщик жил себе и жил, не колхозник, никакой не служащий и не рыбак. А рыбу на череповецкий базар бузовал, а что получше и полегче, копчености например, с попутными речниками и до голодных столиц сплавлял. Никто за руку не хватал, хотя никто и

не опровергал этих слухов. Тот же зануда Чехвостов — к Самусееву по пустякам цеплялся, а дом Матвея Макаровича словно и не замечал. Ну, разве что за чайком с хозяином посидит, после мокрой и шаткой лодки сгонит холодный пот. Всякого плывущего из Мяксы с большим или малым портфелем встречал и привечал бывший бакенщик, а Чехвостова уж особенно, хоть и портфелишко у того клеенчатый.

Толк в портфелях Максимилиан Михайлович знал и свой, конечно, ценил повыше; хорош хотя бы и тем, что нет в нем ни сводок по мясу, ни кляуз по молоку — только школьная наука, такая, что прямую дорогу к десятилетке и в институт дает. Десятилетка-то, собственно, на весь район одна, в самой Мяксе, да и семилетки только две — и те на другом берегу, а все окраинные деревни начальными школами утешаются, одной на сельсовет. Чтоб идти к семи, тем более к десяти классам, нужно в интернат устраиваться; нужны деньги и кормежь, что и по нынешним временам, когда хлеб в магазинах появился, мало кому посильно Как ни горько сознавать, но лучше приходится сиротам: тех или в детдом мяксинский определят, или, при наличии хоть дальних родственников, поставят в интернате на школьное питание, что почти равносильно детдому. А Самусееву и его Праведнице, например, при всем открытом сиротстве детишек, ни к детдому, ни к интернату не пробиться. Во-первых, вроде бы и председатель, а во-вторых, вроде бы и отец — во всяком случае, вся орава тятькой да папой зовет. Но дальше начальных классов никто не пошел и не пойдет: не сможет Самусеев держать их на своих скудных харчах в заморском интернате, просто не вытянет. Старшие ребятишки уже перерастают, в усы идут. Юрий-большуи попробовал было пожить в Мяксе, месяца три походил в пятый класс, да бросил, как ни упорствовал Максимилиан Михайлович. Вот тебе и портфель! У Чехвостова клеенчатый, но если уж захочет кого на казенные харчи определить — определит непременно. А у Максимилиана Михайловича власть красивая, звонкая — и ничего, кроме школьной славы! Накормить и пригреть парнишку не может.

— Жаль Юрия.

— Жалко, смышленый. Да ведь не пойдет уже в твою школу?

Максимилиан Михайлович чувствовал правоту жены, но почему-то рассердился:

— Ладно, плывите домой, сам разберусь.

Он с силой оттолкнул лодку от мяксинского берега — долго шла без мотора. Айно укоризненно покачала льняной растрепанной головой, потом усадила Кузю на дно, где побезопаснее для баловника, а сама заняла место рулевого. Тихо, почти бесшумно возвращалась по заливчику лодка, к проступавшей средь затопленного леса дороге. Домой!

А дом — там он, на крохотном островке, под церковными сводами. Конечно, нашли бы ему квартиренку и в Мяксе, да уж привык, и база рыбацкая здесь же. Церковь большая, всем места хватало. Да и рыбаков ночевало немного, по летнему времени на берегу обретались, большей частью в Верети, которая превращалась в рыбацкий поселок, особенно после того, как рыбаков выделили из колхоза. Чтобы лучше руководить... и получше рыбкой распоряжаться. До своей школьной науки Максимилиан Михайлович походил и в других районных начальниках, знал нехитрый секрет председателя Самусеева: хлеб для плана, а рыбка для своего живота. Тем и войну держались, тем и беженцы возле них кормились. Даже два послевоенных года, когда по всему югу огнем на полях горело, рыбкой потайной и держались.

Море много наделало бед, хорошую рыбу, вроде осетра и стерлядки, погубило, зато дурной, вроде щуки, понаплодило. Не до переборов. В щуке мяса, хоть и жесткого, что в поросенке; во время зимних заморов мясо это само в продухи лезло, не ленись только рубить метровый лед. Научились мясцо из гнилых заводей таскать — как из дарового чугуна. Да вот год уже, как власти наложили руку: нечего колхозников баловать, пущай хлеб растят! Рыбаков прямо силой выдрали из

цепкой руки Самусеева; при новом председателе артель в колхоз тоже не возвращалась — наоборот, ее расширяли и укрепляли. Два баркаса дали, десяток пропойц подбросили... которых Айно в первый же день чуть не перестреляла! Не знали характера тихой на вид начальницы, сдуру в спальню было сунулись, и Айно не будь глупа — из двух стволов дробницей шарахнула — всю стену исщербила! Что хошь думай, но и Чехвостова нужно благодарить: первый же слушок, заявившись на этот берег, сам же и отрубил. «Нападение на государственное р-руководство, контр-ра?! Дивер-рсия на промысле?!» — грозно посматривал Чехвостов на рыбарей. А когда стал настаивать, дьявольски прищурившись, чтоб медицински освидетельствовать их, в ответ одно: да что вы, да не бывало ничего такого, да не слушайте вы наветов! И Чехвостов, смягчившись, глухо прижал нахлобученной фуражкой свои многомудрые уши. Вот и пойми возьми штукаря, который проплыл сейчас с таким озверелым лицом!

Максимилиан Михайлович знал, конечно, о переменах в Избишине, но не считал это серьезной причиной. Эка невидаль — спившегося фронтовика заменили молодым, работящим парнем! У Айно в артели рыбари — разбитные такие мужички, сплошь лейтенанты-майоры, есть даже и полковник Иванцов, который доблестно воевал, был когда-то комбатом-штрафником. Уходили на фронт молодыми, ни к чему еще не способными ребятишками, а уж возвращались, кому суждено было, с одной-единственной способностью: стрелять да «хенде хох!» орать. Ну, может, кому с руководящей должностью повезло. Но нельзя же всех капитанов и майоров, не говоря уж о лейтенантах, усадить в мягкие кресла. Да и не сиделось окопной братии средь цифирных сводок и бумаг, что-нибудь да натворят, и тем выбьют из-под себя временное креслице. Максимилиан Михайлович от их числа не отделялся, и не только потому, что капитаном был,— того же несносного окопного характера. И школьными делами занимался не по одному тому, что из довоенных учителей,— вырывались из обшлагов гимнастерки кулаки при виде разного рода обдирал и прилипал. Тихо, вежливо, но оставил риковское кресло, чтобы разъезжать теперь вот на попутках; портфель хоть и почище, чем у Чехвостова, а власти — никакой. Так, на авторитете. Понимают люди доброе слово, и на том спасибо.

— Папка,— затеребил отца Кузя,— Юрь-ка кли-ичит!

Так уж обязательно и Юрка. Всегда кричали. Ездили встречать кто дома оставался. Сейчас рыбари все поголовно были на работе, а Максимилиан Михайлович валялся на кровати по случаю выходного дня. Да и по случаю своей слабой груди, если уж откровенно говорить...

Не стоило бы вылезать на дождь и ветер, да Кузя тормошил: вставай, вставай, папка! Максимилиан Михайлович натянул брезентовый дождевик и взял весла — моторную лодку Айно угнала: уж больно быстро с нее сеть выметывать. Ему-то не к спеху. Кузе вот только похуже: вымокнет при такой езде. А на острове не оставишь, искричится.

— Ну ладно, Кузя, поплыли?

— Поплы-ыли! — первым сиганул тот в лодку.

От горшка два вершка, а в дождевике, вернее, вывернутом и накинутом на голову мешке,— настоящий рыбак вроде. На воде возрос, прямо на этом церковном островке. А при хорошей погоде — в лодке: она и люльку заменяла. Потом на самом большом баркасе устроили даже каютку: из ивы плетенные стены, обшитые еловым корьем, из корья и крыша. Там на сене от тепла до тепла и возился Кузя, а игрушки — серебряные сорожки да золотые лещики — рыбари подбрасывали на забаву. Вот щук, тех пришлось запретить. Однажды такой крик поднялся, что Айно на веслах, как на крыльях, полкилометра одним махом пролетела... Следы щучьих зубов так и остались на ручонке. Теперь —

ученый! Да все равно — глаз да глаз держи: того и гляди, кувырнется в воду...

Максимилиан Михайлович снял с берега Юрия Ряжина и без слов отдал ему весла: пусть дурь собьет. Юрию некогда толкаться, пошел вразмах, так что волны по бортам заходили. Не сразу догадаешься, что хочется ему поскорее проскочить материнскую могилу — старую избишинскую березу с черными метинами... Лишь на мгновение дрогнули, поднялись весла, за березой — все более скорым, скорым махом прочь, прочь от несчастного места...

Поминальную березу обошел, а на другую, которая тоже у кого-то под окном стояла, с хрястом и налетел! Кузю, как тряпку, на борт бросило, Максимилиан Михайлович еле на корме удержался. А Юрке что? Хоть и грохнулся упрямой башкой о борт, опять за весла взялся.

— Нет уж, Юра...— понял его состояние Максимилиан Михайлович.— Дай мне весло, буду подправлять.

Юрий неохотно отдал весло — не умел ходить толкачом. Известно, пахарь, не рыбак. Максимилиан Михайлович сам встал с веслом, а ему наказал Кузю держать. Кузе — хуже неволи. Так, с рассерженным подголоском, и пристали.

Максимилиан Михайлович видел котомку за плечами у Юрия, видел его выходную одежонку, но до поры до времени не расспрашивал. А тут и некогда стало: рыбари на обед заявились. Еще с порога Иванцов скомандовал:

— Капита-ан! Чашки-ложки на стол!

Это для форсу. Обед женщины сварганили еще утром, в печке все горячее, а поухаживать за усталыми рыбарями сам бог велел. Кузя с ложками носился, Юрий гремел алюминиевыми мисками, Максимилиан Михайлович чугуны тащил, пока умывались рыбари. Всегда его забавляло: от воды идут, а умываются обязательно под глиняными рукомойниками, навешанными целой связкой в углу на жердочке. Но если разобраться, ничего смешного: все время на море, там вода, как бы и не вода, а божье наказание. Вот побрызгаться в теплом уголочке, да теплой водичкой, да с мыльцем — это другое дело. Можно скинуть потную рубаху, которая зимой вовсе и не потная, а ледяная: так коробом и встает возле умывальника. Кузе на забаву: он называет рубахи «псами-лыцарями»; надо же, прослышал где-то! Лупит кулаками мерзлые панцири так, что звон стоит! Сейчас неинтересно. Брошенные в угол рубахи просто потом воняют. Кузя торопит время:

— Сколей бы хуть зима...

Иванцов любит зиму не меньше Кузи: дорога во все стороны, хоть до Мяксы, хоть до Череповца. Сейчас не разгонишься на тяжелом баркасе, да и не даст ни за какие пряники Айно. А с отъездом бывшего бакенщика питьевое снабжение на этом берегу вовсе прекращалось. Потому и веселость Иванцова горькая.

— Айно, ведь я сбегу на тот берег.

Устал и есть хочет, а ложкой тыкает — как одолжение делает. С такой еды сети не потянешь.

— Сбежишь, Иванцов, если я дурой окажусь. Ты потерпи пока.

— Терплю, Айно, терплю, да сколько можно?

— Еще немного, еще недельку, миленький Иванцов...

— Неделю?.. Нет, не выдержать, Айно.

— Миленький! Иванцов! План!

Айно успевает есть за обе щеки и гасить назревающий мужской бунт.

— Ладно. Пять дней, Айно. Пять.

— Шесть, Иванцов? Лапушка ты моя, шесть?..

— Пять! И — не возражать мне!

Айно и не возражает, Айно как пружина: то сожмется, то опять по душе ударит. Сейчас — пружина сжата. Иванцов, а стало быть, и вся лейтенантско-майорская артель две недели без роздыху мокнет на

воде; женская половина не в счет, она как поплавушка-погремушка на сетях. Знай постукивает ложками:

— Айно, не серди мужиков!

— Анька, баню подавай. Исчесались все, истомились уж... Да...

— ...да кабы Иванцова с мочалочкой? Не Дудочке ж одной все париться. Чай, уж запарилась, сердешная!

— Ду... ду... душу выну и вместо портянок намотаю! Если еще кто вякнет! — уж и сама Дудочка рассердилась, даже заикается от возмущения — полковничиха, не шуточки!

Вот и поговори с таким народом. Вот и позавидуй начальнице Айно... Если чему и завидовать — ее умению гасить волну. Носом ли, бортом ли — как сподручнее, а чаще всего безотказным веслом — речами посульными. И все знают: не пустые это речи. Если уж Айно говорит — слово крепкое.

— Хорошо бы за пять дней, хорошо бы и за четыре, да ведь не вытянуть план. Как, мой ненаглядненький Иванцов?..

Перебранка за обедом в потешку переходит. Дудочка, вспоминают, на ту пору за питьем к бакенщику бегала, капитан — какие капита-аны! какие кома-анды — в Мяксе пропадал!.. Чем не домашний спектакль, да и доморощенные артисты шпарят что в голову взбредет, конца-краю нет: кто в кого стрелял, кто в прорубь сигал, кто на колокольню от страха лез — не понять, не рассудить. Да никому и понимать ничего не хочется, а порассуждать на досуге — чего ж, можно. На этот раз Павлуше Лесьеву больше всего достается. Самому младшему из лейтенантов. Павлуша заскучал, но крепится, и Капа его не здесь, а в Избишине, да и не может он простить Капу, а прощать все равно надо, вот он и бесится уже с полгода — с того самого дня, как возвратился сюда, после плена еще по своим лагерям четыре года поскитавшись. Ему не нравится обеденная потешка, он сурово обещает:

— Вы как хотите, а я сегодня зарежу Капу.

— Павлуша, может, лучше завтра? — вскакивает Айно.

— Нет, Аня, сегодня.

Не имеет значения, что говорилось это и месяц, и два назад. Сегодня — значит сегодня. Очередной приступ бешенства. Пока он, младший лейтенант, а потом пленный, а потом штрафник у Иванцова, а потом сержант с боевой медалью, а потом опять пленный, потом воркутинский лагерник... пока тянул он свою многолетнюю военно-лагерную лямку, Капа трех-четырех сожителей переменила. И потому нет сейчас житья Павлуше Лесьеву, на свое несчастье еще в довоенное время выкравшему из здешнего монастыря белую белицу и уложившему под свой, казалось бы, крепкий бочок... Нет, Павлуша никогда не винил войну и свое девятилетнее отсутствие — винил свою Капу-Белиху. Угрозы не были пустой забавой: дважды нож из рук вышибали. Самусеев и вышибал. Хорошо, что на него всякий раз попадал задуривший Павлуша. А то как знать!

Тут и Максимилиан Михайлович ввязался:

— Павел, душа твоя окаянная! Не трави себя. Живи, как все живут.

— Все-е?! — так и взвился Павлуша Лесьев, будто бог знает что сказали.— Как ты с Айно, например? Как Митька Окатов со своей Верунькой? Как Иванцов да Дудочка хотя бы?.. Нет, у меня так не получится. Уж не получится! — убежденно и даже радостно повторил он.

Что ты будешь делать? Он ведь радовался-то своему несчастью, которое и давало жизненные силы...

— А, делай что хочешь! Не маленький.

— Не маленький, известно,— немного угас от такого быстрого согласия Павлуша, но тут же и взъярился с новой силой: — Твоя вон из ружья по нам шарахала, а моя вон, сунься кто, сама под ружье встанет. Вста-анет! Не маленький, понимаю. А потому и пойду в Избишино. Пора дорезать Капу.

И уху не дохлебав, засобирался. Айно начала было его опять останавливать, но Максимилиан Михайлович потянул ее за руку: не видишь, только больше растравляешь человека? Айно с надутым начальническим видом уселась за стол, а Павлуша Лесьев, сунув в ножны свою фронтовую финку, хлопнул тяжелой церковной дверью — и был таков. Ушел Павлуша горе с Капой мыкать...

— Не зарезал бы в самом деле? — не на шутку насторожился Максимилиан Михайлович.

— Младшой-то? — от своей миски ухмыльнулся Иванцов.— Не было моей команды. А без команды самого злого языка не зарежет.

И такая убежденность в словах беззаботного полковника, что Максимилиан Михайлович покачал головой:

— Когда мы по окопной мерке мерить перестанем?

— А никогда,— все так же убежденно тряхнул тяжелой седеющей головой Иванцов.

Стало не по себе от его застарелой окопной убежденности. Четыре года! Это ж не четыре дня. Должно же перегореть... Сколько можно жить прошлым? И он, капитан Всеборский, от пуль не бегал, и его пришили-пристрочили прямо к собственному раскаленному пулемету!.. Да ведь оторвался же, хоть и с дырявыми легкими... Да ведь и позабыл же, хоть и кровью все время отхаркивал... Люди, люди, как дальше жить?! Нехорошо ему становилось под яростным взглядом Иванцова: прошлое оборачивалось своим кровавым ликом. Так и хотелось в такие минуты крикнуть: «Быть беде, Иванцов, быть беде!» Но какая беда? Ее мог сотворить Павлуша Лесьев, мог утворить Федор Самусеев — Иванцов жил истинным окопным праведником. В одном разве что и уступал — в своей истовой незабывчивости. Было ли для него «прощеное воскресенье» — его глаза прошлого не прощали, жили сами по себе, с кровавыми отсветами...

Подгоняемый своим надсадным хрипом, вылез из-за стола и потащился, как всегда, на колокольню. Теплый ветер ласкал лицо. На уровне головы летали чайки, на уровне глаз, далеко-далеко по стрежню, плыл пароход, и вставали на том берегу еле различимые даже в такую ясную погоду туманные взгорья Мяксы. Надо кончать кашлять, надо собираться туда... Служба звала, служба.

Но пришла Айно и стала уговаривать:

— Максимо? Может, останешься? Не пропадет твоя школа. Не щука это. Не стерлядочка. Не Капа-Белиха, чтоб через море бежать. Да? Останься. Чортан войнуа! Чортан жизнюа! Наш лапсел Кузя, наш ома коди — наш дом, наш сын, чего еще надо? Вон линнула? — ткнула она пальцем в сторону чайки.— Вон ёга? — вниз пошел палец, к воде.— Вон ома муа, вон меччю? — и серые крыши видневшейся деревни, и лес зеленый призвала в свидетели.— Вон дует с моря тувли? Вон жаркий тули греет рыбаков? Вон ржет хепони на берегу? Вон кала плещется в море? — И ветер, и огонь, и пегая лошадь, и невидимая отсюда рыба кричали голосом Айно.— Чортан войнуа, чортан войнуа! Господи, муамо!..

Война войной, но раз уж до матери дело дошло, должно скорыми слезами и разрешиться. Не каменная Айно, давно не плакала. Пускай поплачет, пускай...

Она сквозь слезы выкрикивала родные, даже ему малопонятные слова и затихала на его руке. Как долго, как скорбно выходит застарелая боль. Максимилиан Михайлович узнавал ее по таким вот вспышкам крови предков: последний раз было полгода назад, когда Айно в одиночку отстреливалась от подваливших пьяненьких рыбарей. С тех пор не слышал от нее карельского слова. Забывала, не заговаривалась. Значит, и жить ей становилось легче, понятнее — как все окружающие люди, так и она. Даже представить трудно, что заявилась на этот шекснинский берег всего с десятком русских слов, которые подхватила на горькой беженской дороге. Сейчас и родное здешним сиверком посду-

вало; думалось, уж навсегда. Но нет! В тоске прорвалась какая-то другая, нездешняя тревога. Максимилиан Михайлович понял.

— Старики? И в самом деле пора быть от них письму... Ну, да ведь время рыбное, время лесное,— вспомнил он утешение.— Когда сейчас писать? Отец в лесах пропадает, мать на огороде. Да ведь и неграмотные! — вспомнил он самое убедительное.— Каждый раз ищи чужих людей, каждый раз проси, чтоб написали. У всех время-то летнее, некогда.

Айно едва ли верила его наивным уверениям, но затихала, устало терлась о рукав выгоревшей белесой головой. Больше ей ничего и не надо. Не надо никаких других слов. Других лекарств не существует... как и для него самого, чахоточного дурака. Если и жив до сих пор, так вот этим выплакавшимся взглядом...

— Да, ничего уже, видишь, проходит? — оторвался он взмокшими руками от тяжелого кирпичного парапета.— Утром не поспеть, да и ветер может подняться. Гляди, как сейчас-то тихо!

Айно с детства на воде и знает, что такая тишина долго не продержится. Все море, насколько хватало глаз, отливало ясным, теплым стеклом. Словно перед бурей, которая налетала тут всегда внезапно. Нет, умный человек у моря погоды не ожидает... Айно пошла собирать его пожитки. Все-таки на целую неделю, до следующей субботы, если ничего не случится. Бывало, и задерживался. Бывало, и дела, как это море, разливались. Айно знает мудрую заповедь: днем живи, не жди ночи. Жизнь такая, на два дома, на правом и на левом берегу... Пора, пора. Служба-разлучница зовет.

Когда был уже в своей уютной, покорной лодочке, когда уже и ревущего Кузю смущенно оттолкнул, появился с котомочкой Юрий Ряжин и без слов пристроился на средней лавке.

— В Череповец? — грустно посмотрел на притихшего парня.

— В Череповец, кормиться надо. Эк семья-то!..

Этим рассудительным стариковским голосом говорил только что переваливший за шестнадцать парнишка. Но в нем уже давно жил хозяин большого, разноликого дома. И когда покрепче был Самусеев, дом лежал на плечах вот этого старшенького Ряжина, а теперь чего уж!.. Максимилиан Михайлович не стал отговаривать; он еще при встрече догадался, куда тот правит путь... И так удивляло, что до сих пор никто не сбежал из Избишина. Но слухи — не вода, не удержишь за смолеными бортами, даже камнем не оградишь; для воды можно поставить несокрушимые переборы, а для слухов никто еще не изобрел надежной переборки. С левого берега, от Мяксы, давно уже тянулись люди в Череповец. Как ни скрывали местные домоседы зазывные череповецкие грамотки, они все равно пробивались. Через любое сокрытие. Школьники из десятилетки бежали, чего уж говорить о колхозах! Печать председательская теперь не властна остановить этот людской поток; найдет щели, хлынет в уготованное русло, собьется в один бездонный омут...

— Не шатайся, Юрий, поступай куда-нибудь учеником.

— Мне шататься некогда, я сразу в бригаду пойду.

— Ну, сразу так сразу...

Отговаривать ряжинского оботура было бесполезно. Максимилиан Михайлович сделал даже порядочный крюк, высадил на полпути от Мяксы до Череповца — такому длинноногому парню всего на два часа пробежки оставалось.

При хорошей погоде и сам не запоздал. Еще засветло к мяксинскому берегу причалил.

Жилой остров на западном прибережье Рыбинского моря возник давно. Собственно, еще в последнее предвоенное лето. Весной сорок первого под Рыбинском, в Переборах, плотиной была забрана Волга,

а вместе с ней и Шексна, и безоглядной властью обе реки разом вспять повернуты — как и судьба тем же летом самой России... Но вспять не течет ни река, ни род людской. Видели в ярости Волгу да, хоть и единую, руку ее — Шексну?! Говорят, под Переборами до самой войны вместе с Волгой боролась Шексна, да и войну всю партизанила против неправого перебора; только обратный ход истории был еще круче и погибельнее. Так уж вышло, что священная война разыгралась одновременно с неосвященной войной в Пошехонье; вернее будет сказать: местное противоборство жизни совпало с грозным противоборством всей России и потому прошло незаметно, даже стыдливо. Когда считать свои обиды, если кровью истекает земля русская! По этой, а может, и по какой другой причине, затопление Пришекснинской низменности, целого древнего края, было сделано наспех и без всякого досмотру; главное, считали, перебор поставить, остальное доберет вода. Что пожгли-поломали заключенные — то и ушло под воду; чаще всего и не ушло, лишь подтопилось.

Вековые новгородские деревни, брошенные переселенцами и нетерпеливыми погоняльщиками-уполномоченными, худо-бедно доламывала подпиравшая вода; леса, оставшиеся на корню, частью по льду вырубались на дрова, частью погибали своей гнилой смертью. Но пристани и разные прибрежные постройки, рассчитанные на большую воду? Но каменные, седые церкви, крепостями стоявшие на торговом пути? Не поддавались ни воде, ни динамиту. Как стояли, так и осели в воду. Да глубоко ли? На низинном побережье вода расплескалась, как во вселенской луже: где на метр, ну, где на два. Что могло сделаться церквам? Разве что крестов своих почти все лишились...

Перебираясь с берега за семь верст в леса, избишинцы частенько и ночевали в церкви. Старое жилье было порушено, а в ней просторно, тепло. Потом стали обогреваться здесь и все плывущие с моря и за море. Потом в военное время обосновалась, от великой голодухи возникшая, рыбацкая артель. Церковь не пустовала. Была вроде заезжего дома. И каждый вез на церковный остров и оставлял какое-нибудь ненужное барахло, вроде разбитых дровней, дырявых лодок, самодельных плотов, рассохшихся бочек. Для удобства и укрепления береговой кромки валили зимой со льда и по льду же волокли — любо-дорого посмотреть! — даровой высохший лес, который и оседал у подножия церкви. А церковь, как парус, принимала напор морского ветра и, стало быть, несущийся по воде хлам: останки многих сотен деревень, пристаней, причалов, несметных в этой пойме сенных сараев, необозримых окрестных лесов. Поначалу островитяне видели в этом непреодолимое бедствие — ведь вода окрест кишела бревнами и целыми полузатопленными домами,— а потом сообразили: все плывущее — да во благо! Так стал складываться из наносного хлама и утрамбовываться остров вокруг притопленной избишинской церкви. С каждым годом он уплотнялся и разрастался. Поверх древесного хлама обрастал даже зеленой травкой.

Был и другой строитель острова — торф. Вся Пошехонская низина — громадные, глубоченные торфяники; конечно же, перед затоплением их никто не выбирал. Год они мирно лежали, два лежали, а потом начали всплывать — целыми полями, бывшими капустными огородами. На этих естественных плотах устраивали ночлежки бродячие рыбаки и беглые заключенные — плыли да плыли себе по воле ветра; еда была тут же, в воде, кругом — сухие леса для кострищ и волюшка вольная. Но ловить их, беглых отшельников, и на таком большом море научились — как-никак были у охраны быстроходные катера. Ушли беглецы в более надежные леса, а торфяные поля что ни год — гуще плывут. Их уже не отпихивали баграми, да и не хватило бы никаких багров, чтобы протолкнуть к руслу. Черные острова кружили на прибрежных отмелях и в конце концов прибивались все к той же избишинской

церкви. Торфяные пласты намертво вбивало в древесные наносы и волнами заглаживало. Остров рос да рос, никому не подвластный и нигде не числящийся. К тому времени, как войне кончиться, на торфяных огородах уже сеяли под лопату репу и морковь и всякую прочую овощь, а теперь, уверовав в несокрушимость острова, и картошку под плуг сажали.

Так вода, порушив землю, землю же и создала; так люди, сбежав из этих затопленных мест, сюда же и возвращались.

Постоянно в церкви не жил никто до конца войны — лишь рыбаки постои устраивали да разные уходящие-приходящие. Но Максимилиан Михайлович, после госпиталей послужив некоторое время в Мяксе, вдруг обнаружил здесь и дом, и смысл жизни — и все в одной рыбацкой бригаде Айно. Его дырявые, захлебывающиеся легкие обрели здесь покой и целебный воздух — впервые вдохнул полной грудью. Чего не сделали доктора — сделало это дикое море. Заявился сюда незваным уполномоченным, а остался хозяином. Чтоб уж и не мотаться никуда — на казенной квартире в Мяксе всего лишь ночевал иногда, — церковь обратил в настоящий дом. Занял один из просторных боковых приделов, настлал полы, сложил печь, стены подбелил, поставил кровать, а потом и маленькую кроватку, по стенам протянул хозяйственные и книжные полки — и зажил в свое удовольствие. От свежего ли молодого ветра, от молодой ли жены — дыры в легких стали действительно затягиваться, и он мог уже считать себя почти здоровым человеком: от инвалидности отказался. Надоело попрошайничать, перед докторами распахиваться. Была жизнь, была жена, был сын — какая, к лиху, инвалидность!

Конечно, жизнь такая, на два берега разведенная, служба районная — времени свободного не оставляли. А оно, как ни странно, находилось; оно как вода — все тащило к острову: и грязь, и золото времен, и смысл, и бессмыслицу жизни...

Трудно сказать, с чего началось — с удивления ли перед прахом истории, со стыдливости ли учительской, с жалости ли к оголодавшему люду. Всего тут было помаленьку, наверно. Начав отходить после госпиталей, в глухом забережном углу встречал невиданной красоты дома, в которых вдовьи ветры дули; боярской выделки сундуки, из которых последнее за горбушку тащили; медно-огнистые прялки, за которыми сидели черные военные старухи-тридцатилетки; целыми связками похоронки под рушниками, иконами, цены которым не было. Видел, как за стакашек крупки отдавали невиданные кружева и подзоры; волокли на базар домотканые полушалки; на горсть обсевков меняли, забыв от голодухи и про бога, резные древние киоты; за дохлую рыбину совали в руки тисненые, из кожи, кошели, в которых давно ничего не бывало...

И проснулась тоска историка ко всему безвременно уходящему, обнажилась стыдливой жалостью. Народ здесь жил упрямый, милостыню просить не хотел, а менять — менял, что угодно — и на что угодно. Первый раз Максимилиан Михайлович, возвращаясь в район с самолично пойманными щучками — так себе, недоростки,— был остановлен молодой, голодно кричащей одними глазами женщиной; на сухой груди ее барахтался ребятенок: дай же, дай, человече! Она ничего такого, конечно, не сказала, но он смущенно отвязал самую большую щучку и подал женщине: бери, бери, все мы люди... Взяла, прежде выдернув из-под ребеночка морозно-вытканный подзор; ошарашенный, не успел ее остановить — убежала. И хоть к тому времени родился уже Кузя, воспользоваться чужим несчастьем не посмел и все с тем же стыдом положил в сундук,— сундук, как и многое другое, прибило к острову море, и Айно прибрала для хозяйства. Так же, или почти так, прямо в мяксинский кабинет притащил ему какой-то дедок новгородские осеребренные ножны и встал, уставился на хлеб; Максимилиан Михайлович как раз свой районный паек запивал чаем — тоже дедок с поклонами убежал. А потом уже и слава разнеслась: школьный начальник, добрый человек, подкармливает голодных, а взамен, чтоб самому не стыдно было, не дерет часов и дорогих отрезов — довольствуется, чудак, разным старьем! Напрасно он убеждал, что ничего, кроме пайка, у него нет; напрасно в голос кричал, видя, как волокут к нему в кабинет, суют по дороге к берегу, везут прямо на остров память своих дедов и прадедов... Неделями они с Айно не видели крошки хлеба, и росли, росли груды не нужных никому даров, от которых отдавало нафталином, плесенью и табаком. И само собой вышло: пришлось однажды все выносить на солнце, сушить, а потом раскладывать по полкам, развешивать по стенам.

Так в бывшей ризнице, примыкавшей к жилому приделу, и возникло это дарохранилище. Даже про себя боялся называть его музеем, а в районе и не заикался: только с послевоенной голодухи начали подниматься на четвереньки, а он дурью мается... И музей жил лишь в его покорной голове. Айно про музей просто не знала.

Другое дело — рыбари. Были тут такие орлы перелетные, что и Ленинград, и Москву насквозь прошли. И Европу через окуляры до последней щелочки обозрели. А Иванцов говорил, в Дрездене картины охранял, хотя дело его, говорил, автоматным семенем засевать сволочную Европу, а не сторожевой тоской, мать их перемать, зазря изводиться, да еще в самом логове зверя... Вот этих Иванцовых да Лесьевых Максимилиан Михайлович и побаивался. Осмеют, растрезвонят. Плачь в жилетку да пиши объяснения, что не вор и не сквалыжник. Так по пехотной своей простоте и продадут!

Максимилиан Михайлович опять вез целую лодку никому не нужного барахла. Даже моторец надсадно погудывал. Швейная машина попалась какой-то старинной доморощенной конструкции; делал ее мастер, видно, по своим великим силам, из кованого железа, а вот у дряхлого лодочного моторчика сил таких не было — покряхтывал мотор, постанывал, но пока держался, плыть можно. Была суббота, вновь семейная суббота — значит, до завтрашнего вечера дома, на своем тихом и зеленом острове. Да, хватало уже места и для лужаек, и для цветников — все пылало, алело, искрилось вкруг церкви. Море поплескивало о борта лодки; волны набегали на камень: ступени паперти обрывались прямо в воду. Тут была хорошая глубина. Можно было нырять прямо с паперти, и они с Айно ныряли. Но причаливать было неудобно — подходили с наветренной стороны к наросшему земляному берегу. Там сделали даже дощатый причал. Туда и направил Максимилиан Михайлович свою дароносную лодку. Хорошо, что Айно в море: потихоньку, без ее упреков, перетащит все в церковь...

Уж само собой, Кузя на помощь прибежал:

— Па-апка! А пушку когда?..

Вот пушек пока море не приносило! Чего не было, того не было.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Был теплый и тихий вечер. Дмитрий Окатов вышел на крыльцо и подумал: «Спать-то как хорошо!» Это означало: пора завершить дневной круг. Раньше ляжешь — раньше встанешь.

Но следом Веруныка вышла, тихая и ясная, как и этот вечер. Солнышко в глазах догорало.

— Ты чего, полуночница?..

— А ты чего, полуночник?..

Яснее ясного! Какие сны, какая ночь... Не только ведь в ее глазах — и над лесом еще подпаливало солнце, долгое, летнее. Северные зори подсвечивали. Читать можно — да чего читать? Разве то, что на лице у Веруньки. Словно крупными буковками пропечатывалось, лас-

ковыми. Он даже задремал немного от такого покойного чтения. А спохватившись, повинился:

— Давно мы так не сиживали...

— Давно... как в председатели тебя занесло.

Мягкий, вечерний упрек, а все же задело. Когда сидеть, когда рассиживаться? Дмитрий поворчал, но душа опять встрепенулась. Вся усталость, вся тяжесть пылью осыпалась, росой вечерней скатилась. Обнял свою Веруньку и, сидя вот так, на вечерней лавочке, удивился:

— А ведь я люблю тебя, сиротка ты моя?..

— Да как меня не любить, — засияла она лицом еще ярче, хотя и сумерки уже сгущались. — Я жена твоя, Димитрий. Какая сирота?

Жена, пятый год жена, даже не верится! С того самого вечера, как угорела она в пустой, вымершей избе, как вытащил он ее, будто рыбку золотую, на мартовский радостный морозец и в чувство привел, да такое, что и сейчас не проходит... На руках к себе в избу принес — на руках и носил все эти годы. Была сиротка — стала мужняя жена. Правая рука напряглась вся: толстопузая Верунька, вот так-то! Он даже забыл, что и председатель, начисто позабыл. Какое ему дело до сенокосов, до картошки или до тех же овсов, которые шли на удивление в рост? Ясно, что лето хорошее, но лето-то для кого — для него, Дмитрия Окатова, да вот еще для Веруньки, да еше для сына, который ворочается в духоте избы, и для дочки, которая поворачивается в глубине Верунькиного живота. Не мог ошибиться, ухом даже прильнул. Ласковая, деликатная. Мужик — он бы локтями в бока лупил, он бы извел еще до того, как на свет явиться. А тут как сказочка, как тихий шепоток. Дмитрий мог бы поклясться, что слышит их... Какие разговоры, если дочку ждут? Ради такого случая и намокшее сено из башки выкинул, прямо на вечерний ветерок — пускай себе само просыхает, не до него. Даже Капу-Белиху с разомлевших плеч отряс, а Капа ни больше ни меньше как повеситься грозила — из-за дурного Павлуши, конечно. Нечего морочить голову председателю, весь вышел!

Сидел на лавочке лицом к угасавшей заре Митя Окатов и обнимал большой, теплый живот своей Веруньки. Посмеялся чему-то, ища ее распухшие, сухие губы, из-за темноты, надо же, не нашел и опять припал головой к животу, как к подушке. Хорошая подушка, родная. И лавка хорошая... Он строгал ее еще тогда, когда просто на вечерний воздух тянуло с Верунькой на пару. Семейная жизнь у них под весну началась, тепло было, от зорьки вечерней до зорьки утренней тут и прохлаждались. Часто мать, все позабывшая Марьяша, даже бранилась: «Да что вам, бесстыдникам, повети мало?» А того не поймет, что поветь в четырех стенах, а здесь все настежь распахнуто. Отец их, Клим Окатов, хоть и не успел после переселения толком устроиться в Новом Избишине, но место выбрал, пожалуй, самое доброе: на излуке реки Оклятой и речушки Заклятой — так их сразу же и назвали избишинцы-переселенцы, за нрав, конечно, за сходство — не зная истинного названия строптивого притока своей низовой реки. Оклятая несла свои воды отсюда к Шексне, но так надурила-напетляла, что мало кто знал, что они просто с низовий в верховья переезжают. Здесь не то что в низах — звону-то, звону на целую версту! А доченька ее приемная, речушка Заклятая, с горушки сбегала и, хоть сама всего в два бабьих ведра, тоже в тон позванивала. На радостях так круто обнялись, что в переплясе закружились. Просто залюбуешься! Тут, на песчаном косогоре, и приткнул свой сруб скорый на руку Клим Окатов, так же скоро и на войну на финскую укативший... Все прошло, все минуло, а сын его, забыв в эту минуту и про отца, и про свое председательство, звон вечерний слушает. Усадьба выходит задами прямо на речной мысок. Огород в левую сторону скатывается, а на правом углу — скамейка. Ивовым прутом с боков оплетенная, вроде шалашика. Деревенская улица со всем ее беспокойством осталась за домом. Само собой, есть у них, как и у всех нормальных людей, скамеища и перед домом, но та — для матери, Марьяши, и ее слезливых подруг. А эта — для них, для веселых. Дмитрий поудобнее положил голову, но потом подхватился:

— Машку я там не задавил?

— Ой, Митя! Ой, язык у тебя!..

А что язык? У женщин, у них суеверие, а какое суеверие у мужчины, да еще из рода Окатовых? На месте нынешнего, Нового Избишина, названного в память о порушенной шекснинской деревне, был когда-то столыпинский, а потом кулацкий выселок Корчевье, стало быть, с корнем из жизни выкорчеванный еще в тридцатом году, а на месте ихнего подворья — нахвостанное наскоро молодым Чехвостовым кладбище; потому и не позарился никто на красоту этой кулацкой горушки. Один Клим Окатов не побоялся первый кол вбить. «Где хвостал Чехвостов, там старые хозяева не восстают», — посмеялся скорый на язык отец и досмеялся бы до того же Чехвостова, не уйди на стылую финскую войну и не сложи там, на чужих промерзлых скалах, свои безответные кости. Чего же сыну отвечать? Прошлые предрассудки вниз с горушки спустил и в воде кипучей утопил. Надо было семью, как посевной клин, расширять. Климушке-сынку, названному в честь деда, сестрица требовалась, чтоб прочнее на этой горушке сидеть. Во всяком деле Дмитрий любил основательность — хоть пахать, хоть сеять, хоть детей заводить!

Глядя в туманное заречье, он и пытался втолковать это Веруньке. Она, кажется, не слушала. Заря уже совсем ушла за лес, красным ножичком только и прорезала верхушки. Тихо в деревне, каждый вздох слышится... Дмитрий даже подумал: полежи он тут с Верунькой неделю, и в самом деле про председательство свое позабудет! Но с улицы донеслось отчетливое напоминание:

— К черту председателя! Пойду убью или зарежу.

Столько спокойной уверенности было в голосе, что сомневаться не приходилось: Паша Лесьев, душа его вон! На пять лет только старше, а уж совсем из другого мира. И дело даже не в том, что Пашу взяли в армию накануне войны, а его, Дмитрия Окатова, и в последний безлюдный год выбраковали, — Паша до войны успел погулять, и даже Капу из порушенного Чехвостовым монастыря прямо на холке лошадиной умыкнул, а он, Митя, тогда еще просто Митя, ничего такого сделать не успел. Они вроде бы и признавали друг дружку, но вроде и не знались. Во всяком случае, Паша первым никогда не заговаривал, а лишь кивал ответно.

Дмитрий поднял свою председательскую голову с коленей Веруньки и сказал:

— Пойду посмотрю.

Верунька, конечно, замахала руками:

— Митя, не ходи!

Нетрудно было догадаться, куда правит Паша Лесьев. Дом Окатовых, дальше дом Василисы Власьевны, еще один заколоченный, а там и Капа Белая во всей красе на крыльце его ждет... Дмитрий посмеялся, поскольку до войны Паша крыльцо срубить не успел, один из военных муженьков Капы прирубил было на свой культгавенький вкус, да вместе с ним и крыльцо как-то незаметно запропало, на дрова, наверно, пошло, так что забиралась Капа в сени по чурбачкам. Ставила их в три рядочка по росту, сперва по крепким их спинам всходила, ну а дальше так уж и сказать стыдно, просто на карачках забиралась в свои монастырские палаты. Чурбачки стояли как гвардейцы. Дмитрий не удержался от улыбки: вчера сам же и лез по этим хитромудрым приступкам (какая-никакая была Капа, а боялся за нее). А потом молча качал головой: боже правый, в этом монастыре месяц не метено, где что брошено со времен какого муженька — так и валялось. Все ноги обил о ведра, пока через сени пробрался. И это днем, при раскрытой

двери нараспашку! Поэтому, следуя в эту минуту за ломовыми Павлушиными шагами, он мог безошибочно определить момент, когда Павлуша ступит на первый ряд чурбачков, возможно, переступит и на второй, но уж на самый верх — никак не угодит. Ну, выше это сил человеческих, чтобы впопыхах, в гневе, да еще ночью подняться к Капиной двери! Дмитрий даже посвистывал, уверившись, что такой топот все заглушит. И шел, считай, по-за плечами у Павлуши Лесьева, а Павлуша Лесьев шел резать Капу-Белиху. Без ножа Павлуша никогда не ходил, а ножик у него такой, что хочешь не хочешь — зарежешь. Оскалистая финка. Не такая, что из ржавых напильников куют безногие череповецкие майоры, а самая настоящая, трофейная, с боем у хозяина взятая. Должна, должна зарезать Капу-Белиху, прямо в ее домашнем монастыре! Конечно, если Павлуша на гвардейских приступках ноги не поломает... Нет, покряхтел, покряхтел и вот темной тенью встал в дверном проеме...

Раздосадованный Дмитрий пожелал ему по два чугуна гремучих на каждую ногу. Ведь спит, дрыхнет Капа, как пшеницу продавши!

Ни одно ведро не звякнуло, ни одно корыто не громыхнуло. Шел Павлуша Лесьев как по мягкому лугу, сапогами уже не топал, и разве что скрежет зубов иногда его присутствие выдавал. Дмитрий лезть в этот дом не решался, знал, что у него-то все загремит-зазвенит. А Павлуша, как можно было догадаться по ветру распахнувшейся двери, уже в избу прошел... Возвестил там:

— Зажигай свет, Капа, резать тебя буду. При ясном солнышке.

У Капы — ни слез, ни крика. Только скрип кровати, шлепанье босых ног, а потом и свет. Медлить больше было нельзя!

Дмитрий ринулся по этим чертовым березовым спинам — и свалился на первом же ряду, кой-как залез на второй, сбил там себе коленки, на пороге и руки о какие-то гвозди ободрал. А дальше как в колокола пошло — каждое брошенное ведро, каждый опрокинутый таз, каждый оказавшийся под ногой чугун, каждый рогатый ухват, колченогий табурет, самовар, противень и уж, само собой, горшок под ногами! Дмитрий не шел, не бежал — кувыркался в этом ночном содоме. И когда с кровавыми глазами и с окровавленными руками добрался до Павлуши, с ужасом увидел, что опаздывает. Павлуша держал свою Белиху за перышки, как курицу, и приговаривал:

— Ну, вот и все, монашка моя угретая, сейчас я тебя тепленькую и зарежу. Надоело с тобой канителиться.

Дело у Павлуши оставалось за малым — финку из ножен достать. Он что-то подзамешкался, а тут, сквозь гром и звон, и налетел Дмитрий, лег прямо грудью, не сообразив, что подмял лишь ножны, а когда опомнился — финка поблескивала высоко в руке. Сила у Павлуши немалая. Ну, да и у него что-то же есть! Сила на силу пошла. Тут уж ошибиться нельзя, завис обеими руками, не понимая, чего орет Капа:

— Заре-е-е-зали!..

Ни он Павлушу, ни Павлуша его — зарезать никто никак не мог. В полный рост, грудь в грудь терлись, а с рук на них капало, да что там, уже лилось и брызгало во все стороны. Хрипело Павлушино горло, словно уже и перерезанное, и страшно булькало его собственное, окатовское, захлебывалось криком. Скалилась финка вверху, решая, на кого пасть, и по локтям уж огнем жгло, и орала благим матом Капа:

— За-аре-е!..

Она недолго кричала. Павлуша вдруг как подкошенный грохнулся на пол. И финка грохнулась, наконец-то оскал свой уронила прямо под ноги Дмитрию. Он машинально выхватил ее из половиц, еще не зная, что с ней делать, и тут увидел свою брюхатую Веруньку — она железной кочергой дергала Павлушу за ноги, лежачего домолачивала. Тяжелая была кочерга, литая.

— Ополоумела ты, девка?!

В двери уже бабы напирали и пьяненько проталкивался Самусеев.

— Э-э, мужик, — попенял он Дмитрию, — нож забрать не мог! Кто ж так сдуру бросается? Собственные руки пополосовал... драть тебя без штанов!

Только сейчас и заметили: действительно, пополосованы, и сильно. Верунька было в рев, но подоспевшая Марьяша прикрикнула:

— Нечего! Давай, Белая, тряпки.

Капа лутошилась, бегала от кровати к комоду, ничего найти не могла, и тогда Марьяша просто сдернула у нее с кровати холщовую подстилку, подзор оторвала, а остальное быстро на ленты распустила. Но еще раньше Самусеев, хоть и пьяненький, брючный ремень сдернул и руку у плеча перетянул, правую. С левой тоже капало, но поменьше.

Когда спал первый переполох, оказался Дмитрий с закутанными в холщевину руками.

— Это что же? Мне же и показаться никуда нельзя...

— Почему — никуда? — ухмыльнулся небритый Самусеев. — Руководи. Руково-одствуй! Только в район — ни-ни. Ни ногой, ни особенно рукой...

— Да сколько можно отсиживаться? Не Чехвостов, так другой кто зачехвостит.

— Ве-ерно, Димитрий! Верно, медведь тебя дери... Медведь? Он самый! Он! А Павлуши не было. Лесьева — до лешего!

— Так ведь леший-то — сам Окатов, — подала голос очнувшаяся Капа. — Неуж Павлуша меня б зарезал?

И такая доверчивая ясность была в ее словах, что все вдруг образумились: да в самом-то деле, из-за чего переполох? Полгода Павлуша режет свою Капу, да ведь не зарезал же, так почему сегодня?

Придя к такому общему согласию, все дружно накинулись на Дмитрия. Верунька первой:

— Полете-ел от меня, земли не взвидя!

— Прилете-ел меня защищать... меня-то не спросив! — кудахтала Капа.

— За ножи-то надо умеючи... В чужие-то дела с оглядкой... — гудели бабы.

Выходило со всех сторон, что самый виноватый-развиноватый он, Дмитрий Окатов, полорешный председатель. Ну, прямо никакой защиты, даже от собственной жены! В конце концов он тоже размахался запеленутыми двойняшками:

— Да ну вас всех, навсёшеньки! Рвану вот следом за Юркой Ряжиным! В Череповец!

Как рукой сняло крики — бегство Юрия Ряжина, самого расхорошего из подрастающих мужиков, было такой болью, что с этой не сравнишь, никакими тряпками не замотаешь. Расходились в угрюмом молчанье.

Финку Самусеев все-таки прихватил с собой, а Павлуша кому нужен? Разве что Капе. У Капы и остался... Полы подтирать, как плевалась дорогой Марьяша.

Она же посоветовала и на берег поутру сгонять. За Дудочкой. Руки ведь — не шутки!

Когда посылали за Дудочкой, называли ее вовсе уже не Дудочкой, а Павлой Михайловной. Эта перемена была такой разительной, что и саму Дудочку преображала. Она прежде всего опохмелялась, долго мыла и причесывала свою бедовую голову, а потом надевала боевую старую гимнастерку со всеми своими медалями и орденом Красной Звезды с немного побитой в какой-то семейной схватке эмалью. Лейтенанты и майоры из бригады Иванцова за глаза могли злословить как угодно, но в глаза никто не решился бы слова сказать насчет этой санитарной гимнастерки. Начинала Дудочка, собственно, нянькой в при-

фронтовом тихвинском госпитале, а уж война сделала ее медсестрой — таскать да перевязывать, перевязывать да таскать на себе шестипудовых мужиков. А здесь Дудочке с радостью отдали медицинский надзор за рыбаками, она за это ничего и не получала — числилась рыбачкой — просто присматривала за служебной аптечкой, вешала на нее амбарный замок, чтобы лекарство сдуру не слопали, и занималась рыбой, пока кому-нибудь руку или ногу на причале не прихватывало. Ну, тогда держись, земля-матушка! Дудочка надевала боевую гимнастерку, перевешивала через плечо свою неизменную санитарную сумку, вывезенную из Пруссии, и в полном параде подступала к покалечившемуся рыбарю. В ход шли страшные блестящие ножницы и какие-то ножики — ими она вскрывала многочисленные рыбацкие чирьяки. Про ножики кто-то недобрый донос на Дудочку накатал, но у нее оказалась довоенная еще справка, училась на фельдшера. Правда, пару месяцев всего...

Глядя на такую Дудочку, то есть уже на Павлу Михайловну, забывали, что пора бы и на этот берег какого-никакого фельдшера прислать. Пока обходились услугами вездесущей медсестры. А если уж всерьез кто помирал, везли через море, в Мяксу. Но и то сказать: довезешь ли? Не бездорожье, так половодье. Случалось, и на железную дорогу гоняли; это уж совсем в другую сторону — под Кадуй. Болеть по пустякам не приходилось. Сейчас от Мяксы лучше подальше...

Чем хороша Дудочка — вопросов не задавала. Еще по дороге узнала все, что нужно и не нужно, и не от кого-нибудь — от самого Павлуши Лесьева, возвратившегося поутру на берег. Сейчас, пройдя во всем своем параде по деревне, только попросила:

— Кипяточку дайте. Жажда!

Пока Верунька ставила самовар, пока мыла и обдавала кипятком чайник, пока парились и заваривались драгоценные чаинки — Самусеевым Демьян Ряжин привез, а ей Тоня отсыпала немного, — полчаса прошло, не меньше. Дудочка выпила чашку, вздохнула и выпила вторую. Ну а Дмитрий с Верунькой только по одной: что ни говори, баловство. Да и сердился Дмитрий, не до чаев. На улицу с такими ручошками хоть не кажись.

— Сунулся ты, Димитрий, само собой, зря, а вот наскочить на нож мог незряшно. Знаю я характер Павлуши Лесьева...

Верунька охнула и схватилась за живот. Кому не знать! Полгода живет Павлуша в рыбацкой артели, и полгода с берега в Избишино, из Избишина на берег бегает — всем намозолил. Дудочке нет причины злословить.

Она посидела в раздумье перед молчаливым Дмитрием и начала разматывать тряпки.

— Ну, накрутили! Ну, по-бабьи!

— По-каковски же? Мужиков-то не было, мужики-то резались, — усмехнулась Верунька.

Дорого стоила Дмитрию эта усмешка! Как рванула Дудочка кровавые тряпки — у него такие же кровавые круги в глазах покатились...

— Да ты чего, Павла Михайловна? Ошалела?!

Но Дудочка и внимания не обратила: рывком и левую руку освободила. Тут было, правда, поменьше крови.

Дудочка отбросила грязные тряпки и велела дать чистое полотенце, не жалеть. Верунька вытащила береженое узорное полотенце — свадебный подарок Марьяши; ткалось еще в довоенные годы в приданое самой Марьяше. Но Дудочка узоры отринула, потребовала стираное — помягче будет, мол. Краснея, Верунька нашла и такое, залощенное ее руками до атласности. Дудочка удовлетворенно покивала своей бедовой головой. Слила остатки чая в большую миску, подозлила слитой чаек кипятком из самовара и, омочив полотенце, приложила к одной, к другой ране. Кровь полилась вчерашними ручьями. Верунька взвыла

в голос, но Дмитрий понял: прямо с грязью замотали. Дудочка морщилась.

— Вот что, расхорошие мои, ищите сивенькой! Мне уж как придется — для рук. Чай всей грязи не возьмет, йоду мало, стрептоциду жалкие крохи, а тут и в самом деле медведь драл. Ну, дура, ищи! — прикрикнула на Веруньку.

Веруньку со слезами унесла свой живот. Дмитрий отдернул руки:

— Чего раскричалась? Обойдемся и без тебя.

— Не обойдешься, Димитрий. Моли бога, чтоб не было еще заражения!

Дудочка умела разговаривать с такими, как он... Дмитрий притих. От мягкой тряпки и от теплой воды — отошла рука.

А тем временем и Верунька возвернулась. Бухнула на стол бутылку, заткнутую пропыленной тряпкой.

— Неуж нашла? — повеселела Дудочка и потребовала: — Спички!

Прямо на ладони у врачевательницы вспыхнуло синеватое ровное пламя. Она и жара, казалось, не чувствовала, так сияли ее помолодевшие глаза.

— Это ж надо! — повторяла она. — Надо же!

Делала она все быстро и по-мужски уверенно. Из бутылки нахлестала в обливную обеденную миску, вздохнула с сожалением, что, мол, придется переводить добро, и стала мочить кусок мягкой вехотки. Как по голым, ободранным ранам пошел живой огонь, Дмитрий запрыгал. Дудочка похохатывала:

— Ого! Пробирает? Какая ж стерва сопрятала?

— Какая! — вздохнула Верунька. — Праведная, известно.

Дмитрий и про огонь забыл. Не от хорошей жизни Праведница делает такие захоронки: у Самусеева бывают дни, когда и петля в утешение — заедает совесть, что травил за опохмелку семена. Будь у нее тогда под рукой — не укатили бы семена на море. Нет, опоздала в тот раз даже святая Праведница! Вот теперь на всякий случай и придерживает...

Дудочка ноздрями раскрытыми поводила: и-их, крепка, зараза! Сладко, как лошадь у овса, вздыхала, густо и сочно макала вехотку, втирала огонь прямо в растерзанные, расползшиеся порезы.

Дудочка заканчивала свое врачевание, посвистывала и руки бинтовать не спешила — порошок стрептоцида, который она пустила по ране, смешиваясь с сукровицей, краснел, густел, рана покрывалась коростой. Врачевательница сидела теперь на лавке, поглядывала на бутылку и вспоминала:

— От чего мужики умирали? От ран? Нет, больше от грязи. Рана ничего, зарастет, дай ей скорую чистоту. А кто даст, кто найдет в том содоме? Хорошо, если еще в наступлении, тут когда-нибудь свои подберут. А в отступлении? А в разведке? А мало ли где! Ткнется он, сердешный, под какой-нибудь кусток, сгоряча еще и под коряжину заползет, чтоб не затоптали, — да и гниет там, червям во сладость...

Дудочка, несокрушимая Дудочка, вздрогнула и потребовала себе стакан, оплеснула из остатков и, не дожидаясь, пока Веруньке подаст хоть что-нибудь заесть, хотя бы горькой прошлогодней капусты с ужухлой картошкой, долго и со смаком подержала в себе остатки того огня, что палом палил руки, и убежденно сказала:

— Нет, не должно быть заражения. Чувствую, Матвей Макарович производил. Вор и мошенник, а тут без обмана. Нет, должна сгореть зараза!

Руки она все еще не бинтовала, поглядывала на раны и время от времени промакивала сукровицу. Дмитрий начал уже беспокоиться — не забылась ли врачевательница. Но она все так же убежденно заверила:

— Как вот у меня дойдет до пяток — так и время. Спешить нам некуда. Ведь нету больше?

— Нетуньки уж, Павла Михайловна... — завздыхала Верунька.

— Вот я и говорю... А потому — по кропельке. — Она прихлебывала по глоточку, как чаек, и нахваливала: — Чиста, заразонька, чиста!

Но сколько ни растягивай, оплески все же кончились, и Дудочка решила:

— Вот теперь пора, чего уж...

Руки, как и пророчила Дудочка, зажили, хоть и рубцевались какой-то чересполосицей. Все на костях держалось и шевелилось: плуг ли, топор ли, кнут ли — хорошо брали председательские руки. Все нужно, все для дела: плуг — для хлеба, топор — для дома, а кнут — для лошади...

— Вас не гоняй, так наголодаетесь, — иной раз полушутливо покрикивал Окатов и на колхозников.

Его слушали, как и следовало, без осуждения, но покачивали головами: крутенек молодой председатель!

А как не быть крутым? Лето, его первое председательское лето, подходило к концу, а ни хлеба, ни картошки в закромах еще не было. Рожь уродилась неплохая, по девять центнеров взяли, на что и не рассчитывали, но вся она перешла на берег, оттуда на специальной барже уплыла в Мяксу... и куда уж дальше, никто не знает. План, потом еще план повышенный, потом обязательства, потом в фонд пятилетки, потом в фонд жалости — за другие колхозы, у которых ничего не намолотилось... И выгребли все под метелочку; с ней, уж явно насмехаясь, прошлась Марьяша и с амбарной галереи кинула вслед обозу:

— Пыль-то, хлебный-то дух хоть прихвати, балабон!

Ее правда: пробалабонил председатель рожь... На районном совещании, как только первые гектары скосили. Мол, по одиннадцать центнéров хватанем! Похвастаться захотелось, покрасоваться. Спасибо землице и рукам женским, что хоть по девять ухватили, — и то урожай невиданный. На совещании слыхал: все ноют да подвывают, все хнычут да подхныкивают — кто за себя да за тещу, кто за брата, а кто и за свояка... Потом-то Дмитрий догадался, что на полях у них было погуще, чем в сводках; опытные председатели зря не балабонили. Глядь, и на свою краюху что-то выкроили. Поплакаться — не разориться.

Дмитрию Окатову руку жали. Дмитрию Окатову и самовольный захват власти простили. Девять центнеров были девятью центнерами, а умноженные на сорок пять гектаров — уже на все четыреста тянули. По заготовкам ржи колхоз «Свободный труд» вышел на второе место в районе, уступив только одному левобережному колхозу. Но избишинцы оставались без хлеба, и сам председатель в том числе — личные семена почти вчистую на колхозное поле посносили, теперь и на приусадебных участках ждать нечего. Зимуй на голой на мякинке...

Конечно, руководило им святое чувство самосохранения. До того совещания был он все-таки под сомнением; уехал с совещания уже не сомнительным председателем — хозяином. А мог бы и без головы — не только без рук: тайна тайной, а слухи расползались...

Как ни завирался штукарь Чехвостов, с работы все-таки погнали и самого куда-то заштукарили — ни слуху ни духу не было. А место его занял один из носителей тайны, Титов, конечно. Он-то и намекнул:

— Думаешь, не знаю, какой медведь тебя драл? Смотри, Окатов, допрыгаешься!

Несколько месяцев у власти неузнаваемо изменили человека. Он словно бы еще подрос, заматерел и приосанился. Теперь он носил хороший полувоенный китель и хорошие смоляные усы — как на портрете, висевшем за его спиной. Уму непостижимо, как могли вырасти такие

усищи на конопатом лице бугаенка, да вот выросли же! Титов гордился и своими усами, и праведностью своей. Пожалуй, для себя не желал ничего, кроме одного: покорности — народ еще не остыл от войны, не было с ним никакого сладу. На Иванцова, на Самусеева, даже на притихшего теперь Павлушу Лесьева много не покричишь: развернется — и принародно трах-тарарах по мордасам! Суди потом... Всех не пересудишь. По незнанию и наскочил Титов на одного такого смутьяна: личные молокопоставки срывал. Хоть и мал человек, а скинул его с мяксинского моста при всем честном народе! Прямо с кителем и перешедшим по наследству чехвостовским портфелем! Титов хотел проучить его так же принародно, показательно-назидательно, но обидчик явился в суд с тремя орденами Славы на дырявой холщовой рубахе и с именным тесаком разведчика на веревочном поясе. Старый, всякого повидавший судья, вместо того чтобы в корне пресечь нападение на власть, пошел с распростертыми: «Да ну вас ко дну головой! Не было ничего и быть не могло. Выпить вам захотелось, а повода не было, так вот попридумали». Мировой кончилось потешное купание. Поэтому преемник Чехвостова на фронтовиков не спешил напирать — на таких, как Окатов, отыгрывался. И пригрозил недвусмысленно:

— Сговор — это знаешь что? Потому и сманил Лесьева из государственной артели? Там план, там рыба.

— И у меня план, у меня хлеб, — не стал задираться Дмитрий, но спиной, когда уходил, чувствовал ненависть чехвостовского преемника.

Что было, то было: переманил он Павлушу Лесьева. Но если откровенно, не он — Самусеев. А если еще откровеннее — сама Капа-Белиха своей белой улыбкой вернула в деревню мужика. Теперь Павлуша Лесьев был при молотилке — самый незаменимый из незаменимых. А раньше они с Самусеевым на пару у барабана стояли: в три руки — еще ничего, мытарили день. Но ему по колхозным делам приходилось отвлекаться, а Самусееву не управиться — бывало, и здоровые мужики попарно менялись. А вот бабы что-то не прирастали к молотилке, страх держал. Всему научились за войну — у молотильного барабана робели, снопы разбивали плохо, боялись, что руки затянет. Не часто, но бывало, бывало... В прошлом году одну из Барбушат, Светлану, еле выхватили из барабана, кофтой зацепилась. Страсти железные, ведь прямо дьяволу в пасть суешься! Но какой страх у Павлуши Лесьева? Капа по секрету шепотком говорила: там-то и там-то мяса кусищи выдраны, там-то и там-то все сшито да скроено... Но уж если работали на молотилке, работали споро и молча. Понимали: снопы ячменные — их единственные трудодни... если Дмитрий Окатов, малахольный председатель, не пробалабонит опять, как и рожь...

Нет, он уже дал себе слово поплакаться в жилетку: в пегую, в черную, в белую, в малиновую, в голубую — в какую придется! Но трудодни последние не отдать! Без хлеба деревню не оставить!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Юрий Ряжин уже гнал внутреннюю рядовку. Разряд у него был все еще второй — на первый ставить здорового парня постеснялись. Но работу он выполнял явно третьеразрядную. Верста! Когда заглавные каменщики поднимали углы, когда лучшие каменщики под шнуровку выводили наружный ряд, наступал черед внутренней стороне, идущей под штукатурку; тоже под шнур и тоже ровно, но уже без расшивки, с простым подрезом шва. Как ни строжился мастер, каждый понимал, что неровности, на худой конец, прикроют штукатуры. Тут даже полагались полые швы, чтоб штукатурка лучше приставала. Правда, в смысле гладкости спуску не было — разве что сами маленько приспускали, по неопытности или по лености. Ленью Юрий Ряжин не был заражен, а неопытности стеснялся. Прикусив язык, колотил и колотил кир-

пич черенком кельмы, пока тот не влезал под шнур. Раствор жесткий, плохо кирпич садится. За два этих месяца постиг: стена с раствора начинается. Половину срока, отпущенного на ученичество, протолкался возле растворных ящиков... чтоб им пусто было! Но пусто — опять же плохо: кончился замес, давай новый. Нелюдское слово «давай!» чуть обратно в Избишино не прогнало, и только стыд удержал: битым возвращаться?! Он стерпел подзатыльники и плевки, стерпел окрики со стен, но когда один ленивый хохол начал рвать на рубашке остатние пуговицы, прикрикнул на себя: «Все, Юрка, кончай терпёж!» И завалил сачка прямо в ящик с раствором. Раствор как раз был известковый, плохо прогашенный — заверещал сачок-хохол, как заяц ошпаренный, может, и сгорел бы вместе с нутром ленивым, не выдерни бригадир из жгучей извести да не забрось в чан с водой.

То-то ругани, то-то смеху! Сразу признали Ряжина и уважительно зашептали: «Сво-ой!» Хотя могли бы и прибить вечерком, поскольку салажатам зарываться не полагалось, да что-то не решились. Сорок человек в бригаде, а настоящих каменщиков не больше пяти, остальные шушера-мушера вербованная; польстились на зазывные грамотки, проели подъемные и знай зубами клацали — а убежать нельзя: запродан на три года. С милицией вернут. Под суд, чего доброго, упекут. Тут же рядом и будешь вкалывать, даже без конвоя, коль тихий, но уже без свободы и с вычетом кровных денежек — на твое казенное содержание. Нет, кто мог — крепился, не бежал. Разве что от злости на таких, как Ряжин, и отыгрывался.

Юрий вербовочных денег не брал, стало быть, и не запродавался, просто в отделе кадров записался в каменщики — там это быстро делалось, народ со всех сторон подваливал. Над ним посмеивались: бессребреник пошехонский! Разве от дармовых подъемных отказываются?! Можно сказать, из-за них и едут: кто с Украины, кто с Белоруссии, а кто еще откуда — то и дело каких-то беглых, с чужими документами, ловили, бесследно уводили под наганом. Юрию колхозная неволя подсказала: в новую кабалу не сядь! С хлеба на воду перебивался — ничего. Хлеб теперь был в магазинах, недорогой. Хоть и плохо поел, да своей волей встал. Хочешь в каменщики, хочешь в слесаря какие — вольного никто не удержит. Это, наверно, и смелости придавало. Юрий пристукивал кирпич и покрикивал на своего подавальщика:

— Поровнее расстилай, Нероба!

Но раствор ведь не вечернее одеяло, тяжело и жестко стелется. В подавальщиках как раз тот, что в известке искупался, хохол Нероба. Тоже с голодухи на стройку занесло. Прозвище ли Нероба, фамилия — кто знает. Юрий пришел в бригаду, когда того в ведомости так записывали. Прилипло получше всякого раствора. Лени и неповоротливости — на десять известковых ящиков. Юрий только месяц и проваландался на курсах, на даровых харчах — скудных, надо сказать, а Нероба отбыл все три положенных месяца и, так ничему и не научившись, подручным оставался. Себя Юрий уже каменщиком считал, гнул спину возле ящиков, ломал руки на забутовке, а сейчас версту гонит. Забутовка что... Когда проложат наружные и внутренние ряды — забивай кирпичом нутро, не зевай. На заглавного каменщика один кирпич приходится, а тут целый пяток, потому как особого ума не надо, знай шуруй, лишь бы из рядов не выпирало. Эту науку Юрий быстро постиг и постарался повыше ее стать, а Неробу и с забутовки прогнали: набросает как попало кирпичин да и шлепает сапожищами по стене, чтобы само улеглось. Ну, и повыпирает кладку на стороны — все сначала начинай! Юрий ему по-хорошему советовал:

— Ты в дорожники, Нероба, ступай.

Известно, там утрамбовывают камень. Нероба вполне мог сойти вместо трамбовки. Чего обижаться? Но тот прямо с кулаками полез:

— Клят тоби! Штурхану ось зо стины!

При его силе — немудрено. Старше года на три, да и брюхом потолще. Лучше бы, конечно, с ним не задираться.

— Отдохни, Нероба. Сам раствор набросаю.

Это он с удовольствием. Сейчас же на клетку с кирпичом и уселся. Ни рукой ни ногой. Когда Юрий был в подручных — минутку ловил, чтобы к кирпичу подобраться, а этот пусть хоть всю жизнь, коли охота, раствор да кирпичи для каменщиков бузует. Подручный, если он в дурной силе, тоже клад. Но и здесь он одно наказание! Так шлепнет раствор, что кельмой не разгребешь, так швырнет кирпич, что и прежний сшибет. Учить его — не научить. А тут бригадир:

— Посиживаете друг за дружечкой! Мне за вас версту гнать?

И верно, наружную уже покончили, за ними остановка — нельзя внутренность бутить. Юрий пырнул Неробу мастерком:

— Видишь? Всех задерживаем.

Юрий начал в спешке шлепать кирпичи — опять на крик нарвался:

— Пьяная верста, гляди!

Просмотрел Юрий — от криков совсем ослеп, дубасил кирпичи почище Неробы: они уже не садились, закреп раствор. Пока возился, слез с угла бригадир — и безжалостной ручищей сгреб весь ряд на подмости:

— Заново! Не пьяни!

У Юрия слезы в глазах, а делать нечего, по новой начинай. Вдобавок от гнева бригадирского и шнур причальный сбился. Смех по сторонам. Ясно, по теперешнему шнуру еще хуже наворочаешь. Пяток вторично уложенных кирпичин Юрий уже собственноручно сшиб и полез на угол. Этого ему никто, конечно, не дозволял — опытные каменщики натягивали причалку, даже внутреннюю. Но тут никто и не думает помогать. Еще слаще похихикивают. Молоток где-то под ногами остался — не искать же! Вырвал причальную скобу, нацелил шнур заново — и кулаком, кулаком! Забивает скобу так разве что сам бригадир — кулачищи задубели покрепче молотка. А с него какой спрос... И под рукавицей кровь пошла. Пускай ее, некогда зализывать! Юрий побежал на другой угол и там поправил причальную скобу, на этот раз уже подвернувшимся кирпичом. Но кулак его, кажется, запомнили, уже потише смеялись, когда доканчивал запоздалую версту. Тут, правда, и Нероба раскачался. Вогнав последнюю кирпичину, Юрий настырно, всем в глаза, разогнулся.

Нет, передыху не дали. От угла понеслось бригадирское:

— По-днима-ай!..

Это значит, на следующий ряд. Отдохнувшие каменщики, да и в пику ему, так погнали версты, и наружную и внутреннюю одновременно, что взмок Юрий, спина заныла — не угнаться ведь!

И не угнался бы, не порвись слишком туго натянутый наружный шнур. Узелков бригадир не терпел — заорал, чтоб новый ставили. А это и на руку: не торопясь и ровненько, под правило, свою версту докончил. Как ни присматривался перед очередным подъемом бригадир — не мог придраться. Юрий улыбался.

— Отвес проглотишь, гляди! — не стал добрее бригадир.

Неуютно становилось Юрию под бригадирским взглядом. Что за человек! Два месяца с ним, а доброго словца не слыхал, только это: «Натя-агивай! Поднима-ай!» Тянут-потянут, да пока еще и один дом вытянуть не могут...

Дом у них, правда, небывалый, на четыре этажа. Они на втором возятся, значит, еще два сверху да крыша... Трудно представить такую высоту, потому что подобных домов Юрий и не видывал. Там и сям копают что-то, там и сям стены поднимаются, но под крышами ничего пока нет. Только небольшие двухэтажные домишки, которые и называются как-то не по-нашему: коттеджами. Ну, да и люди там не наши: немцы. Пленные. Место, где они работают, огорожено, хотя и без вся-

кой строгости: стоит в дырявых воротах солдатик и от нечего делать семечки лузгает. Где-то еще один такой необстрелянный, и тоже, наверно, с семечками в кармане, а винтовка к забору прислонена, да и без патронов, как злословят. Немцы взад-вперед проходят, похваливают: «Гут, гут, зольдат». А солдат, как кот, жмурится на солнце и не знает, чем себя занять. Уходить не положено, сторожить некого. Немцы никуда не убегают и работают, кажется, лучше нашего. Не секрет: за дополнительный паек. Не скажешь, что и пленные! У иного мордаха так кирпича и просит — любимое выражение бригадира; люто ненавидит он этих немцев, а за что — никто не знает. Вот Юрий — знает. За отца, под Тихвином убитого, за мать, сведенную в могилу. За двоих родных братишек, да и за всех неродственных, за всех Самосеевых! Раз как-то Юрий подошел к солдату и винтовку беспризорную взял: «Дай я этих фрицев стрельну!» Получил подзатыльник, а немцы мимо проходили, смеялись: «Гут, гут, зольдат!» Юрий все-таки не утерпел, пустил вслед кирпичиной... и нарвался на то же самое: «Гут, гут!» Ничем их не проймешь. На работу ходят строем, во главе с каким-то своим полковником, строем песни поют, и все наши — «Катюшу» чаще всего. Она у них под барабан идет, быстрая; даже барабан гадам разрешили, мол, для настроения. Настроить бы их... с десятого этажа на первый!

Но десятых этажей Юрий и подавно не видывал. Знает только, что высоко, для головы немецкой вполне достаточно. К ним иногда присылали двух-трех немцев раствор месить, и они подальше от стен держались: что-то больно часто падают кирпичи... Приходило по этому случаю начальство вместе с немецким бригадиром-полковником, тыкали пальцами в сторону каменщиков, и опять слышалось: «Гут, гут...» Но больше пленных на помощь не присылали. И то сказать: из ихней же бригады один с кирпичом в голове лежит. Сам ли, не сам ли упал тот кирпич — пойди разберись! Народу тут — как возле хлебного магазина. Счеты-пересчеты, иногда и с блатной присказкой. Так что кирпичины не только вправо-влево летают, но и сверху вниз... А шутка ли — три свистящих килограмма! Юрий научился уже за шутками слезный смысл распознавать. Немцы, пожалуй, и научили, когда отказались с ними работать. «Гут, гут», а горбушку — врозь. Подсматривал Юрий, как они обедают, и позавидовал — кому?! Но там — сало, там — хлеб белый, там — шоколад невиданный! Говорят, посылки друг за дружкой бегут; говорят, и здесь они много зарабатывают. Все перепуталось, ничего не разберешь...

Под такое настроение он и спросил вечером бригадира:

— Дядя Паша, ты был на войне?

Тот удивился нахальству новичка, но, что-то в себе переборов, ответил:

— Нет.

— Не-ет? — Юрия и вовсе диво взяло. — А чего ты так немцев невзлюбил?

— А ты возлюбил разве?

— Я-то?.. Я другое дело! У меня батьку еще в самом начале войны убили. У меня матка тоже в первый год позагинула. Любить их!..

— Сосунок ты еще, Юрка...

Больше ничего не сказал бригадир, хмуро отвернулся от приставшего парнишки. И так не по чину разговорился.

Ясности от этого разговора у Юрия, конечно, не прибавилось. Он озадаченно смотрел в бригадирскую спину и думал: «Ни от кого толку не добьешься!» А тут подхватил его сбегавший по стремянке Нероба:

— Такий дэнь, а ты смурный, хлопче!

День и в самом деле расчудесный. Во-первых, получка, а во-вторых, в общежитие вселяться. Ни того, ни другого Юрий еще не знал. Что касается денег, несколько раз подбрасывали прямо на стройке авансом в счет этой самой получки. А общежитие — вообще вещь незнакомая. Это только в вербовочных объявлениях писали: «Общежитие». На самом деле — ничего похожего. Вагончики, правда, были, но в них клопов, как комаров в июльский день! Юрия в пригородной деревне приютила одна старушка, за что он ей огород копал и вместо лошади дрова возил, а Нероба — неизвестно где и обретался. Сейчас истинная радость на лице Неробы:

— Трэба поспишаты, а то коек не будэ...

Однако прежде чем занять койки, побежали к служебному бараку, где кипело как торжище: не подойти и не пробиться. Даже плечистый хохол приуныл.

Слышно было, работало трое кассиров, и толпа, если присмотреться, все-таки сбивалась в несколько упорядоченных ручейков. Между ними проходили только мастера да бригадиры, вроде ихнего дяди Паши. Юрий с завистью и уважением наблюдал, как свободно, словно реку вброд, буровил дядя Паша толпу. Да всерьез ему никто и не заступал дорогу. Вот он поднялся на приступок перед дверями и, не обращая внимания на подпиравшие головы, закурил. Ему передохнуть хотелось— спешить-то некуда, пропускает вперед себя очередь. Посматривал усталым, отрешенным взглядом поверх платков и кепок, в одну, в другую сторону... и вдруг раскрыл глаза навстречу одному из своих каменщиков, самому малозаметному в толпе. Юрий невольно посунулся назад, потому что дядя Паша, не выпуская изо рта брызжущей искрами беломорины, уже направлялся явно к нему.

— Пошли, — без обиняков взял за руку.

— А меня? — уцепился за другую руку Нероба.

— А ты подождешь, — стряхнул его бригадир и попер обратным ходом.

Идти второй раз было труднее, настырно сжимали со всех сторон.

— Этот шкет откудова?!

— Тоже бригадир?!

Дядя Паша невежливо повел плечами, свалив двух-трех притеснителей, и решительно подтвердил:

— Бригадир. Над дураками.

Юрий не видел, как они прошли-продрались остаток пути, сколько пуговиц на нем оборвали, и очнулся у стола, где ему отсчитывали деньги.

— Триста пятьдесят... — шелестела бумажками седая, усатая женщина, — четыреста пятьдесят, пятьсот... пятьсот сорок, пятьсот шестьдесят... и еще семь... Все правильно. Ты что, Павел Никифорович, мне не доверяешь?

— Не тебе — ему! Пока дойдет до дому, до копеечки обчистят. А в общежитии и подавно... Семнадцать рубликов тебе за глаза, — толкнул он ничего не понимавшего Юрия в плечо, — а остальное будет в моем загашнике.

Усатая кассирша понимающе кивнула. Дядя Паша оторвал на столе кус газеты, завернул Юркину пачку денег и засунул в свой внутренний карман, а ему протянул остатки:

— Купи конфет да ситра. Другого чтоб ни-ни. Выдеру, если что.

Уверенно говорил дядя Паша, так, что Юрий не сомневался: выдерет за милую душу, да еще и принародно! Рад был, что с пустым карманом выбрался из этой толчеи.

— О це нероба! — завистливо вздохнул при виде его приятель-хохол. — Займай, як боже даст, на мене мисце в общаге...

— Займу, — пообещал Юрий, убегая.

Только и слышалось вокруг:

— Захмылили-получили! Гоп со смыком, первый я!

— Захмелили-улучили... гоп-са, Фимочка моя!

Народ валил все новыми толпами, женской гурьбой и гурьбой мужской, и вперемешку, целыми бригадами, в одиночку и парами, и даже

под ручки, с песнями и со слезами, с радостью и горем в глазах, с наивной надеждой и с каким-то темным, необъяснимым вожделением во всем расхристанном виде... Тот еще народец подваливал, вербованный.

Свои семнадцать рубликов Юрий держал в кулаке и, видать, не зря: вначале один карман как бритвой срезало, потом другой ветром унесло. Унесло и вымело — чистехонько! Вместе с припасенным для этого дня пустым бумажником, вместе с письмами от братанов. Такие уж тут ветры-сквозняки...

Заключенным, которые расконвоированные, платили где-то отдельно. Немцы, те тоже у себя получали. Видел Юрий по дороге через проволоку: по одному подходили к накрытому красным полотном, вытащенному прямо на двор столу, не спеша расписывались, не спеша пересчитывали, кланялись вежливенько и шли в магазин, в свой, особый. Ни очереди, ни толкотни. Красный флаг над входом, красный плакат. И под это красное, празднично-завистливое входили ненавистные немцы, те самые немцы, которые, может, и отца его, Кузьму Ряжина, смерти предали...

Юрий поднял тяжелений булыжник и швырнул в сторону красного, глаза затуманившего зарева. Но далеко было, не долетело. Никто даже не оглянулся. За реденькой проволокой, как на картине, расхаживали умывшиеся после работы, почистившиеся немцы. У них магазин, у них бараки с самыми настоящими кроватями. У него — барака пока что нет, и нет кровати, даже завалящей. У бабки он спал на соломе. Спасибо ей и за то.

Был уже глухой и хмурый вечер, когда он, отстояв очередь за хлебом, очередь за конфетами-подушечками, да еще и за ситром, нашел наконец-то долгожданный барак. Поставили его подальше от глаз людских, на заштатном берегу Ягорбы. То ли место глухое кому-то приглянулось, то ли с верховий лес для бараков сюда приплавили. Барак этот ярко светился, прямо горел огнями, даже в туманной ночной мгле. Юрий постоял, полюбовался, прежде чем войти в тамбур, — барак строился на зиму, с двойными дверями.

В маленькой прихожей, битком набитой ночлежниками, за столом восседал инвалид и пил чай с селедкой и конфетами-подушечками. Швырк подушечку, швырк кусок селедки — и все под кипяточек. Усищи, рожа, на столе нога отстегнутая — прямо залюбуешься!

— Мне бы койку, — протянул Юрий бумажку.

Никакого внимания. Народ входил и выходил, зряшно пылало несколько лампочек, пар валил от портянок и рабочей одежды, забивая свет, — в углу, за распахнутой переборкой, была сушилка. Тут же титан стоял, ведра на четыре, клокотал, как паровозный котел. Основная толчея и была у титана. Подходили кто в чем, сквозной поток двигался через дверь поперечной переборки, отделявшей эту прихожую от остального барака: подставляли чайники и кружки, наливали, обливались, визжали, матерились, толкались, обнимались под горячий кипяточек — и пропадали где-то в немыслимом гаме длиннющей общаги. Переборка прямо тряслась: по ней били чем-то мягким и ревущим, и человеческий голос прорывался — вроде как Неробы:

— Ми-иленькие, ро-одненькие, бу-уду, бу-уду... говорить по-русски...

Прямо наваждение! Нероба — и по-русски, да еще вот так. Никогда не говорил.

Юрий невольно попятился к порогу. Но веселый инвалид, не замечавший его, деревянной ногой, как шлагбаумом, загородил дверь:

— Э-э, обратно у нас не ходют! Покажь, что там у тебя.

Юрий думал, за бумажкой из отдела кадров тянется, а он — в торбу:

— Э-э... и-и все?

— Все, что надо, — заверил его Юрий. — Хлебец, подушечки, соль

еще... Зря карманы только распотрошили! — потряс он разрезанными полами пиджачка.— Денежки-то все равно у бригадира.

— У Павла Никифоровича? — стукнул инвалид ногой по дверному косяку.

— У него самого! Как вы догадались-то?

— По глупости, по пустоте твоей. Явился — не запылился! С хлебом и с солью! И-и... все?

— Все при себе, а как же. Белье вон только у бабки осталось...

— А раз все, так и вали до всюшеньки к своей такой бабушке! — махнул инвалид в сторону дымно-прокуренной двери. — Без моего гвардейского напутствия.

Юрий прошел за переборку, ничего не видя и не слыша, — так было пасмурно и шумно. Вроде как в ревущем углу чуприна Неробы мелькнула, да ведь кто его разберет! Горело под потолком десяток лампочек, но они как бы в вате позависали, в парном махорочном дыму; тут и там велись разговоры — но ни единого словечка... Только: бу-бу-бу! Как в барабаны за немецкой проволокой бухали. И опять: «Ми-иленькие, ро-одненькие!» И шарканье многих ног, голоса. Звон кружек и ложек. Рев по крайней мере трех гармошек, треньканье десятка балаласк, все больше по углам, повизгиванье каких-то расходившихся плясунов, неслышное в этом гаме застольное пенпе — смешно так, как рыбы, молча рты разевали. Шлепанье картами по носам. Шорканье дратвы в руках у какого-то доморощенного сапожника. Плач какой-то распахтанной женщины — видно по лицу: не смеется... Неслышный, как и пение, треск разрываемых на груди у драчунов рубах, этот не доходящий до ушей стукоток у фанерной переборки, этот вроде как хохлацкий всхлип, это толканье в проходах между кроватями, этот глухой, забитый смех, эта черная тарелка неслышного радио... эта крыса, крыса под ногами!.. Вот крысу Юрий услышал — прошуршала по сапогам, прямо к плясунам, а там принялись ее давить, топтать, пока весело и зверски не затоптали на грязном полу мерзкую тварь. Потом он и рыканье гармошки распознал, ближней, конечно, и голоса с крайних кроватей:

Э-эх, пириборы, пириборы,
Э-эх, пирибрать иль не добрать
Мине матушка — милиция,
Тюрьма — родная мать.

Но кто-то и это песнопение как ладошкой прикрыл. Наглухо. Какая-то смутно маячившая, за дымом не видная власть всем здесь правила; она то закрывала, то открывала рты, то пела, то голосила, то гохабно и смачно ругалась, то откликалась вдруг прорвавшимися голосами картежников:

— Двадцать два... э-эх, пере-пере... табор мой цыганский!

— Двадцать было, двадцать сплыло...

На каком таком языке тут разговаривали? Люди явно русские, но Юрий ничего не понимал. Как глухой, шел сквозь эти картежные клики:

— Пиирибор... Фимá сгорела!

— Нидобор... Фимá сплыла!

Дымное, орущее людское облако носилось из края в край общаги, словно и перегородок не бывало, да и стен не было, и потолка — ничегошеньки. Народ, мужской и женский, какими-то немыслимыми сквозняками насквозь продувало, кружило, как мусор. Как же они тут спят-то?!

Юрий заметил вторую, поперечную переборку. Тоже фанерная, от пола до потолка глухая, вместо дверей дырища, как от снаряда. Какой-то казенный человек разогнал, видимо, женщин на одну сторону, мужчин на другую, но для переборки ничего, кроме фанеры, не нашел, да и титана, видно, на той половине не было, или испортился, — через

эту снарядную дыру, похихикивая, и лазили с чайниками. Юрий прошел уже из конца в конец мужской половины и невольно заглянул в женскую: одевались-переодевались, никого не стесняясь, так что в краску вгоняло. Шуму было даже больше, чем здесь, потому как мужики, напившись чаю за длиннющим, во весь проход, столом, хватали гармошки и балалайки и лезли на женскую половину под встречный кипяточек. Когда Юрий зазевался, его тоже пришпарили и тоже чуть в дырищу не втолкнули, — спасибо, женщина какая-то вход загородила.

От этой веселости все-таки спину пробрал холодок. Покружившись бессмысленно у переборки, Юрий, как и в комендантской прихожей, невольно попятился. Беда, что и пятиться здесь было некуда: везде люди, везде толкают, может, и нарочно в какой-то угол подталкивают. В конце концов Юрий очутился у первой переборки. К дверям направился было, да путь заступили всякие раздетые-полуодетые.

— Салажоночек, что там у тебя?

— Котеночек, получил-то много ли?

Юрий уже начал маленько соображать, про хлеб и подушечки не заикался.

— Ситра досталось! Прямо две бутылки отхватил...

Бутылки, как диковинку, рассматривали.

— Сит-ро?

— Ситрюшечки давай ему!

И домашняя холщовая торба, в которой были все его пожитки, вместе с бутылками полетела на пол, а сам он отлетел к переборке. Фанерная переборка опять загудела барабаном; Юрия швыряли на нее, упругая фанера отбрасывала его. Юрия снова кидали, его снова на руки откидывало — толкали в спину, в грудь, во что придется, и в очередной раз отталкивало от гудящей, пружинящей перегородки, и все под хохот, под жеребячье ржание, так что с той стороны инвалид взревел:

— Эй вы, законники, рабсилу не испортите!

Ясно, рабсила — это он, Юрий Ряжин, бить и толкать его можно, а портить, гляди ты, все-таки нельзя! Боли он не чувствовал, да всерьез его и не били, просто качали в плотно сомкнутом кругу, от рук до стены, от стены до рук, как мячик подкидной. Но не хотелось быть мячиком, он вдруг по-ряжински озверел. Когда его вразнос кинуло на хохочущие рожи, сгреб два подвернувшихся загривка и, как брюквины, когда их от земли околачивают, шмякнул чьи-то головы друг о дружку. Парни, которых так неожиданно прихватили, отрешенно скатились под ноги. Стало необычно тихо и просторно вокруг Юрия. А потом как команда:

— Это уже против правил — бить надо.

И на Юрия кинулось сразу несколько человек. Теперь он и боль почувствовал, и кровь сплевывал, но не кричал, яростно отбивался и царапался и кусался. Куда там! Его уже свалили на пол и суматошно, тяжело, как цепами на току, домолачивали. Он даже глаза зажмурил, боронясь от кулаков, да и не видать все равно ничего в свалке... Но тут все эти спины, кулаки и плечи криком вверх подняло:

— Э-э, законники, рабсилу побереги!

Глядь, над ним мордастый инвалид, на одной разутой ноге, а другой по спинам, по спинам молотит. Совсем славная молотьба! В одну минуту на току никого не осталось.

— Ну как? — в свое удовольствие посмеивался хозяйственный инвалид. — Кости целы, рабсила?

— Кажись... — не без труда поднялся Юрий.

— Кажи-ись!.. Но не божись. Зря ты с кулаками полез.

— Зря! Семеро на одного.

— Да тут, парень, не семеро, тут сотни полторы таких оглоедов. Да столько же оглоедих.

— Что им, разве не платят?

— Оглоедихам-то? Смотря которой. Иной, как Фимушке, так даже и очень хорошо. Да ты-то рот не разевай!

От боли, видно, раскрывался, от зубной — до Фимушек ли, хоть и светили всеми красками, такие любопытные. Разминая болящие кости, Юрий прошелся взад-вперед по притихшему проходу и зло обернулся к инвалиду:

— Нечего мозги морочить. Если комендант, так койку давай.

— А койки тут, парень, так... Сам бери, коли возьмется.

— Так ведь и без ноги можно остаться, — кивнул он на деревяшку.

— Мо-ожно... и без головы!

— А как же тогда? Тоже в коменданты идти?

— Ты меня комендантством не попрекай, сосунок! — взъярился вдруг инвалид. — Ты на ладожском льду полежи! Пока насмерть не приморозит!

Видя, что его не перекричать, Юрий поднял с полу торбу, достал помятую в свалке кружку, посетовал, что разлилось ситро, и принес кипятку. И только за стол со всем этим уселся — Нероба во всей своей ясности:

— Не трэба було з кулакамы, трэба еньчить, як я...

Юрий удивленно вытаращился на него:

— Нероба! Это тебя о переборку били, как барабан?.. Смека-алистый ты, Нероба, смека-алистый!

— А як жа... Грошикы тильки повытяглы. Злыдни!

— Что у тебя отняли? Кто? — как-то незаметно подошел к ним красивый, стройный парень — как с картинки, во всем новом — бант голубой под подбородком завязан.

Неробу будто ветром сдуло. Уже откуда-то из-под кровати донеслось:

— Ми-иленькие! Ро-одненькие!..

Юрий сквозь разбитые губы улыбнулся.

— Рановато смеешься, рабсила несчастная, — добродушно сплюнул парень под ноги и прошел своей дорогой к картежникам, напевая:

> Э-эх, пириборы, пириборы,
> Э-эх, пирибрать иль не добрать!

От этого спокойненького пения Юрия с жару в холод бросило. Хлеб потоптали, конфеты в лепешку смяли. Да что делать — надо было ужинать. Он почувствовал, как зверски проголодался, и под одну кружку кипятку съел всю растоптанную буханку и всю лепеху мокрых подушечек. Будь еще столько, умял бы. По сторонам не смотрел — некогда. А когда выгреб из сумки последние крошки — огляделся и, не найдя ничего лучшего, растянулся тут же за столом на широкой, просторной лавке.

Странный на него сон навалился, ласковый. Его куда-то несло и несло, как на материнских руках, — вспоминалось вот, не забылось еще, — его качало и обнимало живым теплом, его целовало, как маленького, его баюкало, утирало заплаканные щеки, гладило изломанные руки, избитые ноги, что-то жалеючи приговаривало, и он только не мог понять — что. Не просыпалось избитое тело, лишь жалобно просило: «Мама, ма-амочка!..» Вот еще бы миг, еще бы немного — и раскрылись зареванные глаза, и налились бы счастливым светом, и порадовались бы. Но нет, не раскрывались, жарким палом спекало веки, не расходились они. Замахнулся во сне рукой на покачивавшееся в красноватом огне видение, но руку мягко перехватили, зашептали прямо в губы:

— Ягодиночка ты моя, сладенькая да глупенькая, недозрелая да побитая...

Нет, он, кажется, уже проснулся. Вот и лампочка под потолком, единая, тихая; вон и белые пятна кроватей; вон и собственные руки, голые совсем, и ноги голые... Чудно! Ложился, как припомнилось, на лавке, во всей обычной одежде, а сейчас вот лежит на кровати, раздетый...

Какой добрый дух его сюда перенес? И совсем-то зачем было раздевать? Он споткнулся тревожной мыслью — над ним и в самом деле витал добрый дух, сквозь сумрак ночной улыбался чернооким, расплывчатым ликом. И шептал, шептал...

Он прислушался к голосу — человеческий. Присмотрелся к нависшему над ним лику — женский. Потрогал какие-то невиданные, спелые-переспелые, так и плывущие на язык груши, и рванулся с кровати, захлебнулся истошным криком:

— Ма-ама!..

Но его крепко, хотя и мягко, обхватили за плечи, прижали к кровати, наглухо прикрыли одеялом, принялись в темноте и тесноте целовать, оглаживать, сгоняя вместе со сном и ужас видения.

— Мама и есть, для тебя, милый, мама. Видишь, как повезло тебе, в какие хорошие руки попал?

Руки и в самом деле были хороши, успокаивали. Темнота заглушала, унимала дрожь. Юрий плакал, но уже не порывался. А его гладили по мокрым щекам, приговаривали:

— Ничего, ягодка, поплачь. Никто о том не узнает. А как наплачешься, мне же и спасибо скажешь. С кулаками ты в общагу ворвался — не простили бы тебе. Одна только я и могла тебя унести-похитить, но ведь я-то — Фима Аленькая! Неуж не слыхал?

Про Фиму, да еще и Аленькую, он вчера вечером чего-то такое слышал. Пискнул из темноты:

— Да ведь ты, если так, блатуха?

— Да как тебе сказать, ягодка моя славная... Баба я, баба. Как все бабы, несчастная.

— Так чего же смеешься-то? — по ее вздрагивающим губам догадался.

— Да потому, что плакать не умею. Как солдатня немецкая, в четырнадцать-то лет, мой ясненький, научила смеяться — так вот и смеюсь без удержу. А ты чего ж... поплачь, поплачь... Как звать-то?

— Юрка, чего пристала!

— Поплачь, Юра, да отдохни. Заслужил ты свой отдых. Поспи пока...

Он и в самом деле заснул опять, а проснулся, когда все в общежитии бежало и топало к дверям, швыряло одеяла, тащило сапоги, задышливо догоняло, гремело чайниками и ложками, повизгивая, поругивалось — и неслось, неслось в распахнутую, незакрывающуюся дверь. Лишь мимолетом, насмешливым ветром обдувало:

— Ну, уж Фимушка, уж греховодница!

— Ну, ненасытненькая!

Не успело затихнуть, как и его подняли:

— Быстро, Юра, одевайся. Еды я тебе собрала, пожуешь на ходу, а умываться и необязательно — сама я тебя умыла, как кошечка лапками...

Не поднимая глаз, он натянул тут же разложенную одежду, обулся и, собираясь уже бежать, немного поднял голову:

— Спасибо, тетя Фима...

Она улыбнулась:

— Ничего, ничего, пускай и тетя... хотя в сорок первом мне, говорю, только четырнадцать было. Нестара еще вроде бы? Ты хоть посмотри, ягодка малиновая!

Он посмотрел на нее. Удивительна была, красива! Высокая, выше его, черноволосая... а больше он ничего не мог сказать. Да и некогда было, она подтолкнула к порогу:

— Беги. За опоздание знаешь как судят?

— А ты-то, тетя Фима?

— Беги-и! С меня взятки гладки. В случае чего, и откуплюсь, не растеряюсь... Беги, чего уставился! Да вечером прямо с этого конца заходи, а то прибьют там тебя.

Придерживая торбу с едой, Юрий припустил на стройку.

По стремянке взбежал как раз вовремя. Дядя Паша, ни на кого в отдельности не глядя, зычно возвестил:

— По-однимай причалку!

Пока зачальщики на углах возились, хмурый, весь в синяках, Нероба посетовал:

— Тоби-то добре, поруч Фимы Аленькой притулился, а мене цильну ничь на переборку кидалы. Вся нероба разламывается...

Юрий смолчал...

Три дня он скрывался у своей прежней бабки. Вроде как и причина была: в школу готовился. Как раз занятия в ШРМ начинались, и не кто иной, как дядя Паша, присоветовал: мол, нечего баклуши бить. При тех словах проснулась застарелая тоска: по пятому классу, по мяксинскому коридору... Как ни старался Максимилиан Михайлович, дальше того коридора дело тогда не пошло. И вот удача: школа! Он как-то сразу и безоговорочно решился, хотя вокруг него, в ответ на зазывы прибегавших прямо на стройку учителей, бахвально и разгульно попевали:

До свиданья, педагоги!
До свиданья, шэ-рэ-эм!
Я на будущую осень
Не приду, не надоем.

Но вот осень пришла, и сама ШРМ легонькими каблучками застучала по стремянкам — женскими, стыдящими, зовущими. Надо же, внимание! Блатняки плевались, а дядя Паша хмуро погонял: давай, давай, не слушай!

Вот так и оказался Юрий Ряжин в школе рабочей молодежи, которую, конечно, иначе и не называли, как «шэ-рэ-эм». Думал, ради школы не вспоминает Фиму Аленькую — хотя как было не вспоминать! — думал, школа и держит его у бабки...

Но на четвертый день, в воскресенье, в бабкиных углах разыскала его Фима, поистине аленькая от ходьбы и какого-то скрытого возбуждения.

— От кого бегать надумал? — тихо попеняла она. — Э, Юра, от меня не убежишь.

Он как раз картошку у бабки копал, чтобы на базар в тележке везти. Бабка недовольно прикрикнула:

— Ты чего явилась, ты кто такая?

— Учительница, — отмахнулась Фима. — От твоего куркульства парня отучаю.

— Но-но, ученая, да некрещеная! — не отступала бабка. — Пса сейчас спущу.

И спустила с цепи, здоровущего. Юрий ахнул — разорвет он Фиму! — а Фима, как пес прыгнул на грудь, под брюхом у него почесала и, не страшась зубов, поцеловала в черный, нетерпеливый нос... и кобелина вниз, вниз, к ее ногам осунулся, завилял хвостом.

— Меня овчарками немецкими травили, а ты какую-то псюху! Видишь, бабка ты дурная, и ему подружка нужна. П-шел! — сдернула ошейник и пришлепнула по заду.

Пес и не думал убегать, возле ее ног крутился. Бабка крестилась:

— Чур-чур меня, песья учителька!

Юрий при виде Фимы тоже хотел было показать зубы, но тут, как и пес, обрадовался, побежал собирать вещички. Двух минут на это хватило.

— Ну, и скатертью дорога, — напутствовала бабка, а пес просящими глазами провожал.

Фима порылась в своей лакированной сумке и сунула ему конфету:

— Не поминай нас лихом, псюх легавый.

Она уже всерьез пнула ногой ничего не понимавшего пса и взяла Юрия под руку:

— Воскресенье, смекаешь? И бабье лето в полном соку...

Смекал Юрий, нет ли, но было радостно идти по солнечному городу с этой непонятной, властной женщиной. Она по-мужски, крепко держала его под руку, другой, которая с сумкой, широко отмахивала. Там у нее конфеты и, бог знает что, шоколад, — Юрий раньше и не пробовал его. Вытащив большущую плитку и зубами ошкурив обертку, Фима надкусила угол, а другой Юрию сунула: ешь, не приглядывайся. Таяло на губах и сладко ныло во рту. Фима, каждый раз наклоняясь к его руке, посмеиваясь, то ему, то себе в рот тянула. Было ей неудобно, руки заняты, но Юрий не догадывался освободить хотя бы от сумки. Фима в конце концов сама ее перекинула:

— Мог бы и поухаживать, тепа-недотепа.

— Ого! — перевел дух Юрий, подхватив сумку. — Всего, видать, насовала. Как побродяжка какая.

— Побродим, Юра, побродим...

— Хлеб и в платок могла завязать, чего такую хорошую сумку таскать... Фима? — не решился он на этот раз назвать ее «тетей», потупился. — Видно, на дурницу получаешь?

— Деньжатки-то? Когда дурные, а когда и нет, Юра. Я ведь бригадирша.

— Ты-ы? — смешно так удивился он, несмело оборачиваясь к ней.

— Я, Юра, я. Фима Аленькая, с Доски почета, смекай. Кто другой такой справится с оравой чумного бабья? О! — ткнула она пальцем в сторону большого красного щита, увешанного фотографиями. — Фимушка, гляди, самая что ни есть Аленькая.. Да пошли, пошли, — не дала ему остановиться. — На живую смотри, не на мертвую. Живая-то я ведь лучше, а там губы поджать заставили, да и руки-ноги не видны, только мордаха... Бригадирша в красненькой косыночке, мать ее дери! Гроза гнилого бабья. Вербованные, почти все поголовно. Полсотни разных шлюх, которых уж никуда не берут. Бригада ух, работает до двух, а с двух до пяти никого не найти! Но ведь я-то нахожу? Видел? Бригада даже моей мордой на Доску почета вылезла. Всякие там разные — разнорабочие. Лом, кайло да лопатушка. Бревна, цемент да кирпичики. Подметайло, давайло, ругайло... тьфу на всех вот на вас!..

Фима сплюнула недожеванную шоколадную гущу прямо под ноги какой-то разряженной барыне, та — в крик, ногами топать... Но Фима пригнулась к ее уху, что-то шепнула и своими ровными, остренькими, с проблеском золотой фиксы, зубами как-то очень ловко, по-собачьи тяпнула ее за ухо. Барынька со страхом, молча — бежать! Фима — смеяться, как оглашенная! И Юрий смеяться, потише, непонимающе:

— Чего ты, Фима, ей сказала?

— Не для твоих ушей, Юра...

Юрий надулся и попытался выдернуть руку:

— Что я, маленький? Обругала, так все ругаются.

— Все, да ведь не всяко... Ешь шоколад.

Он еще немного посердился, но шоколад сам ему в рот вскочил, и еще, и еще раз, и с каждым разом все вкусиее.

— А не пронесет? — спохватился он. — Моя Праведница говорит, что от сахару брюхо течет.

— В самом деле праведница?..

— В самом! Она первую мамку пережила, вторую пережила и теперь нас всех обихаживает.

— Вот как! Сколько же вас, Юра?

— Шестеро нахлебников, если без меня. Да батька безрукий, из председателей выгнанный. Тоже, если вправду, неродной.

— Да-а... Матка, выходит, чужая, батька чужой да семеро вас?

— Шестеро, говорю. Я-то на заработках.

— Да-а, ты-то, конечно, работник, ты-то мужик! — снова взяла Фима его под руку и примолкла.

Юрию опять не понравилась проскользнувшая насмешка, но вырвать руку не удалось. А может, и не очень-то вырывался... День уж был больно хорош, не получалось сердиться... Осень последнее летнее тепло дожигала, горело все вокруг: деревья в городском парке, деревья на берегу Шексны, окна в домах, медные поручни у причалившего парохода, чистые, по-воскресному отмытые лица людей, лаковые туфельки на мелькавших внизу ногах Фимы, бусы, сердечки смешных сережек, фикса золотая во рту, губы как накрашенные, да не шоколадом, а чем-то поярче... Юрий смутился, не веря догадке:

— Фима, ты только не обижайся... у тебя губы-то будто краской нарисованы?

— Глупенький ты мой! — толкнула она локтем.

На этот раз ему удалось по-настоящему надуться, и он пропустил момент, как в толкотне и давке на пароходе оказался. Маленький такой пароходик, но белый и чистый. Фима завела его наверх.

— Куда мы едем? — спросил Юрий, поеживаясь под ветром в своей ситцевой рубашке.

— А на кудыкину гору...

Фима больше не насмешничала, и было ему хорошо. Скамейка маленькая, как раз на двоих, и за трубой, которая оказалась теплой, а как пароход из череповецкого горла завернул в сторону моря, ветер за спину переместился. Юрий много плавал по этому морю, но все на лодках или на прибрежных плотах, только однажды с Самусеевым на каком-то катерке — забирал у рыбаков рыбу. Но там теснота, там рыбная вонь, а здесь все как для праздника, белое. И люди другие, чистые. Неспешные. Многие закусывали, иные даже и выпивали. Пригретый сзади трубой, спереди солнышком, сбоку теплым плечом Фимы, подремывал Юрий, ни о чем не расспрашивал. Что-то ему подсказывало, что все хорошо и давно решено без него, а ему остается только посиживать да время от времени, как откроешь глаза, скусывать являвшуюся тут как тут головку конфеты — остальное Фима отправляла себе в рот. Прямо как по щучьему веленью! Жизнь такая ему нравилась. Даже и не думалось, что завтра идти на стройку, под окрики дяди Паши, а вечером бежать в школу, под нахальные насмешки — махнув рукой на свой пятый коридор, он прямо в седьмой класс записался. Боялся, документы какие потребуют, а там только и спросили: куда? В седьмой, ответил он, не раздумывая, хотя и в пятом-то всего три месяца посидел, да и когда это было?.. Думал, обман откроется, но здесь все такие собрались, кто во что горазд, а хуже всего по алгебре. Он только и знал, что буквами считают, больше ничего в голове от пятого коридора не осталось... Ну, с них пока ничего и не спрашивали — седенький, добрый такой старичок с самого начала все объяснял, хоть слушай, хоть не слушай. Юрий, не в пример другим, слов его мимо ушей не пропускал — потому и потешались над зубрилой; зубрил даже на стройке в перерывах, потому и спать постоянно тянуло... Он опять впал в сон, а его не будили, как обычно. Снилось — по головке гладили, попевали. Но, может, и ветер погудывал — на море ведь. На самой глади.

— Проспишь все царствие!

Он открыл глаза — и сразу вдали увидел:

— Церковка! Наша, гляди!

Фима едва ли видела то, что видел он. Море широкое, очертания того берега размывались солнцем. Но он-то знал: там большая, уцелевшая от затопления деревня Вереть, правее ее, поближе к Череповцу, церковь, а уж за церковью, в лесах, стоит его Избишино... Нет, Избишина не угадать, сколько ни щурься. Церковь рыбацкая — другое дело, поблескивает медным куполом. Юрий забыл и про Фиму, и про пароход — силился глазом одолеть море. Вон сколько воды нахвостало!.. Тихая погода, а волны ходили, морщили водное поле. Непаханое, несе-

яное — пустое. У Юрия руки заныли, как в предчувствии пахоты. Три месяца не держал уже плуга, думал, совсем отвык — нет, руки-то помнили, звали свое...

Но недолго длилось видение: пароход входил в заливчик какой-то речушки, к пристани. Это была первая остановка на их пути. Юрию не понравилась спешка: могли бы, раз уж так, и подальше прокатиться. Чего? А ничего, посмеивалась Фима. Она знала чего — потянула на берег. Они были единственными, кто сошел здесь. Уходя, Юрий оглянулся: на берегу, в низине, церковь забережная и вовсе скрылась из виду — ее закрыл лесистый островок.

— Где куды-гора твоя?

Фима ему не отвечала, вела за руку по едва приметной, уросшей уже тропинке — все вверх и вверх. И когда тропинка, казалось, готова была затеряться в лесных зарослях — открылась укромная, некошеная поляна, на ней дом, а дальше... Дальше просвечивало все то же море, и церковь избишинская, прямо перед глазами, даже еще ближе, чем с парохода.

— Куды-гора моя! — снисходительно сверкнула глазом веселая Фима. — А вон и твоя церквушка... помолись там за меня! Да ладно, ладно, — ладошкой смыла она с глаз его сверкнувший было гнев. — Кудыкин дом нас ожидает. Бакенщик раньше жил, теперь их чего-то сокращают...

— И на нашем берегу сократили, — вспомнил Юрий.

— Вот я и говорю, наш теперь дом.

Дом был брошен, но еще не разорен. Хозяева забрали нужные вещи, все лишнее бездумно покинули. И то сказать, куда везти этот допотопный стол, эту березовую кроватищу, этот побуревший от времени комод? Даже чугуны побросали, из чего Фима заключила:

— В Череповец удрали. Если бы в деревню какую, так барахло бы позабирали.

— Наш бакенщик так и дом в Череповец перевез, — опять вспомнил Юрий, стыдливо оглядываясь.

— Ну, тут ведь гниль одно, — на свой лад определила Фима. — Да нам-то что? На наш день хватит. Поищи-ка дров. А я пока закусон соображу.

Юрий через внутренние сени прошел во двор, и дрова, конечно, нашел. Возвращаясь, все же помедлил, прежде чем подступить к печи.

— Давай, давай, Юра, — поторопила Фима, возясь у стола. — Заячья дрожь пробирает... бр-р!..

Продрог и Юрий в своей рубашонке. В доме было холоднее, чем на улице. Извинительно вздохнув перед какими-то несуществующими хозяевами, сложил дрова в печь и затопил. В сухое время, сухими березовыми дровами — никакого ума не надо. Пламя заплясало по бересте, как живое... Оставалось последнее — воды принести.

Руки у Фимы были быстрые, так и закипело все на шестке: и чай, и каша мясная из концентрата. Фима жакетку с себя скинула, ворот прозрачной кофточки расстегнула. Юрий не смел смотреть в ту сторону, а смотреть все равно хотелось. Фима уже вымыла стол и раскинула на нем взятый в дорогу шелковый платок, белый, с густыми, темными розами; настоящих роз Юрий в жизни своей не видывал, но догадался, что это они. И прямо на цветы, на яркий шелк Фима нарезала складным ножом из своей сумки колбасы, ситного хлеба и поставила бутылку вина, золотистого, как сусло.

— Поди, сладкое?

— Как не посладиться, глупенький... День-то какой!

День за окном горел всеми осенними красками, и далеко, на том берегу моря, взблескивала медным куполом забережная церковка. Как завороженный садился Юрий за стол, на пару с этой взрослой, ловкой и умной, как он понимал, женщиной, которая все знала и все умела. Сама открыла бутылку, сама налила в прихваченные с собою рюмки. Порывисто поцеловала в губы и сказала:

— За наше кудыкино счастьице!

Не прикасаясь рюмкой к губам, легко выпила и принялась за колбасу. Юрий пить не решался — он и не пил никогда, да и вино было очень красивое, солнце залетало в него. Немудрено засмотреться!

— Да ты, гляжу, испорченный малый, — засмеялась Фима. — Вино на свет пробуешь?

Насмешка подгоняла. Вспомнив своего Самусеева, Юрий решительно опрокинул в рот рюмку и потянулся опять к бутылке.

— Погоди, глупенький, — остановила его Фима. — Это ж коньяк, поешь сначала.

Про коньяк Юрий тоже не слыхивал... Кашель его душил, и он подчерпнул той же рюмкой воды из ведра. Холодная и чистая, вода сразу успокоила. Веселый звон в ушах пошел. Он уже и сам смеялся, когда Фима тоже зачерпнула воды. Еще и похвалила:

— Пей... коньяк с ключевой водой пьют фраера! И где ты так испортился, Юра?

— У тебя, — не думая, ответил он.

У Фимы из глаз вдруг слезы пробрызнули:

— Помолчи, кудёнок! Что ты знаешь про меня?!

Он не мог взять в толк, чем разобидел Фиму. Он тронул ее руку и, как разомлевший щенок, потерся щекой, засмеялся счастливо.

Они опять пили это вино, которое называлось коньяком, и запивали ключевой водой. Становилось жарко и в доме, и на этой широкой лавке, и в душе — везде. Радужный свет плавал под потолком, радужный свет в окнах, на столе, на шелковом платке, на голых руках Фимы. Юрий уже не стеснялся ее рук и все терся, терся щекой, уплетая вкусную колбасу и вкусный, от жара печи нагревшийся хлеб.

— Плясать хочу! — вдруг тряхнул головой Юрий.

Фима с полуслова поняла его и выскочила из-за стола. И Юрий выскочил, опять вспомнив Самусеева; принялся топотать ногами по половицам, разухабисто прихлопывать руками. Его весело пошатывало, его само собой носило вокруг Фимы. Знатный пляс выходил! Но Фима нетерпеливо поморщилась:

— Фи, мой глупенький... Разве так с бабой надо?

Она крепко обхватила его правой рукой, прижала к своему, от печи, видно, разомлевшему телу и стала взад-вперед толкать, напевая:

Утомленное со-олнце
Нежно с морем проща-алось.
В этот час ты призна-алась,
Что нет любви...

Пахло от Фиминой груди березовыми углями, разварной картошкой и молоком, молоком, совсем сладким парным молоком. Ну, прямо так и кружило голову, как от заломной, счастливой еды! Юрий в изнеможении причмокивал губами, втягивал в себя парную, сытную сладость. Зубы постукивали от нетерпения, словно был он все еще голоден.

— Кудёночек ты мой несчастненький... — отняла его голову Фима. — Погоди маленько, зря-то не майся. Кровать вон нам оставили...

Ласково, терпеливо увлекала Фима его слепые руки, и они делали, чего и не понимал Юрий, — и скоро стала нарядная и красивая Фима просто голой, бесстыдной бабой...

— Куды-ыкиха!. — что-то в себе укоряя, вскричал Юрий и уткнулся от стыда куда-то ей в живот.

Фима не мешала ему выплакаться и негромко, рассудительно заговаривала-завораживала:

— Так, Юра, так, милый. Это последний, наверно, у тебя такой стыдок. Не бойся, он вместе со мной и умрет. Нарочно я тебя сюда привела, чтоб при ясном солнышке ты бабу настоящую увидел и больше ни-

чему не удивлялся. Я развратная, Юра, но не для тебя. Тебе покажу самые красные розы, а ты ликуй и запоминай. Пригодится. В общаге охальников много, не сумела бы я тебя мужскому уму научить. Там воровать надо или нахрапом брать. А здесь все по-доброму, Юра, ладненько. Так ты мне, милый сосунок, приглянулся, что нянькой твоей побыть захотелось. Покачать в своей люлечке... — и в самом деле раскачивала его, утирала последние слезинки. — Ну, покачайся, покачайся и больше не плачь. Ведь в последний разок плачешь, Юра, в распоследненький...

Но он уже не плакал. Он смотрел, как затухают на теле у Фимы радужные блики, — видно, солнце поворачивалось в другую сторону, — он привыкал к виду мягко выделанной, туго обтянутой кожи, как привыкают к женскому хромовому сапогу, и странным образом успокаивался. Фима была как Фима — женщина как женщина. Только становилась с каждой минутой красивее. Вот странность, подумалось Юрию, вначале безобразно напугала, потом брезгливо отринула от себя, а сейчас словно шелковой ленточкой притянула, чем ближе, тем краше перед ним расцветала. Но и страх в глазах у Фимы увидел, открытый страх, и какую-то пришибленную покорность. И уже по-мужски, все тому же Самусееву подражая, снисходительно и миролюбиво проговорил:

— Однако ничего, Фимушка, я тебя не обижу.

Она закрыла глаза, из которых текли и текли слезы. И он мстительно, возгордясь, подумал: «Ага, и ты!» Но дальше этого мщение его не пошло. Жалость свалила его, мужское всепрощенье. К его шестнадцати, уже полным, годам вдруг прибавилось еще шестнадцать. За несколько минут он словно прожил всю будущую жизнь, познал ее целиком, — и уже не боялся. Тайное стало явным, бессмысленное осмыслилось. Дикие березовые дрова сгорели, а угли остались, горячие, домашние, кажется, вечные, таинственно подмигивающие в житейской печи. Юрий уставился прямо в жаркий, закопченный зев. Там сходились, плавились какие-то свои миры; было страшно, жутко к ним подступиться, но уже ясно, что без них в жизни — нельзя, невозможно, немыслимо...

Нельзя так нельзя. Надо было привыкать ко всему. К этой истине его с детства приучали.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Голь на выдумки хитра: подкормили осенью деревню. С рожью перед районом прославились, с житом ославились, пускай, но трудодни дали: по восемьсот граммов! Неслыханное дело! У Самусеева больше трехсот не выходило, хотя Самусеев, как мог, изворачивался. Хитрость Дмитрия Окатова была невелика: занизил в отчетах урожайность ячменя, сослался на дожди, которые, конечно же, выдались немалые; спихнул на пожар, который, само собой, полизал хлебную скирду; были еще занесенные ранним октябрьским снегом недожинки, которые через неделю, как стаяло, и выскребли подчистую косами, почти без потерь, мокрое свезли в риги и на горячих сушилках довели до ладу — до житного каравая. За все за это с Доски почета, где и провисел-то всего месяц, его скинули и выговорок накинули. Строгий! Но как ни строжились в районе, жита, розданного по домам, отнять уже не могли. И выходило: он вытаскивал район на ржи, теперь его вытаскивали на жите. В глаза догадливые председатели поругивали, а за глаза ничего, терпели. Сами не без греха, хитрили, как могли. У одного осенним половодьем скирды унесло; но как-то неудачно — нашли, догнали и точно такой же выговор вогнали, вдобавок и без хлеба оставили. А Дмитрий Окатов мог считать себя счастливым: по молодости дешево отделался.

Они с Веруңькой на самых законных основаниях полтонны житного получили — шестьсот с лишним трудодней у них было. Почти столько же у Барбушат. Почти столько и у Самусеева с Праведницей... почти, да все-таки там пустоваты щи... Еще шестеро нахлебников, сирот самосеяных, если Юрку-большуна не считать, который, слышно, и сам уже в Череповце зарабатывал. Даже на нынешние, для других-то спасительные трудодни Праведнице с такой оравой не прокормиться. При Самусееве-то! Именно это имел в виду Дмитрий, говоря на правлении:

— Недосмотрели мы, поспешили вроде как с трудоднями.

Поначалу он так и решил: оставить немного про всякий случай. Мало ли что! Запас беды не чинит. Но Самусеев прозорливо предостерег: все, что от хлебосдачи осталось, подчистую раздавай, иначе без тебя почистят! Самусеев знал что говорил: по первому ледку и прикатил из района уполномоченный. Задача у него была одна: наскрести, хоть из пустых засеков, недостающий районный план. Он поначалу и в бумаги не смотрел, просто подобру просил: подкиньте по мере возможности, не жмитесь. Ему показывали амбары, ему давали самолично обмерять семенной фонд. Семян было засыпано немного с походцем, в расчете на разных таких мышей, но все же — семена, неприкосновенность. Посягнуть на них не мог даже уполномоченный. Потолкался в бумагах, побегал по колонкам честно расписанных цифр и понял, что опоздал. Уезжая ни с чем, только и сказал: «На этот год, может, с тебя и скостят разбазаривание ячменя, но в следующий раз... нет, на глупость свою уже не сошлешься, Окатов». Вот так: колхозные трудодни — это уже и разбазаривание, и глупость! Уехал уполномоченный, чтоб хлеб насущный обменять на председательский выговор. И обменял, как положено. Дмитрий Окатов мог быть доволен.

Но что же все-таки делать с ребятишками Самусеевыми? Сами в этой жизни посеялись, да сами пока не живут. Нет, на шестерых даже сиротского пая не выходило. Юрку Ряжина, если так, можно отбросить на свои хлеба, а остальных куда отбрасывать? Немыслимо Праведнице всех прокормить...

— Что будем делать? — в который уж раз спрашивал Дмитрий свое правление, ответа не получая.

А что? Правление — тот же Самусеев, та же Капа Лесьева, та же Василиса Горяина, та же старшая Барбушиха, Светлана. Надо было вот этим пятериком и вывозить Самосеевых-насеяных...

Но тут и Самусеев дернул страшной щекой:

— Знаете, не вашего ума дело! Мои ребятишки, моя и забота.

Прямо кровавым шнурком щека пошла. Хлопнул дверью и однокрылым ободранным вороном вымахнул на крыльцо, там что-то прокаркал.

Двое саней, цугом, выворачивали с мяксинской дороги. Казенные морды, по-казенному подвязанные хвосты. Дмитрий похолодел, предчувствуя недоброе, а пока переглядывался со своими, в сенях загремело. Входили гости, не обметая валенок, властно. Передом давний знакомый — Титов, из бывшей чехвостовской команды, но уже не с чехвостовским клеенчатым портфеликом — с кожаной, скрипучей командирской сумкой. И одежда на Титове поскрипывала, словно была перепоясана ремнями, хотя ремней никаких не виделось. Черный нагольный полушубок, черные чесанки, черная каракулевая шапка — вот и все.

— Семена будем забирать. В счет плана, — без обиняков объяснил он.

— Какие-ие семена, како-ой план?.. — вскочил перед ним, загораживая председательский стол, Дмитрий Окатов, наивным петушком взмыл.

— Недоданный план, — терпеливо-убийственно пояснил Титов, хотя мог бы и не объяснять: все и так ясно.

— Не дам! Не допущу в амбары!

— Что-о?.. — недобро отступил от стола Титов, оглядываясь на дверь: весенний неудачный наезд — с растяпой Чехвостовым во главе — его тоже чему-то научил

В дверь два штыка просунулись, предупредительно пырнули пустоту засиженной мухами конторы...

Но вслед за возчиками-милиционерами вошел Самусеев и весело, даже слишком весело, поддержал:

— Вот это я понимаю, это правильно! Семена заимообразно берут, ведь так? Так, Титов, и не спорь. Сам отдавал и сам по весне обратно брал. Как район выполнит план и отчитается сполна — весной пришлют и семена. Не оставят же без посева! Здесь решение честное. Расписку в районе заготовили? — по-свойски Титову кивнул. — Или здесь будем составлять? Сколько велено взять?

— Пятьсот кэгэ, — обрадовавшись поддержке, сказал Титов. — Но расписки мне никакой не дали.

— Когда давать! — брал разговор в свою руку Самусеев. — С области хвосты накрутили — в районе как на пожаре. В пять минут собраться — и айда по колхозам!

— Ну, все-таки полчаса на сборы ушло, — уточнил добродушно Титов, видя, что хлеб заберет без ругани и без драки.

— Все равно, когда было расписки писать... Давай, Окатов, бумагу. Пиши, Титов, — рукой подвинул листок, а ногой подпихнул стул. — Тут две минуты и дела-то. Мы, уполномоченные по хлебозаготовкам, тэтэ Титов... и те двое... подтверждаем, что семена общим весом в пятьсот кэгэ сданы в счет недостающего районного плана, в чем и расписываемся в присутствии членов правления колхоза «Свободный труд». Подписи: Титов, Окатов, Самусеев. Ну и гаврики твои. Подходите, не канительтесь.

В две минуты бумага была готова. И Самусеев так же весело напомнил:

— Окатов! Титов! Шлепайте печати да поедемте вешать.

Дмитрий Окатов, порывшись в столе, пришлепнул печатку, и Титов, погремев будто железом набитой сумкой, свою печать подшлепнул, побольше колхозной, гербовую.

— Погодите... Надо такую же бумагу и Титову. Ему же спокойнее. Пиши теперь ты, Окатов.

— Да, пиши, — удовлетворенно потребовал Титов.

И вторую бумагу тем же порядком подписали и двумя печатями запечатали. Титов спрятал ее в портфель.

— Теперь пойдемте в амбары, некогда людям рассиживаться, — поторопил Самусеев.

— Да, некогда, — вспомнил, видно, районные наказы и Титов.

Через полчаса, едва прикормив лошадей, обоз выворачивал уже на районную дорогу. Самусеев сквозь двойные рамы махал рукой и, неслышимый, кричал:

— Скатертью дорога, штукари безмозглые!

— Чего ты радуешься, Федор Иванович? Чего не в свое дело встреваешь? — опомнившись, накинулся на него Дмитрий.

— А того, ты тоже безмозглый... На этот раз кулаками было не отбиться. Все равно забрали бы семена, раз плана нет. И поминай как звали! До весны от такой хорошей жизни десять раз начальство поменяется — ищи свищи! Но акт, который у тебя остался, хорош при любом начальстве. Но второй, который Титов по глупости увез с собой, тоже непременно пришьют к делу. Значит, те же семена! Вдобавок и без всякой председательской утруски...

Вспомнив свое прошлое позорище, Самусеев тут же вышел из конторы и, видно было через окно, побрел к себе домой. Серый, однокрылый, ощипанный ворон...

Вослед пожалела его Василиса Власьевна:

— О-ох, Федор, Федор... Кабы не вино, цены бы тебе не было. Чует моя душа, оборонил нас от какой-то беды неминучей... Но как его-то, с семью сиротками, оборонить?

— С шестью, — не принял излишней жалости Дмитрий, по крайней мере к сбежавшему Юрию Ряжину.

— Пускай и с шестерыми. Но как?..

Василиса Власьевна вышла из конторы, но вскоре вернулась с мешком, в котором что-то перетрухивалось.

— Зря ты взад-вперед носишься, старенькая, — досадливо отвернулся Дмитрий. — Нечего из пустого в порожнее пересыпать. Расходитесь.

— Как расходиться? Как нечего?.. Я вот кружку, да ты, ежели, кружечку, да другой, да третий, и на сирот трудодени наберутся.

Дмитрий вскочил, заглянул в мешок: там на расплескавшемся по всему мешку одонье перекатывалась мерная литровая кружка, по которой молоко сдавали. Понял, что замыслила старая! Дмитрий только минуту какую и колебался, а потом схватил за горловину мешок:

— Пошли.

Но Василиса Власьевна и тут его поправила:

— Тебе-то, Митя, не след ввязываться. Все-таки председатель. Мне сподручнее, я таковская. Барбушат вон, ежели, в помощницы...

— Мы в побирушки не пойдем! — сразу же отвергла предложение Светлана. — И сами не дадим. Нечего — бог подаст!

Василиса Власьевна ничего в ответ не сказала, взяла мешок и пошла в конец деревни. К ней молча пристала Капа.

Дмитрий думал, заест стыд старшую Барбушиху, а она как ни в чем не бывало крутит юбкой! Мы, мол, две сестрицы-горлицы, и так не помрем, а вы как хотите, хоть и помирайте. Бог подаст!

Наткнувшись на такую жадность, Дмитрий недобро турнул:

— Уходи, не барбуши. Ваши кружки я сам досыплю.

Он закрыл на ключ контору и, не слушая, что кричит на крыльце Светлана, отправился домой. Видно было, как на дальнем конце деревни тащатся две серые тени — Василиса Власьевна и Капа. Вот к ним еще кто-то пристал, еще... Обрастают тени попутчиками, подвигаются сюда, к центру деревни. Уже и голоса доносило. Наверно, и кричали, наверно, и судачили. Но мешок потихоньку наполнялся. Уже на дровушки поставили, чтобы не таскать за плечами. Так оно и приличнее. А то и в самом деле — нищенки-попрошайки! Ближе, ближе дровушки. Завидев, заслышав, выбегают люди с решетами и лукошками — как и весной, когда семена собирали. Но сейчас и поменьше, и поспокойнее. Отмеряют молочной кружкой свои добровольные трудодни. Скрипят дровушки уже на той стороне конторы, скоро и на ихнем конце объявятся... Дмитрий не хотел мозолить глаза, домой припустил.

И кто только эти новости разносит? Вдоль деревни не успели пробежать, а уже все знают. Напирая на лукошко животом, стояла в своем заулке Верунька, поджидала.

— Чего мерзнуть? Зайдут, — подтолкнул ее к дверям.

— Да нет уж, лучше я сама.

— Лучше так лучше... Вон Барбушата-то!

Они как ни в чем не бывало мимо проходили, в их сторону не смотрели, посмеивались. Уж такое веселье, что Дмитрий сплюнул вслед, а Вера сказала:

— Пускай их побахвалятся, отсыплю за них. Это ты, Митя, хорошо придумал.

— Да не я — Власьевна! Мне чего-то стыдно было...

— Да и мне, Митя... Нам-то полдела, мы-то втроем.

— Вчетвером уже, кажется... Может, за Дудочкой послать?

— Без Дудочки управимся, не лезь ты в наши дела, Митя. Отдохни лучше, посерел за эти дни...

Скрип дровушек уже к калитке приближался, и Дмитрий убрался в дом. Пожалуй, без него разберутся. Им поговорить — не переговорить. Толкутся и толкутся возле Веруньки, никак дальше не пройдут.

Дмитрий разделся, на лавке полежал, прежде чем вернулась с пустым лукошком разгоряченная разговорами Верунька.

— Все собранное сюда привезут. Ты уж к Самусеевым сам ступай. Знаешь, какой он...

— Ладно, давай обедать.

Пообедали по-зимнему, не спеша. Дмитрий успел еще и с Климушкой на лавке повозиться. Тот рад случаю, всего ногами излупил. Сам с колено, а силенки уже с полено здоровущее — больно, шельмец, бьет. Пятки как задубелые, с лета еще не отошли, да и сейчас в избе все больше босиком, в валенки не залезает.

Тут и Василиса Власьевна возвернулась.

— Под завязку, Митя, под самую.

Он выглянул в окно: мешок стоял на дровушках, как медведь, а перед ним Капа поплясывала.

— Чего ей мерзнуть, не украдут.

— Не украдут, знамо. Да нам-то надо поскорее с этим делом разделаться. Давай, Митя.

Он уже оделся, когда вспомнил:

— Погоди, старенькая, я ведомость, ежели так, составлю...

Не говоря больше ничего удивленной Василисе Власьевне, он вырвал из председательской, всегда хранившейся в столе тетради чистый листок, разгладил его и написал:

«По распоряжению Правления колхоза «Свободный труд» выдано дополнительно на трудодни следующим трудящимся колхозникам:

Ряжину В. К. — 15 кг

Ряжину А. К. — 12 кг

Гесю Ю. Ф. — 15 кг.

Самусеевой Д. Ф. — 10 кг».

— Так, примерно, старенькая?

— Так, а может, и побольше того. Только чего ж ты Юрасю-то Гесю Самусеево отчество поставил?

— Да кто ж его, настоящее-то, знает! Он и сам-то, этот беженский карась, понятия не имеет, а у мамки его, у Марыси, мы уже не спросим... Чего зря молоть, пошли.

Дмитрий хотел впрячься в дровушки, но застоявшаяся на холоде Капа сама припустила. Без слов добежала до заулка Самусеевых. Тут Дмитрий немного отдышался и, не скрывая своей робости, сказал:

— Давайте вместе, пошумнее.

Они ввалились, как на святки, с громким топотом, с голосами:

— Венька, подходи трудодни получать. За картошку!

— Юрась-карась, гляди, копнил да жито возил!

— Санька овец гонял да тоже трудодень потерял!

— Домнушка под копешкой лежала, трудодёжки держала...

— Кто грамотный — ставь подпись, кто неграмотный — пальцы в чернила макай!..

Такая поднялась канцелярия, что и Самусеев на печи завозился. Но пока он простуженно кашлял, пока соображал, что к чему, пока однoруко слезал по приступкам, Венька с Юраськой как самые грамотные, да еще польщенные похвалой, уже свои фамилии в ведомости намахали. Санька дугу вместо имени выгнул, а Домнушка, попискивая, с удовольствием обмакнула палец в чернила и приложила к бумаге. Прямо загляденье!

— Что, что?.. — запыхтел было Самусеев, отваливаясь от печи, но Дмитрий крикнул: «Трудодни», — и выскочил на крыльцо. А за ним и Капа с Василисой Власьевной. Еле догнала Праведница, босая.

— Спасибо вам, — низко поклонилась она растрепанной, седеющей головой. — Пусть Федор Иванович пошумит, а я ничего, понимаю. Спасибо, люди добрые, всем передайте спасибочки...

От этих поклонов Дмитрий рысью припустил. Не отставали от него и женщины. Слышно было, в самом деле шумел Самусеев.

Как после дознались, шум все-таки добром не покончился. С мешком Тонька-Праведница упредила муженька, не дала ветром по снегу пустить, как того он хотел, а с Барбушатами просмотрела. Корову как раз во хлеву доила, далеко была, за тремя дверями, да будь их десять, услышала бы родимый голосок, на самых высоких перепадах переходивший в какой-то волчий вой. Так и не сдоив корову, бросилась на крыльцо, а там Самусеев, однорукий, но неукротимый в ярости, как раз жито Светлане, зажатой ногами, за ворот ссыпал. Ия уже с визгом летела к калитке, следом полетело-закружилось, рассевая по снегу остатки жита, ненавистное решето, а вслед за решетом, тоже дыряво осевая снег, выкатилась из-под самусеевских ног распахтанная Светлана, с ревом кинулась по проулку... и наскочила, дослепа перепуганная, на колья тына. Думали поначалу, совсем упоролась. Самусеев, тот и не обернулся, домой ушел и на печь, видно, обратно залез, а Дмитрий с Ией под руки потащили орущую страдалицу. И где тащились, снег осевался вперемешку зерном и кровицей. Пока нагрели самоварной воды да пока разобрались, от криков на подворье Барбушат вся деревня собралась. Как успокоили и отмыли кровь, жаднющий Барбушин глаз нерушимо глянул на собравшихся, но уж щека, щека!.. Кол попался какой-то сучкастый, половину снес, что медвежьей лапой. Не знали, как быть, не везти ли в район? Но прибежавший вслед за Капой Павлуша отмахнулся:

— Подтесало маленько щеку, гляди, и покрасивше будет. Давай я тебе, толстомясая, и другую топориком подчищу. Как осинку, к примеру. А то распустила мешки по ушам! Теперь мода на сухопарых, гляди!

Павлушу Лесьева вытолкали вместе с его советами, покричали еще, по очереди позыркали в оживший Барбушин глаз и разошлись, разумно порешив, что с лица воду не пить. Неделю Светлана не вылезала из дома, другую неделю повязку на щеке носила, словно зубы у нее болели, а как открылась — верно, красивше с этой стороны стала.

Не заметил Федор, опять худые времена для него настали: все у Праведницы высохлось и выдохлось, ничего в пыльных загашниках не осталось. Поглядывал Федор через оконце на мяксинскую дорогу, протезную руку свою примеривал, и это предвещало поход за пенсией, двухдневный, как положено. По зимнему времени дорога через море легкая; если встать пораньше, к обеду до Мяксы добежишь, а пообедать уже с пенсии можешь — в чайной, в окружении всех российских фронтов, в геройском перезвоне всех кровавых орденов и медалей, в поминальных слезах всех оставшихся в живых. Хоть и много полегло друзей-товарищей — от морей студеных до морей жарких, — но много все же и домой возвернулось, пускай без рук, без ног, лишь с фронтовой памятливой душой. Чтил память Самусеев, крепко чтил — так крепко, что на санях из Мяксы привозили. Просилась вослед и Праведница, но Дмитрий по-председательски воспретил: нет и нетуньки! Работать надо, не по морям шататься.

Воспрещенье было на руку Самусееву, он потихоньку ждал урочного дня. Теперь этот день подошел к завтрашнему утру. Самусеев топил сушильную каменку в риге, где бабы трепали лен, и терпеливо сносил насмешки Барбушат. Дмитрий, заявившись в ригу, увидел: последним терпением исходит страдалец. Он подкинул дров в каменку, чтоб теплее работалось женщинам, и увлек Самусеева в запечный закуток — там была толсто настлана солома, поверх брошено старое ватное одеяло. Тихо. Уютно.

— Федор Иванович, твоему Юрасю пришло какое-то письмо из Белоруссии... Меня насторожила фамилия обратная — Гесь.

Вздрогнуло обрубленное плечо — Самусеев недоверчиво посмотрел на своего молодого преемника. Что-то хотел возразить, но безнадежно махнул пустым рукавом:

— Давай.

Поколебавшись, Дмитрий достал из кармана письмо, адресованное самому Юрасю, подраставшему со своей странной белорусской фамилией. Но что тут поделаешь? Федор для Юрася — более чем отец, истинный поилец и кормилец; Юрась для Федора — более чем сын, живая память о Марысе, ее разгоравшаяся кровь. Их не разорвать, не разъеди-

иить, чужого отца и чужого сына. Срослись на имени Марыси, как две покореженные деревины: каждая в одиночку не стоит, падает, а вместе-то держатся, на каком-то незримом, едином корню. Самусеев зашатался лишь после смерти Марыси — до этого всю войну одноруко, но крепко держался за жизнь; сын ее белорусский, в душе не принимавший отчима, только со смертью матери и осознал, чем был для него этот хмурый, как бы навсегда подстреленный человек. На том, по-взрослому не сговариваясь, они и сошлись. Но какая взрослость, если уж всерьез? На год моложе Юрки-большуна и на год только старше Веньки-серединочки — по пятнадцатому году, значит. Конечно, уже боронит и сено возит, этим летом на парах и за плуг вставал, конечно, уже давно пошумливает по-мужски, но ведь дитя горькое! Да и кость не ряжинская, тонкая — Веньке в силе уступает, скоро и Саньке под локотки попадет... Решай, Самусеев, смотри, Самусеев, чего там позвала его Белоруссия!

Самусеев давно уже прочитал коротенькое письмо и сидел, глубоко задумавшись. Дмитрий не тревожил его. Может, нарочно в теплое запечье утащил: спокойнее горькую весть принимать. А что она горькая, Дмитрий почему-то и не сомневался.

— Я давно, с самой войны, ждал этого письма, — наконец поворошился Самусеев. — Все думаю: не может быть, чтобы у Юрася никого родных не осталось! Ведь как после пожара друг дружку ищут, друг дружку скликают: ау, сын!.. ау, брат!.. ау, отец!.. Только все же обидно: где ж они до сих-то пор были?..

— Отец?.. — догадливо подсказал Дмитрий.

— Какой отец! Тетка, видать! — взорвался Самусеев и кинул письмо в огонь.

Немногие густо-черные, какие-то траурные строчки мгновенно слизнуло огнем. Как и не бывало.

— Может, нехорошо, Федор Иванович?..

— Сам знаю, что нехорошо!

Говорить с ним — все равно что по горящему чурбаку кочергой стучать. Дмитрий молчал, не хотел перепалки. Но все-таки громковато разговаривали: женщины стали заглядывать в закуток. Может, и погреться тоже захотелось — зима. Дмитрий поднялся с подстилки и вздохнул:

— Чувствую, Федор Иванович, что пойдешь ты завтра за пенсией... Так не бери уж Антонину свою, возьми лучше Юрася.

— Сам знаю, кого брать! — порскнул все теми же горячими искрами Самусеев.

И того довольно. Теперь уж Дмитрий уверился, что Праведница останется на работе, Федор потащится с Юрасем, без соглядатайки. Главное, чтоб не один, чтоб не замерз. Дмитрий по-стариковски покачал головой, встретив в воротах риги Праведницу:

— Тебя же сена́ возить занаряжали?

— Сена́, Димитрий Климович. Да уж мы и покончили. Думаю, бабам подсобить надо.

Известно, совестливая работница, лежать на печке не будет, коль остальные лен треплют. За лен обещают хорошие деньги, и лен удался такой, что загляденье, первым сортом пойдет! Утешал себя Дмитрий хорошим заработком, но видел, что не только ради льна притащилась усталая Праведница — за Федора беспокоится, сегодня под вечер не удрал бы. Случалось с ним и такое... Но то по летнему времени — какого-то по зимнему?

Захлестывали Дмитрия Окатова, уже поднаторевшего председателя, совсем не председательские дела. По справедливости не о Самусееве — о льне надо думать. Самусееву — самому себя спасать; льну-долгуицу — спасать эту полураздетую деревню, этих не отогревшихся еще с войны людей, стало быть, опять же и Самусеева со всем его самосеевым семейством. Лен, он покрепче даже мужика; он в запустелые избы живые денежки принесет. Чуял Дмитрий: не случайно на него цену

повышают. Кто не дурак, поймет. Сеяли они с усмешкой, для плана; теребили с тяжелым и великим недоумением, для всеобщего загада, а треплют вот уже со скрытой надеждой. Что-то будет, что-то сбудется! Довольно ведь и трестой чернющей сдать — покроют план; но прослышал Дмитрий в Череповце, что лучше все же готовым волокном, разумеется, с весовой скидкой на обработку и доплатой за сортность. Вот и выходит: кострицу возить в Мяксу не надо, можно отправить зимним обозом легкое, обтрепанное волокно, а обратно денежки кассовые привезти. Пуста была колхозная касса, пуста... С чего ей быть, с какого такого навару? Знать, вовремя учуял Дмитрий, что дело идет к деньгам, к круговому обороту. Без денег не поднять колхоз, а без колхоза и такие возгордившиеся города, как Череповец, с голодухи задохнутся. Станут никому не нужными побирушками. Станут!

Было Дмитрию Окатову, молодому, настырному председателю, как видение, как добрый знак: жирная, унавоженная полоска гербовой бумаги. Одна, другая, да ежели в сотню, в тысячу соток, — уже доброе, урожайное поле избишинское. Не на худых лошадиных хребтах, не на залатанных довоенных тракторах — на этих вот шелестящих бумажках, что на коврах-самолетах, полетят по всему послевоенному Заберезью! Он вытащил из нагрудного кармана одну такую, за волка вырученную; наскочил седой волчище на ружье возле овчарни, прошелестел словно и не шкурой — новой деньгой, и на такую хорошую мысль навел председателя... Отсюда и прицелка на лен, отсюда и стук трепал в колхозной риге. Со всех полевых сараюшек стащили в единое место. Через неделю-другую можно пускать обоз в Череповец. С районными властями он уже договорился; не очень охотно, ведь в Череповце уже другой район, но согласились: ладно, вези, не забудь только оформить в счет мяксинского плана. Дмитрий обещал не дать маху. С обозом сам поедет, никому не доверит.

Жуликоватый ему попался приемщик, знакомый: Матвей Макарович, бакенщик бывший. Успел устроиться в Череповце и на складах обжиться. Строгости — неимоверной! А кого же и построжить, как не землячков нечесаных, заспанно нагрянувших прямо-таки партизанским, неплановым обозом? Матвей Макарович, словно не узнавая землячков, да и самого-то выскочку-председателя, знай хмурился сурово. Нет и нет. Не положено. С чего приперлись? С какой такой стати? Из чужого-то района, зимогоры несчастные! Он ведал нечто такое, что Дмитрию Окатову и не ведалось; он простой истины держался: раз уж дорожного киселя похлебали — обратно ленок не повезут, за спасибочко возьмут любую бросовую цену. И особо не церемонился, не считал нужным — лен-то уже все равно был у него на складе, хоть и увязанный в возах, хоть и денег строптивый председатель за него еще не получал. А мог бы тем же вечером получить, мог! Кони у них были хорошо покормлены, засветло добрались. Взвесить возы, сдать-принять — полчаса хватило бы. Иди с квитанцией в банк и забирай денежки. Наличные на первых порах разрешили, чтоб расшевелить пошехонцев! Но знал это только сам приемщик, а председатели за милость считали. Благодарствуем, дорогой Матвей Макарович, дай тебе бог здоровьица! Когда уж тут на сорта смотреть?.. А разница между высшим и низшим такова, что половину цены съедает. Пересортица — живой хлеб приемщика, можно сказать, его законный. При виде такого чистого, длинного, сухого волокна, выделанного как по заказу, приемщик не решался, конечно, на низший сорт — тоже ведь совесть! — но уж второй сортишко, другой долгунишко... это по-нашенски, это даже по-божески. Так не без гордости за свою безмерную щедрость думал Матвей Макарович, упреждающе помахивая рукой перед носом председателя. В конце концов и у заготовителей должен быть навар, иначе какого рожна торчать в этих сквозняками продуваемых воротах? Благодетелем себя чувствовал Мат-

вей Макарович, спасителем оголодалой деревенщины. Со всей округи тянулись, просили за ради христа: «Прими-и, душа твоя ангельская!» И он принимал, все больше третьим, конечно, да низшим сортом, а уж высшим-то — никогда. Впервые за все время, благодушно улыбнувшись, предложил: ладно, раз уж я такой добрый, вали по второму... молодой, да ранний выкормыш Самусеева!

А выкормыш этот, по крови Окатов, с полуслова отрезал:

— Высший сорт.

Не первый даже. Под гребенку загребал. Ну да и Матвей Макарович нагляделся за свою жизнь на таких прытких! Тоже не дал себе труда базарить.

— Раз несогласные, выводи подводы. Склад запирать пора.

Дмитрий долгую минуту колебался, а Матвей Макарович знал, чего стоила ему эта минута, но услышал неожиданное:

— Выводи возы!

Лошади были уже рассупонены, разнузданы, они не понимали, почему их отрывают от такого важного лошадиного дела — кормежки, пятились из распахтанных хомутов, стучали ногами по деревянному настилу. А возчиками взял ребятишек, потому как брать в извоз, отрывать от дела женщин, тем более работных, Дмитрий не хотел — полеживать на возах могут и Венька да Юрашка, да их мокроносые ровесники. Был прихвачен с собой запас заверток, супоней, веревок. С песнями ехали, считай, без приключений, лишь на одном тяжелом раскате пришлось слезть с возов. Приключения начались здесь и как-то круто, без дальних разговоров. Может, Дмитрий и некстати отрезал приемщику, да уж так: уперся, и все. Выводи возы!

Полозья саней уже прикипели к настилу, не сходили обратно, а силенок у помощников — что у барашков. Пришлось выпрячь одну лошадь и парой, на дополнительных постромках, выводить со склада. Целый час провозились, выпрягая-подпрягая, пока вывели на снег все шесть возов. И весь этот час приемщик посиживал в дальнем углу, в утепленной и застекленной будке, у самовара, чаек не спеша попивал, сквозь закрытые стекла посматривал на возню крикливых избишинских малолеток, которые натужно возились в холодных, сквозных воротах. Шубу снял, ворот гимнастерки расстегнул — жарко! Дмитрий за последним возом крепко прихлопнул воротницу.

А дальше куда? Он плохо знал город, да и не к кому было стучаться. Потянулись унылым цугом по улицам, уже вечерним и морозным, без песен дорожных, без смешков. Добро бы сами, так ведь и лошади на морозе.

Все же нашли место. На большой и, кажется, главной городской площади. Составили возы кружком, через узкий проход завели внутрь лошадей, прикрыли дерюжками и даже добрые повесмы льна распушили на спинах. Сняли хомуты и седелки, щедро дали клеверку. Лошадь не должна голодать и мерзнуть. Ей в обратный путь надо. Только вот порожняком или с полным обозом?.. Расплевавшись так круто с землячком-приемщиком, Дмитрий сейчас уже вроде как и жалел лошадей... да и ребятишек мокроносых... Конечно, одевали в извоз что потеплее, но какая одежонка? Под шубейками старыми у кого рубаха, у кого и дырявая — заплясали скоро ребятишки, сгрудились к лошадям. Не было у них такой лохматой шкуры и такого жирного клеверку — как ни вертела, как ни приучала ко всему лошадиному война, а выморить человеческое не могла. Тепла просили их души, подушек, горячих щей. Хлеб на морозе закалянел, картоха на зубах стучала — околевали ребятишки.

Дело подвигалось к полуночи. Лошади наелись и подремывали в своем льняном закутке; спины их, поверх дерюжек покрытые мятым ленком, серебрились. Как ни холодно, заночуют. А ребятишки явно замерзали. Дмитрий еще плотнее сбил их в кучу, накинул на всех единый свой тулупчик и тоже с боков обложил повесмами льна — пришлось по-

требушить один воз. Но малолетние возчики были глупее лошадей, все время возились, прилаживались спинами друг к дружке, сбивали ненадежное утепление. Дмитрий не знал, что и делать. Чтоб не замерзли во сне, звал постоянно:

— Венюшка, жив? Юрашка, живчик?..

Они попискивали зимними воробушками:

— Жив-чив-чив... жи-ивы...

Костра не разожгешь — лен вокруг; курить и то Дмитрий выбрался наружу, на золкий ветер, ходил подальше от возов. А по-настоящему, так и не залезать бы в круг: шпаны много разной таскалось — и с папиросами, и со спичками, и с самыми дурными мыслями. Прямой разбойничий город! Темно, морозно, ветрено, а они шастают по улицам, горланят, недогляди, привалятся к возам со всем своим пьяным куражом. Дмитрий стащил со своего воза прихваченное в дорогу и подоткнутое под веревки ружье, и как раз вовремя: большая компания подвалила, полезла на возы, загалдела:

— Вот это будет костеро-ок!..

— Погреем неумытую пошехонь!

— Шла ов-чя от Рыбин-чя до Черепов-чя, от Черепов-чя до вин-чя, гляди!..

Сквозь просветы между возами Дмитрий разглядел, что уже дергают возы, спички чиркают и вино разливают. Лихой народ, и время лихое! Ветер пока гасит спички, да долго ли до греха... Как саранчи поналетело, горланят, вино прямо из бутылок в глотки заливают, не теряются. Но и ему терять было нечего, вскочил на воз и, с высоты недосягаемый, бабахнул над головами. Рассыпались на стороны, расчертыхались, кого-то из своих в суматохе смяли, поотдалились, но ненадолго; народ тертый, опять прут, с другой уже стороны заходят. А патроны у Дмитрия в мешке на первом возу — на зверей ведь брал ружье, не на людей. От выстрела и от страха ребятишки повскакали, задубелыми, захрипшими голосами завели, как волчата:

— У-у-у... гу-гу-у!..

Со стороны было, наверно, жутковато. Да и Дмитрий еще поддал паники:

— Хватит вам дрыхнуть, мужики! Венька, тоже бери ружье, Юрка, бери, все берите! Бейте по ногам... а нет, так и по головам волчьим!..

Городская стая отступила перед засевшими за возами. Туда, туда, к черным домам, к заборам. И уже оттуда грозила:

— Э-э, потише, ов-чя из Черепов-чя!..

— Потише, потише, Опалубка. Потише и ты, Глиномялка,— поддержали вдруг Дмитрия со стороны и тяжело, хлестко простучали вроде как автоматом. — Сейчас наряд вызову. Лед на реке всю ночь будете долбать, проруби позамерзали, воду негде брать, а вы как раз кстати. Эй, Гвоздодер, вижу и тебя, давай-ко сюда со своими архаровцами!

Какое давай — рванули так, что только заборы затрещали. Наверно, это был милиционер, но формы не видно, в длиннющем тулупе и, в самом деле, с автоматом наперевес.

— Кто такие? — неспешно поинтересовался, тыкая дулом промеж возов.

— Избишинцы, «Свободный труд», — обрадовался Дмитрий. — Лен не приняли, ждем утра вот...

— Нашли где ждать! Тут кругом вербованные, расконвоированные разные, народ отпетый... хоть пулеметы на них ставь! Стрелять, однако, нечего, я недалеко, если что, дак крикни.

И ушел голос, пропал где-то на другом конце площади, возле высоко отсвечивающих домов — там и в поздний час огоньки помаргивали.

Это ночное нашествие окончательно подняло ребят, и они, стуча зубешками, спрашивали:

— Дя-дядько Димитрий... утро-то скоро ли?

Дмитрий пожалел, что не отправил с милиционером ребят куда-ни-

будь в тепло — нашлось бы, не тайга же дремучая. Но тут его совсем другим, теплым, даже горячим голосом окликнули:

— Димитрий Климович?.. А я-то думаю — кто тут из ружей палит! Вроде, думаю, знакомая тулочка.

Юрка Ряжин сквозь возы лез, прямо на руки опешивших братанов. Венька не удержался и свалил большуна на Юрася, тоже вскочившего навстречу.

— Да сколько же вас здесь?

— Да сколько лошадей, не знаешь разве? — с проснувшейся на холоде неприязнью резанул Дмитрий.

Темновато, но луна временами пробивалась, отражала городское, отчужденное обличье избишинского беглеца. Был он в довольно хорошем бобриковом пальтишке, шарфе, и только шапка серенькая, солдатская. К тому же с портфелем под мышкой, как уполномоченный какой-нибудь. Переминался с ноги на ногу. Заскочить-то к своим заскочил, а пыл уже сбился, клонит глаза. Все же Дмитрий ехидно заметил, что не забыл еще, каково возчикам ночевать на морозе,— по-школярски опустил портфель к ногам и заохал:

— Ой вы, оюшки, как же вы тут?.. Я из школы бегу, и то позамерз... Знаешь что, Димитрий Климович: давай я ребятишек в общежитие заберу?

Виноватый и просительный голос немного смягчил Дмитрия. Да и выбирать не приходилось:

— Ладно, но какая школа, какое общежитие?

— Общежитие-то так себе, тугонькое, а школа ничего, вечерняя. Худо, что на работу к восьми... Чего ждать? Побежали. Поспим сколько, хоть и на полу.

Начав просительно и виновато, Юрий быстро взял дело в свои руки — портфель Веньке сунул, сам на ту сторону возов перелез и по одному перекидал на дорогу ребятишек. У них визг, у них восторг — ну-ка, в городское общежитие! Даже спроситься у председателя позабыли. Но он скрепил сердце, наказал только:

— Ты их не растеряй, ты их пораньше приводи.

— Мне и самому позже нельзя — говорю же, к восьми на работу,— уже издали донеслась ряжинская заносчивость.

Бог с ним, пускай заносится. Дмитрий не смотрел вслед, знал, что ребят-то не потеряет. Он завернулся в тулуп, которым до этого обогревал своих возчиков, и попытался заснуть — шпана ожглась на ружье и больше не подходила. Колхозного тулупа, единственного на всю деревню, одному-то с руками и ногами хватало. Дмитрий мысленно поблагодарил за высокий рост Самусеева — на себя из выбракованных овчин кроил, на свою череповецкую версту. Сейчас достало и новому председателю, и лошадиным мордам, которые потянулись к нему. Так, общим дыхом и согревались. Небо к утру вызвездило, мороз нажимал, но уже притерпелись. Хоть человеку, хоть лошади — много ли надо? Сунулись носами под овчину, прямо за пазуху, и довольны, перебирают губами. Пить хотят, а к проруби не поведешь и сам из проруби не напьешься — терпи. И ведь понимают, терпят! Дмитрий гладил сухие лошадиные носы и согревался от их заиндевелого тепла. Утро, утро подвигалось по звездному небу. И по земле погромыхивало. Земля под снегом, а словно колеса по колкам катят, тяжелые, многотонные. В той стороне, где ему вчера показывали строящийся завод, что-то глубинно, гулко заухало. В тяжелых морозных рассветах вспыхнули кострища, много костров — они, казалось, само небо подсвечивали. Дмитрий несколько раз спрашивал дорогу, и надо ему было, оказывается, мимо. Он посмотрел в ту сторону, но ничего, кроме куч мерзлой, вывороченной земли, не заметил; там копошились люди, машины, лошади, тачки, трактора, да все это в землю улезало, словно пряталось от холода. Завод, который увел пахаря Юрку Ряжина и, не сомневался Дмитрий, уведет еще многих других, копился и нарастал где-то в глуби, как невидимая, необхватная грибница. То-то грибков выпрет по теплому лету!

Дмитрию и вчера было не до шуток при виде бесполезно вздыбленного, распотрошенного закрайка Череповца, а сегодня страх хуже ночной шпаны пробрал, жаркий и потный: что-то будет, что-то будет!.. Плевать бы ему на этот завод, которого еще и в помине-то не было, а его уже жаром каких-то невидимых плавилен обдавало. Слышал он, догадывался: с десяток таких, как ныне, Череповцов тут будет! Это и представить невозможно. Где возьмут людишек, где напекут народишку? Ночная шантрапа была не местной выпечки, уж ясно, но без местных-то все равно не обойтись. А они — та же Мякса, та же береговая, рыбацкая Вереть... и то же забережное, пахотное Избишино, сохрани его и помилуй, как сказала бы мать! Но и Дмитрий, иконы в углу никогда не замечавший, исступленно повторил — почти теми же словами: «Избави бог, мы все-таки далековато!»

Грохот проснувшейся, невидимой за морозной мглой стройки, звон каких-то побудку бьющих колоколов, рев недалеких машин, замелькавшие по городу огни, затарахтевшие грузовики, как из-под земли везде возникающие, куда-то бегущие люди, голоса, дымы, громы, перекличка, морозная матерщина, скрип бесчисленных толп, какая-то не вовремя очнувшаяся частушка, что-то женское визгливое, какой-то подземный и надземный гуд — все это не только лошадей по замкнутому кругу погнало, но и вчерашнего ненавистника-приемщика пригнало. Да, да, Матвея Макаровича! Прямо мордой удивленной промеж возов:

— Здесь, однако, зимогор?.. Запрягай! По высшему сорту приму.

Дмитрий видел, что это приемщик, понимал, что он панически спешит... и сам поэтому никуда не спешил. Он раскурил еще с вечера, в тепле накрученную цигарку и зевнул:

— Э-э, куда нам? Примешь и в обед, успеется. Я вон и ребятишек ночевать спровадил.

Верно, не нашел ребятишек приемщик, как ни крутил головой между возами, и совсем запаниковал:

— Так сами давай запрягать! Я помогу.

— Помочь-то ты поможешь,— еще шире зевнул Дмитрий,— запрячь-то мы и вдвоем запряжем, но с шестью-то подводами на городских улицах управимся?

— Не управиться, верно...— как-то обреченно поник приемщик.— Но место больно уж худо!

— Место нехорошо, даже костра не разожгешь, да что делать? Принимай тогда тут да сам перевози.

Сказал Дмитрий так просто от холодной дрожи, а приемщик и ухватился:

— А ведь верно, парень! Квитанции да и печать — всегда примнёхоньки!

— А весы? Тоже по карманам таскаешь? — ехидно подсказал Дмитрий.

— Весы! Неуж думаешь, что я хоть на десяток килограммов ошибусь? Глаз наметанный.

— Ве-ерно... Но чтобы не жульничать.

— Какое жульничество...— уселся на тулуп Матвей Макарович и расстегнул тяжелый кожаный портфель, достал свою бухгалтерию, подул и с лету, крепко пришлепнул печать.

— Расписывайся и ставь свою колхозную.

Дмитрий вытащил из кармана зачерниленный председательский мешочек, сшитый Веруней из обрезков довоенного сукна, вздохнул, подумал еще и о Веруньке, прежде чем стал читать:

— Ну-ка, ну-ка, жулик-жмурик...

Но все было правильно: день приема, колхоз, фамилия, вес и, главное, сорт. Высший!

— Не верится, что ли?..— от нетерпения сучил ногами Матвей Ма-

каровича. — Шлепай печатку да привози на склад... как ребятишки проспятся... Я побежал, побежал, дела!

Дмитрий видел теперь, что без обмана, по самой высшей мере, что какая-то еще неведомая удача прет прямо в руки, и дальше мытарить не стал. Расписался, пришлепнул печать. Взял свою квитанцию и кассовый ордер для банка. Кое-что он уже понимал в бумагах, заранее разузнал, да и с Самусеевым перед дорогой посовещался. Все верно, надо было кончать волынку.

— А как я теперь не привезу ленок-то?.. — посмеялся вслед вылезавшему из круга приемщику.

— Привезе-ошь!.. Уж в этом я не сомневаюсь. Коль с головой, так место и на будущее у меня застолбишь. Нам ссориться нельзя. Вези еще что будет, — заскрипел чесанками убегавший приемщик и кому-то встречному так же бодренько подскрипнул: — Везет, везет народец! На пути, да, да, прямо в пути и встречаем. Чтоб не плутали по городу. Да чтоб и на складе волокиту не разводить. Прямо без задержки берем... Как постановили, да, да, а как же! Не беспокойтесь, Иван Павлович, создадим интерес у председателей, скоро погуще повалят. Как велели, Иван Павлович, так и сделано! Вон там уже один, по высшему сорту принятый, — указывал назад. — Из молодых, да ранний. Ленок-то, ленок-то, промятый и обтрепанный!

Матвей Макарович добродушно и совсем по-приятельски помахал рукой вылезшему на голоса Дмитрию и побежал по своим, верно, и в самом деле немалым делам, а к возам подошли трое в хороших зимних пальто, каракулевых шапках, в черных с галошами чесанках, с кожаными черными портфелями — вальяжные, неторопливые.

— Какой колхоз? — спросил тот, что был посередине, как бы коренником.

— «Свободный труд», — напрягся задубелой спиной Дмитрий.

— Это, кажется, уже Мяксинский район? — обернулся коренник к правому своему товарищу; тот согласно кивнул. — Что, у нас побогаче платят? И без волокиты? Смышле-он председатель. Кто?

Дмитрий замялся, решая, говорить или не говорить про эту самую волокиту, и, каким-то чутьем угадав большую удачу, не проговорился, ответил коротко:

— Окатов я.

— Фамилия мне известная, из довоенных... да ведь Окатов-то еще в финскую погиб?..

— Я сын его.

— А-а, понятно... Хотя чего тут понятного? Не ты ли и председатель?..

— А кто ж еще! Что, не похож?

— Похож, похож! — весело исправил свою оплошку не такой уж, оказалось, и начальственный коренник. — А почему один? Где возчики?

— Да вон и возчики...— заметил Дмитрий своих подходивших ребятишек.

— Да-а... — запереглядывались эти трое. — Велики-и, мужички! Надо бы на склады хоть двоих-троих грузчиков прибавить. Дело-то хорошее, прямо готовый ленок везут. И добро, что без волынки. А кто-то, помнится, говорил, что жулик этот Матвей Макарович?..

Так, переговариваясь, и прошли дальше, к большому двухэтажному дому — его Дмитрий за темнотой вчера не заметил. Там у дверей топтался ночной спаситель, в тяжелом морозном тулупе и с автоматом на плече, а на крыше, тоже морозно и стойко, нерушимым, смерзшимся полотнищем стоял флаг, как бы навечно в ледяной воздух впечатанный.

«Э-э! — смекнул Дмитрий. — Вот почему так торопился приемщик! Можно бы с ним и побольше поторговаться. Я тут ему как мозоль смертная... Ну да, однако, и выторговал: теперь к нему что хошь вези! Как чуял ведь, не проговорился...»

Своим отдохнувшим, повеселевшим ребяткам он тоже весело крикнул:

— Давай запрягай! Денежки у меня, считай, уже в кармане, да ведь не жулики мы. Только свое и берем.

Мало что понимали его ребята, но запрягали быстро и понятливо. Да и Юрий-больщун помогал. «Не забыл еще?» — ничего не прощая, ехидно подумал Дмитрий и первым вскочил на свой воз. Но Юрий тоже заскочил на передок и сунул в руку Дмитрию перевязанный шпагатом сверток:

— Кое-что скопилось от зарплаты, передай там матери... Братаны не потеряли бы.

Он был уже не в пальто, а в засмурыженном ватнике, подпоясанном брезентовым ремнем, в старых рыжих валенках, брезентом обшитых рукавицах, немногословный и торопливый. Убежал, куда все бежали,— к невидимому, даже при рассвете, но гулкому, шумному, лязгающему, прущему из мерзлой земли заводу.

Деньги в газетном свертке Дмитрий спрятал во внутренний карман, а вслед беглецу не посмотрел. У Юрки Ряжина свои теперь дела, череповецкие, а у него, Дмитрия Окатова, — свои, колхозные. Надо было их побыстрее завершать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

За староизбишинской церковью прочно установилось название: Рыбная. Так и в районных документах писали. Например, только что с оказией привезли запечатанную бумагу, в которой велели: «Бригадиру рыболовецкой артели Айне Всеборской обеспечить строжайший прием и складирование выловленной рыбы непосредственно в Рыбной церкви, для чего...» Дальше шел перечень, чисто все расписано, гладко. Сразу ясно бригадиру, что делать и чего не делать. Смотри только — не поскользнись на этом гладком казенном ледку! До прихода Айно Максимилиан Михайлович прочитал бумагу, нарисовал сверху, на чистом месте, здешнего, на вепса похожего Христа, а внизу, чтобы тоже чистое место не пропадало,— богородицу с младенцем. Вышло хорошо, если Кузя сразу признал себя и признал мамку. Только в Христе усомнился:

— Па-а, это завроде не Иванцов?..

Максимилиан Михайлович турнул его: ишь — Иванцов! Уж больно нелепо: командир матерно-кровавых штрафников, дважды жалованный-разжалованный... и тишайший из всех тишайших вепсов, вознесенный на золоченую доску и нареченный по привычке Христом, ибо нельзя же было молиться здешнему богу. Бог — тот, что из чужих земель; нет и не может быть пророка в своем отечестве! Максимилиан Михайлович грустно улыбнулся в рыжеватые, прокуренные усы — да, усы только и нажил за эти годы...

Но был он не прав; видно, погряз в суетной озлобленности. Богатство — вот оно, вокруг него, в этой старинной церкви Параскевы Пятницы, прозванной теперь Рыбной; иногда и так говорили: Рыбная Пятница. Церковь велика и просторна даже для оравы рыбаков; ничего удивительного, видывала она толпы и побольше, арестантские стада, например, гонимые вверх по Шексне, польско-литовские орды, разбитые в свое время под Москвой и в страхе заполонившие чужой речью эти берега. Максимилиан Михайлович случайно из старых бумаг узнал. Оказывается, церковь эту, при большой Шексне-дороге, заложили накануне Смутного времени, еще и освятить не успели, как стала она пристанищем бегущих от Москвы, все еще грозных самозванцев. Года три коптили ее и ругали на всех чужеродных языках — кого только тут не перебывало! — прежде чем растаяли в снегах, растворились на здешних берегах и сами языки, и самозваные воители. Еще несколько лет прошло, пока соскребли со стен, обелили чужеродную латиницу

и нанесли своим полууставом назидание небесным и земным богам. И какое назидание-то — Максимилиан Михайлович повторял его часто: «Смирись, падшее естество человеческое, грехом оскверненное, очищение и спасение приемли, дабы душа, воистину погибшая, взыскание и раскаяние восхотеша, блуд проклляла, беса изгоняша».

Грех неосвященной церкви, видимо, прошел через века; запоздалое освящение ничего уже не меняло. И местные богомазы, и доморощенные летописцы, и сами попы — все были немалые шутники. Богу молились, а пню лесному поклонялись; Христа прославляли, а вепса славили. При большой северной дороге — Шексне — стояла церковь и потому, святая и крещеная снаружи, пропиталась внутри лесным, языческим духом. Горние страны, писанные на стенах, явно походили на здешнее Забережье; Христовы палестины раскинулись шекснинскими плесами, и выходил Христос, яко посуху, все по той же порожистой, своенравной Шексне. Чудилось: так и поскрипывала галька под разлапистыми лесными ногами. Косолап был Христос, по-медвежьи приземист; и терновый венец, если приглядеться, не что иное, как можжевела. И виноград свисал рябиновой ярой кистью, по-осеннему призолоченной. И сандалии пророков на поверку оказывались лаптями березовыми, только реденько сплетенными, а райские птицы — тяжелыми, грудастыми глухарями. Не стоило удивляться, что архангел Гавриил трубил в обычный пастуший рожок, свитый из бересты и украшенный даже очерненными глазка́ми, а ослы, на которых восседали святые старцы, были привычными лесными лосями, с этакими бородками и отвисшими губами, безрогие вот только — надо же, хватило ума опилить им лбы! Все весело, дико и странно кружило по облупленным, частью уже загаженным стенам; все говорило о здешнем насмешливом нраве. Мало что Христа можно было спутать с Иванцовым — и святая Параскева, в честь которой ставили церковь, напоминала кого-то... Может, и писали-то ее бывшие литовские воры, или самозваные, непроспавшиеся шляхтичи, или казацкие, саблей погромыхивавшие попы. Озорна и разбойна вышла святая Параскева Пятница, крепка и несокрушима статью. Забубенная головушка свернулась набок, и не от святости, а от лукавого беса, который посматривал на нее из левого нижнего угла. Бес был в рясе, да что с того! Видно, казацкого, босяцкого роду. С тех Смутных времен застрял... Ничего удивительного, если бы здешняя Параскева и в пляс пустилась — просто места на доске не хватило, плясать Параскеве пришлось где-то уже на воздусях. А жаль! Так славно шагнула за край доски босая, крепкая ножища, так зазывно изогнулся под черным покровом и сквозь него светящийся, полный, любвеобильный стан, так игриво вскинулась и за века не охладевшая, ласковая рука... Лети, Параскева, из святого круга, пляши хоть в пятницу, хоть в вечное воскресенье, хоть всю неделю подряд!

Максимилиан Михайлович очень любил эту доску, давно ободранную от окладов, грязноватую и жирную. Догадывался: это и есть настоящая, еще полуязыческая Параскева, не зря прозванная Пятницей. Позже стали писать ее сухонькой, бестелесной монашкой, с прямыми, поджатыми губами. Да куда там! Прежнее все заслоняло. Максимилиан Михайлович вытащил эту, «свою» Параскеву, из-под Параскевы позднейшей, приколоченной к ней коваными гвоздями и с боков закрытой когда-то прокиноваренными, ныне буро-безликими складными брусами. Обе Параскевы представали в натуральный рост, ярко, зримо, но Максимилиан Михайлович поменял их местами. Говорил себе: жизни возрадуемся! Его, насквозь прошитого свинцовой нехристью, к здоровью тянуло. Если и напоминала кого вепская Параскева, так его карельскую Айно, его заветную исцелительницу. Когда вставали они нечаянно обе в рядок — в сумрачной церкви сразу светлее становилось. «Ей-богу!» — шутливо говорил он.

Не замышлял поначалу ничего, просто в левом заалтарном приделе место для спальни выгораживал. Тесу не было, а иконные доски колоть он, конечно, не решился — целиком в рядок составил и старыми алтарными брусьями скрепил. Потом уже сообразил: не случайным был выбор. Гсло вздымались облупленные стены, высоко и страшно уходил сводчатый потолок. А в страхе жить не хотелось, страха он и без того повидал. И вот обернул ликом к спальне святую мученицу Параскеву, потом и Варвару Великомученицу, потом и саму Грешницу, нераскаянно и радостно стоящую перед косолапым вепским Христом. Чтоб не позамерзать им всем, сложил он на кухонной половине плиту со щитком, а железную трубу пустил поверх кровати и всех святых прямо в верхнюю клеть окна. С тем и зажили, тепло и дружно зазимовали. И залетовали. Поначалу его карелка, стало быть, язычница, занавешивала на ночь домашний иконостас, а потом привыкла. Свыклись с такой жизнью и Параскева с Варварой, и сама Великая Грешница, и все другие обитатели и обитательницы этого церковного общежития. Время такое было, всеобщее.

С того и началось собирательство. Еще по довоенному житью-бытью учитель и ленинградец, он музеев, конечно, понасмотрелся, но ничего такого изначально в виду не имел,— просто по жалости прибирал кое-что. Как можно было судить, церковь закрыли не так давно, перед войной уже, многое наспех в кучи поскидали, в том числе и барахлишко самих попов, а последовавшее вскоре затопление шекснинских берегов и скорая же война и вовсе это Забережье от мира отринули. И деревень-то поблизости, считай, не осталось, все раскидало волнами, так что и растаскивать церковь было некому — свое на волю волн побросали, разбегаясь от подступавшей с Переборов, грозно взбаламученной воды. Максимилиан Михайлович оказался тут лишь в сорок четвертом году, первое половодье встретил вместе с Днем Победы, но и того было довольно. Запруженная, крутая река как золотишко мыла, все сюда несла — у этого церковного острова завихрялись какие-то течения. Вместе с хламом прибивала вода к острову такие вещи, которые даже в послевоенный голодный год цену имели. Раз тихой лодочкой, покачиваясь, приплыл расписной сундук, а в нем масляные старинные портреты. Просушил их Максимилиан Михайлович над печкой хорошенько и, скрепив перекладинами, повесил напротив домашнего иконостаса,— и эти лики прижились в церковном общежитии. Потом несло разные прялки, и в воде не утратившие окраса, потом чередой шли печатные пряничные доски — видно, где-то старинную пекарню подмыло; потом настала очередь резных карнизов: значит, уже валились в воду заброшенные дома. Резной конь с какой-то крыши сюда по волнам прискакал. Огрузлая ступа стоймя приплыла, даже с медным, ремнями пристегнутым пестом, имя прочитал, вырезанное на медной пластине: «Аграфена Стерлядочкина», а уж все Стерлядочкины, известно, с Шексны выплывают... Какая-то непонятная жадность охватила: он тащил сюда все, что волной житейской прибивало, благо церковь велика и просторна. Строили ее по-крестьянски широко и хозяйственно, с двумя передними и двумя задними приделами, один из которых целой трапезной палатой вбок выпирал,— нынешнее общежитие рыбарей.

Удивительное дело! Церковь по паперть ушла в воду, часть глухого, несообщающегося подвала затопило, а в остальные склепы вода не прошла. Крепки стены, плотна известковая кладка; гранитные переборки не хуже, чем в самих Переборах. Максимилиан Михайлович предполагал там немало тайн, но и то, что уже открылось, кружило голову. Даже хозяйственный подвал сохранился! Общежитие рыбарей обставили, как в поповском доме — пуховиков только и не хватало... Были, были и пуховики, да в них столько крыс поразвелось, что жечь пришлось. А дерево кроватное уцелело. Тащили наверх, в общежитие. Да и вода всякое барахло несла: шкафы и комоды, стулья и диваны, диванчики и разные столики, иные из которых и в настоящих музеях могли бы место занять. Славно расположились нехристи-рыбари!

Максимилиан Михайлович терпеливо сносил досужие насмешки рыбарей. Пускай погогочут. От него не убудет, а в сундуках прибудет. Он еще не знал, для чего ему все это, но как скряга тащил, набивал доверху и запирал старинными нутряными ключами, а если попорчено, собаку амбарную навешивал. Смейтесь, охламоны, пошучивайте...

Все стены заалтарья и часть окон завесил иконами. Целый угол в самой церкви под разное крестьянское барахло отгородил, чтоб не топтали зря сапожищами. Жалко, жалко было выбрасывать даже обыкновенные прялки и поставцы. На яруса звонницы втащил все резное, расписное дерево. Рыбари смеялись, но от нечего делать, когда не ловилось из-за непогоды, тоже помогали. И тогда Айно по-бригадирски кричала: «Где план? Вы не прялки — план мне из воды тащите!»

Чего зря говорить, план они вытаскивали. А если маленько и баловались, так вроде Кузи, который вбежал с криками:

— Па-а! Тетка с пушкой!

Максимилиан Михайлович вздохнул: вот-вот, пушки к бою едут задом... Две уже стояли в церкви, из подвалов вытащил. Волоконейка, отлитая во времена Ивана Грозного на здешних уломских заводах, и еще какая-то толстомордая мортира славных северных войн Петра, тоже, наверное, своей болотной плавки. Катаясь на этой чушке, Кузя штанами протер начало надписи: «Петру бог в помощь, шведу...» Жаль, недостало штанов у Кузи, чтобы дочитать насчет шведа. А тут опять ржавая доблесть?

Но когда он оделся и вышел — прямо блеском в глаза ударило!

— Баба ты дурная, зачем ты ее чистила?

— Чем-зачем, дресвой, известно. Не грязную же везти. Так-то, поди, подороже?

На больших копыльных дровушках, прогибая толстые черемуховые связи, золотой шехонской рыбищей лежала надраенная, горластая стволина, на которой проступало латиницей: «Матка боска, нех жие Речь Посполита». Вот так, весточка из Смутного времени!

— Не надо мне, баба, пушек. Хватит, навоевался.

— Как это, милой, не надоть? Кума грит, все покупаешь, кума грит, ты богатый. У ней каменну бабу взял, а у меня медное не берешь? Гляди, милой, жаловаться пойду.

Сразила его, конечно, не эта нелепая угроза — глаз голодных блеск...

— Вдова поди, а сколько у тебя?

— Сколечки! Шестёро было, четвёро в живых. Столько ли наметала бы? Нестара я перед войной-то была, нестара, милой...

И что-то такое в этих голодных глазах промелькнуло — вроде чтото вдовье, иссохшее коростой, ждущее, женское! Максимилиан Михайлович, как затравленный, завертел головой, а тут и рыбаки на подходе, Иванцов с хохотком:

— За такую-то пушку?.. Давай бабе рыбки.

И связку, которую нес для обеденной ухи, всю целиком швырнул. Бери, горькая торговка! Та кувырнула с дровушек медно-жаркую стволину — и бегом, бегом на лед, от глаз бригадирских... Айно с другого берега на остров входила, гневная:

— Проторговали рыбу? Сидите теперь на сухом. Из плана не дам.

И без того ясно. Но Иванцову взгрустнулось совсем по другой причине — он вспомнил:

— Вот как из окружения прорывались, вот нам бы тогда такое стволище! Мины бы из него кидать!

— Подними-ка ты этот бабий миномет...

И вдвоем еле оторвали от снега, бухнули со зла. А круглая чушка и покатись по ледяной горке! Прямо на подходивших рыбарей! Пушка прокатилась сквозь орущий великим ором людской строй и врезалась

в первые, кованые ворота, так что створки отмахнулись и пропустили дальше — с грохотом понеслась она по каменным плитам, смяла две прялки, проутюжила поставец, в искристом гневе долбанула каменную бабу, отскочила и встала в рядок со всей артиллерией.

— Поня-атливая...— зыркнул ей вслед Иванцов.

Шуточки выходили невеселые. Рыбы Айно на обед не давала, а тут новое явление — дедок с мяксинского берега пешочком пришкандыбал, с каким-то диковинным посохом в руке. Максимилиан Михайлович признал: бывал уже дедок. То ли с иконой, то ли с прялкой ненужной...

— Вось опеть... Славная палка, парень.

— Где ты взял ее, старый?

— А гдесь нету, последняя. Бери, ежели. Крепкая палка, парень.

Максимилиан Михайлович обреченно покричал дедку, бежавшему от греха подале:

— Я с тобой в Мяксе рассчитаюсь. Сейчас-то ничего и нету!..

Иванцов в ожидании, когда варево поспеет, зажал коленями палку и стал аппетит нагонять, крутить — и свернул-таки деревянный оголовок: какое-то потайное ружье-самопал открылось. Курков не было — гадали, как стрелять-то из него. Вся утолщенная рукоять изрезана черными рожами с выпученными глазищами. Чтоб им пусто было!..

Занимаясь убогими послевоенными школами, Максимилиан Михайлович чувствовал вокруг себя какую-то глухую пустоту. Возможно, причиной тому было ленинградское происхождение — беженцы и раненые давно по домам поразъехались, а его вроде как в Ленинград не пускают; возможно, и отшельническая жизнь на забережном острове сказалась — начальство, да тоже вроде как ссыльное... А скорее всего — проклятый музей! Если первое все-таки понимали, если второму сочувствовали, как всякому страданию, то музею и в сочувствии отказывали. Еще бы, завел себе остров и сгребает туда добро со всей голодной округи, как дань татарскую!.. Вот так он, израненный капитан, и стал лихим татарином. Самое примечательное, что настоящих татар никогда не ругали — беженской волной заносило их из Крыма, насмотрелись на их тюбетейки, привыкли. А к нему как прикленлось — по Мяксе и по окрестным деревням трубили: «Та-та-тарин!..» И громче всех, конечно, им же подкормленные голодари. Подспудно все это чувствовал, но все-таки делал, себе же во вред. Бывало, последнюю горбушку, которую нес на остров, по пути выцыганивали; бывало, в долги неоплатные залезал, чтобы отделаться от непрошеных дарителей. Голодные благодарили и за эти крохи, сытые поносили без обиняков. Та-та-тарин!..

Рассерженное риковское начальство, под портретом отечески улыбающегося кавказца, нечто вроде очной ставки между пушками, ружьями, крестами, прялками, бабами, дедками и Максимилианом Михайловичем Всеборским устроило. Ну, бабу выгнали, дедка вытурили, пушки да прялки велели в подвал закинуть, как арестантов, а с историей что?

Историей тут никто и не интересовался — у всех на плечах висели самовластные череповецкие вербовщики, уводившие на стройку последних людей. И хмыканье, каким Максимилиан Михайлович отвечал на вопросы начальства, выходило очень нехорошим.

— С такой политграмотой нельзя тебе, Всеборский, воспитание доверять. Как ты сам считаешь?

— Да как прикажут. Кричите на всякий случай: «Слово и дело! Слово и дело!»

Замордованное районное начальство не знало, что и думать — провокация или политическая слепота кого-то из них? Долго, настороженно молчали в большом казенном кабинете, вопросительно поглядывая в передний угол, на отеческий портрет, вроде как молча советовались

— потому как мысли свои, поистине смутные, даже отцу родному, что на портрете, не выскажешь,— вроде как чего-то выжидали. А понять ничего не поняли... Да и не хотели понимать, что-то определенно настораживало — в раздражении человек, святые слова как-то уж больно лихо в строку ставит, а всякая лихость — сестра гордыни. Закругляли, что называется, разговор:

— Слово, оно, конечно... Дело, оно, само собой... Дело наше правое! На том стоим. Так, Всеборский? Но ты-то стоишь ли, крепко ли?

— Чего не стоять, ноги целы,— отвечал он без тени страха.— Грудь вот дырявая, бока гнилые...

И долго, как бы напоказ, кашлял, выворачивая свое военное нутро и повторяя затяжно:

— Слово... кхе-кхе... и дело... кхе...

Выходило — без понятия человек, совестью не мается, не кается, прощения не просит. Вроде бы хороший работник и в прошлом боевой офицер... Да только как ему теперь сидеть в районо?

Какое-то время он под крики насмешников работал. Начальство про него потихоньку забывало, да и некогда было думать о церковном его хламе — заем подоспел. Подписка — мероприятие нешуточное. Вот уж поистине: слово и дело! Оно, слово, горячее, так золотые рубли и высекало. Даже по самым оголодавшим деревням. Слово! Слово прежде всего. Все наличные силы бросили. В иное время и Максимилиан Михайлович свое веское словцо вставлял, денно и нощно разъезжал по району, а тут как отрезали: одного, считай, во всем райцентре проглядели. Он опять похмыкал и пошел на пристань — прошлым летом тут причал, порушенный за годы войны, заново завели, теперь уже на морском, вплотную к Мяксе придвинувшемся берегу. Слышал он раньше посторонним слухом: на забережной колокольне маяк хотят учреждать. Бакены поснимали — что толку от них на такой разлившейся шири! — а без сигналов пароходам нельзя. Значит по-морскому: маяки. Что лучше затопленных колоколен? Десятка два на море шатались неприкаянными привидениями, без попов и богомолок. Поистине сам бог велел: ставь на них маяки. Смеялись по Мяксе: боже, посвети на море! Но смейся не смейся, при маяке требовался смотритель. Знал одного такого Максимилиан Михайлович, колченогого ладожского десантника, тут, на пристани. Правда, пристань эта — занесенная до весны хибара, в которой пух на топчане от беспробудного сна и пьянства хозяин маяка. Босиком на обе ноги, даже на живую, но и по зимнему времени в морской фуражке. Не удивился:

— А что, пора из варяг в греки. А что — лезь, капитан, на маяк. Давай-ка по этому случаю и фонарь зажжем...

Горело у десантника прямо в литровой банке, славно горело! Максимилиан Михайлович погрелся у этого огонька, при его неверном свете тут же, на осклизлом от воблы столике, и намахал заявление на имя пароходного начальства и велел с оказией послать по инстанции. Десантник, словно семь печатей, свою морскую клятву припечатал:

— Чтоб мне без краба, без шкраба, без тельника, без брательника!..

И верно, быстро дошло заявление. Дело уже к весне подвигалось. Хоть и на санях, но с морским ветерком гоняло начальство от Рыбинска до Череповца, флотилию свою к плаву готовило. Ну и попутно будило таких вот заспавшихся десантников. Пора, пора было белить и красить славный морской путь из варяг в греки!

Странное было зрелище: маяк при ярком предвесеннем солнце. Лед на Рыбинском необозримом море, уже подсушенный теплыми ветрами, и без того горел — глядеть больно. Все двухсоткилометровое Забережье, скрытое снегами и безмолвное, опаляло этим чужим, высоким огнем. Так ли, нет ли будет он светить на воде, а сейчас даже из

холодного льда искры выбивало. Лучи прямо и неудержимо скользили по мерзлой глади, достигая Мяксы и Череповца и, казалось, далеких приволжских Переборов. Да что там Переборы — Москва за колючим горизонтом мерещилась! Максимилиан Михайлович не верил ни в какую чертовщину, да ведь кто его знает... Голова кружилась от света, от весеннего воздуха. Он только что проводил пароходное начальство — на двух аэросанях, с ветерком приезжали — и сейчас смотрел им вслед, пока обе вихрящиеся точки не сгорели в ледовом огне. Ничего не скажешь: люди скорые, инженеры. За день установили фонарь маяка, запустили движок, еще раньше заброшенный сюда, проверили проводку, поучили, как надо включать-отключать, пошумели напоследок, сидя за обеденной ухой, и вот успели засветло укатить. Погода стояла на редкость хорошая, и Максимилиан Михайлович с десяток километров на запятках прокатился, провожая новое начальство. Теперь вот топай обратно. Движок на острове работал, свет давал мощный. Керосину — три бочки, ламп запасных — не счесть, пали на здоровье! Так называемая обкатка оборудования, на что и спишут весь этот керосинчик. Пусть, мол, лучше сейчас ломается, чем в навигацию, а тогда уж, как пойдут пароходы, тогда уж смотри-и, капитан!..

Все они там, под этими золочеными крабами, капитаны, а ему и сам бог велел капитаном зваться. Обещали даже форму подбросить, на что он шутливо отмахнулся. А зря. Суконце у речников хорошее. На базаре руки, как от того маяка, пообжигаешь. Было дело, по неопытности лапнул фонарь, а он что торговка базарная, кусается. Смеялись гости-капитаны: не баба же, без перчаток не обнимай! И краги такие длиннющие на прощание подарили — забаву сынишке. Но вход на колокольню перегородили: дверь из одного церковного притвора, медью обитую, с мясом выворотили и в самом узком проходе приладили. Держи ключ, капитан, носи и не теряй! Тут не только Кузя — даже Иванцов приуныл: хорошо покурить на верхотуре, особенно с больной головы... Но ключ есть ключ, дальше второго яруса не пустит. Им что двери открывать, что в рукопашной отбиваться: с хороший тесак длиной, а весом и потяжелее. Не зная, куда его девать — ведь никакой карман не выдержит,— по военной привычке подвесил на пояс, проще сказать, в железное ухо пропустил ремень поясной, остаток прежней офицерской портупеи. Легко и безбоязненно было ему с ключом, будто с боку и в самом деле кортик родной болтался. Помолодел даже, вздернул плечи: вот так, мол, други мои заморские. Живем!

Как ни утешай себя, а обида на заморскую Мяксу не проходила. Со скрипом, с недоумением отпускали его, но все же отпустили? Максимилиан Михайлович не играл, когда писал заявление, нет, и все же... как бы это сказать, надеялся, что ли? Да, ожидал, что какая-нибудь извинительная слеза напоследок прольется. Пусть и запоздало, лишь бы искренне. Не пролилась! Не прожгла сукно казенного стола...

Возвращаясь с далекого провожания, Максимилиан Михайлович и не заметил, как вечер наступил. Слишком ярко горел поднебесный маяк. Слишком светло мысли светили. Вот поди ж ты: человека с такой почетной работы турнули,— да чего уж скрывать, вытурили,— а он идет по льду и улыбается! Покашливает, конечно, но без натуги, успокоительно. В такие редкие минуты нисходило на него молодое здоровье, прежняя кровь играла. Жить хотелось, петь на все море Рыбинское. Ого-го-ой!..

Он и в самом деле запел, без голоса, без воздуха, одной голой душой. Хрипоты не замечал, колючей боли не чувствовал. И только очнулся, когда с острова ответ принесло:

Ты, сударушка, ты, товарушка,
Ты не жди меня светлым вечером,
Ты пожди меня ночкой темненькой,
Ночкой темненькой, завопошной...

Иванцов, лыко из него дери! Страшновато становилось, когда он «сударушку» заводил. В загуле, значит. Под эту песню он на исходе ноября сорок первого весь свой штрафной батальон под Тихвином положил, на осклизлых, льдом залитых береговых дотах, и хоть доты те заклятые последней горстью придушил и путь наступающей армии открыл, но вины в себе придушить не мог, и орден, что смертно выбил на тех дотах, до сих пор жег ему грудь. На праздники, весь сияющий, тот орден никогда не надевал, а только так, в одиночку, под черное настроение. Можно было не сомневаться, что и прожектор своим светом это настроение не смыл. А если уж Павлуша Лесьев, один из уцелевших штрафников, наперекор ввязался — значит, дела и вовсе плохи. Павлуша силился его к своему, насущному вернуть:

Когда б имел златые горы
И реки, полные вина...

Нет, и вина сейчас не принимала застыженная-застуженная душа Иванцова. Как ни тянул его к столу Павлуша Лесьев — гнул свое, давнее Иванцов, хотел хмуро, одиноко выплакаться перед этим пустым, заледенелым морем, а ему мешали. Не то, совсем не то было настроение у Иванцова. Он пребывал где-то на своих сорок первых тихвинских берегах, он каялся:

Ты не думай, что меня лиходей побил,
Жди-пожди, дожидайся...

Не любил Максимилиан Михайлович это двуединое песнопение. До чертиков нагулялись, до воспоминаний. Так они, говорят, перекликались перед той штрафной, потайной атакой. Сигнал к последней скрытой атаке на ледяные доты. Думали, немцы дураки, не расшифруют пьяное песнопение, а они расшифровали, встретили с ледяных откосов всеми наличными пулеметами, и хоть уже близко подползли скрытые до поры до времени штрафники — последние двадцать-тридцать метров надо было переметнуть через голую, ярко освещенную реку. Дело давнее, дело военное: кто переметнулся, а кто и нет... Кто дорвался до амбразур, а кого и огнем откинуло... И вот плачется, кается задубелая душа бывшего комбата. Лыко из нее дери, да и только!

И Максимилиан Михайлович как на доты пёр по осклизлому берегу при полном ослепляющем свете. Хоть ключ и на поясе, да дверь-то не закрыта, кто-то уже слазил на колокольню и маячный фонарь склонил вниз! Вдобавок костер на берегу, вдобавок... и лампа электрическая у входа в церковь... Что за чудеса?

Иванцов и Лесьев, стоя у костра друг перед дружкой на коленях, пьяно плакались-каялись, а встречали Демьян Ряжин и его, теперь уже череповецкий, племянник Юрка. Они, видно, только что закончили возню со светом, были приветливо возбуждены:

— Отшельник! Как мы движок-то светить заставили?

— Как хорошо-то, дядь Максим!

И впрямь хорошо, но Максимилиан Михайлович нахмурился:

— А по шее мне не дадут?

— Да кто тебе даст, голова? Твое начальство в Рыбинск укатило, а ты комендант всего острова, — отшутился старший Ряжин.— Да и по инструкции тебе положено помещение освещать. Не читал разве?

— Когда было! Закусить толком не успели,— не смог удержаться от улыбки Максимилиан Михайлович.

Не обращая внимания на голоса у костра, они прошли внутрь церкви, где подсвечивали лишь керосиновые фонари. И эта очевидная разница между керосином и электричеством не растаяла даже в жилом помещении, где висела до блеска начищенная десятилинейная лампа. Айно весело возилась у плиты. Кузя ликующе хлопал в ладоши. А Максимилиан Михайлович опять впал в озабоченность:

— В самом деле нелепость: жить при электрическом движке — и светить себе керосинками...

— Вот-вот,— поддакнул Демьян Ряжин.— Я пришлю тебе со стройки электрика. Не возиться же мне самому.

Ряжин небрежно кинул на лавку серую каракулевую папаху, с таким же воротником пальто, скрипнул тугими меховыми перчатками и остался в своем неизменном защитном кителе и синих галифе. Тоже была страсть — к военной форме, к смешной строгости. Не раз с улыбкой замечал Максимилиан Михайлович: люди, и пороха не нюхавшие, тыловики, до сих пор несуществующими погонами щеголяли, в то время как его, капитана, вполне удовлетворяли потертый диагоналевый пиджачок и бобриковое коротковатое пальтишко — все, что мог дать бедный даже для начальства районный склад. Как бы там ни было, рискнул похвалить:

— Хорош, хорош, жених несчастный! Я бы на месте Ани все-таки тебя предпочел.

Демьян Ряжин обиженно крякнул, а от плиты Айно бросила с пылу с жару:

— Чортан войнуа, чортан акку, чортан укку!

Значит, и войну, и мужа с женой — все к чертям таковским. Прямо лесной карельской метлой! Демьян опустил голову:

— Гляди ты, Айно свой карельский язык вспоминает...

— ...вспоминает, когда до чертиков. Давай не будем?

— Не будем давай.

Все тут про все знали и ничего ни от кого не могли скрыть, в том числе и от Ряжина-племянника. И такие, как Юрка, слыхом слыхали, что ухаживал-то за Айно в золкие военные годы Демьян, а согрел и обласкал беженское карельское сердце все-таки Максимилиан — Максимо, как для ясности и без обиняков назвала она, и тут уж говорить нечего. Надо было принимать жизнь такой, какова она есть. И хоть догадывался Максимилиан Михайлович, нынешний-то, что вроде бы неспроста заворачивает к церкви ее бывший, незадачливый ухажер, но значения этому не придавал. Ведь самая короткая дорога в Забережье — через море, а зимой уж и подавно. Как миновать рыбацкий остров, не обогреться? Всяк заходил и всяк у здешнего огонька сидел. Вроде постоялого двора при большой дороге. Подковы над входом только и не хватает!

Он спорил с Демьяном, но думал, если уж откровенно, больше о Юрке. Года не прошло, а парня не узнать. И вырос, и окреп, и смысл мужской в глазах. Эти голубые ряжинские глазищи потемнели и набухли, как весенний лед. Сквозь обычную теплоту холодок пробивался. Не приморозило ли парня? Пальто на нем хорошее, тоже бобриковое, и шапка ничего, хотя и то, и другое явно с базара — шапка не налезает на упрямый лоб, а пальтишко скатывается с плеч. Зато сапоги яловые, крепкие, с какого-то подгулявшего капитана... Может, по Европе по всей прошли, а может, и подальше куда захаживали, пока в Череповце не застряли. Много их, неприкаянных капитанов, по базарам шатается, обивая в чайных европейскую пыль. Кто осудит! Максимилиан Михайлович смотрел на эти начищенные походные сапоги и внутренне жалел, что его-то сапожкам дальше Выборга пройти не удалось... Вроде как не отшагал еще свое, не все в жизни отмерил капитан — дорожная душа! Были дороги, потом дороженьки, а теперь одни тупики, как на монашеском, порушенном Валааме, где ему тоже повоевать пришлось...

— Видишь, как живу, Демьян Иванович? — склонил над столом голову.

— Вижу... да и думаю: хорошо ты пристроился.

— Хорошо-о?..

— Во всяком случае, предусмотрительно. Меня того и гляди ктонибудь подшибет из зависти... да вон хоть и Юрка-племяш,— метнул

он снисходительный взгляд,— а тебя и подшибать некому. Сам себе бог и воинский начальник. Ты цени это, Максимлиан.

— Ценю, ценю... да как бы не уценилось!

— Еще и прирастет в цене! Вон музей твой — ведь через двадцать лет, когда опамятуются люди, его с руками оторвут...

— ...если уж не с головой!

Демьян не исключал этого, возражать не стал, а зашел как бы издалека:

— Деревни шатаются, что колосья на ветру. У нас — так все в одну сторону клонятся, к Череповцу. Думаешь, я не понимаю, чем обернется стройка? Последних мужиков выгребет и по печам железным рассует. Прячут Федор Самусеев с Митькой Окатовым зазывалки, да разве их упрячешь? Вон племяш и в председательском потайном столе углядел!

— Ничего я не углядывал,— нехотя возразил Юрка.— Сам же ты, дядя, и присоветовал.

Демьян словно и не слышал его — снисходительно, барски хромовыми сапожками поскрипывал.

— Завод будет расти, само собой. И сами же собой рассыплются деревни... этак верст на сто вокруг,— повел белой, крепкой рукой.— А может, и на все двести. Сейчас не предугадать. Да и предугадывать никто не будет. Даешь завод! И только. А как завод-то дадим, а мы его дадим обязательно, так и начнем оглядываться: а постойте-ка, а поглядите-ка, как же мы в прошлом-то жили-поживали?! И увидим, что пожгли да потопили это прошлое. Нет его, нет — не будет и в помине... И вот тут-то, Максимилиан,— с какой-то скрытой завистью, даже неприязнью докончил он,— тут и придут к тебе. К тебе! Покажи, дорогой, скажи, родной: верно ли, что мы Иваны, родства не помнящие? И ты скажешь, и ты покажешь, если...

— ...если раньше того носом в землю не ткнусь,— заметив его замешательство, докончил Максимилиан Михайлович.

— Да, чего уж скрывать, здоровьишко...

Право, сквозь зависть радость прорвалась! Такая откровенная, что Максимилиан Михайлович рассмеялся:

— А ты меня загодя не хорони. Вон докторша-то?..

Не стоило и договаривать — что за докторша: Айно в сердцах грохнула миской. Демьян вздохнул:

— Докторша, да не чудотворица же. Не будем на сто лет загадывать. Ухи вон похлебать да в Избишино по холодку скатать. Выходной по стройке объявили.

— Так ведь середа?

— Это по-вашему середа, а по-нашему — воскресенье. В кои-то веки вышибли план — уж и не погулять?

Странный он все-таки человек. И о хорошем говорит, как о плохом, и о плохом — хорошее... Ему-то какое дело, что будет с деревнями? Давно, еще с довоенных времен, отрезанный ломоть. Если уж строитель, так и строй себе, чего голову над сундуками клонить,— Демьян как раз похлопывал крышкой старинного расписного сундучища, виновато покачивал головой. Но какая его вина?..

Выговаривал ему мысленно Максимилиан Михайлович, а в душе удивлялся. С чего эта запоздалая совестливость? Ведь все эти сундуки, все прялки-скалки — из воды, Демьяном же Ряжиным и ниспосланной... Но совестливость была; была, видно, и вина пред всем этим серым, деревянным Забережьем, которое он же, еще довоенный строитель Переборов, самолично на слом пустил. К чему каяться, десять-то лет спустя? К чему маяться запоздалой дурью?

— А ведь стареешь ты, Демьян Иванович,— отваливаясь от ухи, понял Максимилиан Михайлович беспокойство гостя.

— Старею,— согласился Демьян.— Но дело не в этом; кажется, и умнею...

Тут бы ему и уехать, с этой тихой и невысказанной думой, но у саней перехватила компания Иванцова, вместе с распахнутыми настежь Павлушей Лесьевым и Дудочкой, и ненасытный Иванцов потребовал:

— Давай гранату, бери орден.

От кителя орден оторвал — была та самая, в одиночку надеваемая «Звездочка» — и прямо на ладонь Демьяну, прихлопнул:

— Бери!

— Да зачем мне? — заупрямился Демьян, возвращая орден.

— К твоему такому боевому кителю обязательно нужна «Звездочка». Бери! Давай гранату!

Максимилиан Михайлович пробовал утихомирить разошедшегося полковника, но это даже Дудочке было не под силу — напрасно трясла его за плечи. Иванцов руку ее стряхивал и опять к Демьяну тянулся:

— Давай свое, бери мое. У меня этого добра много настреляно. Тебе «Звездочка» как раз подойдет. Мне она душу бередит, з-зараза!

Иванцов все-таки нащупал в задке саней гостевую ряжинскую бутылку, но орден всучить не успел — Демьян хлестнул лошадь, и легкие пошевни умчались на берег. Началось очередное прилаживание ордена на потрепанный военный китель, началось очередное стояние на коленях перед несуществующим батальоном, а потом и слезное бряканье кружек у костра. От всего этого и сбежал Максимилиан Михайлович в церковь, на свою недосягаемую колокольню. Ах, как ключ теперь пригодился! Он снял его с пояса и запер за собой дверь. Движок был поставлен тоже подальше от людей, на втором просторном ярусе. Кованная древней медью дверь прихлопнула всю иванцовскую суматоху. Можно было сколько угодно стучаться — не такие громилы в нее громчались. Он представил себя... лет на триста постарше... нет, пожалуй, и поболее того — и снова почувствовал горький, так и завязший на зубах привкус пороха. Годы проходили, столетия по российским дорогам тащились, а порох извечный отдавал все тем же — смертью и кровью. Бывало в окопах: у старого солдата вдруг истомно закружится голова; не в бою, не на поле смертном, а в земляном уютном затишье. Словно сквозь землю все былые войны сочились, смертной мукой исходила исковая глинища. К этому он привык — чем же и пахнуть многострадальной земле, как не кровью? Но море здешнее, но вода шекснинская?.. Она еще была подо льдом, она еще спала, но уже тревожно погудывала, набухала, как кровь в натруженных жилах. Все, что копилось долгую зиму, все теперь требовало исхода. Черное что-то, застойное собралось под ледяной кожей. Говорили в старину: кровь отворять... Вот поди ж ты: опять кровь! Пять лет, как он не видел ее горького вида, а все равно гудит-погудывает в груди, на земле, в воздухе, под толщей уснувшего льда — везде. Он пошел по ступеням с яруса на ярус, и гуд этот не только не утихал — креп и как-то густо, медно наливался. Чем выше, тем жарче светил прожектор — и жарче становился медный гуд. Не сразу и сообразил: колокола это, колокола! Вот ведь история: выстояли в роковое для них предвоенное время, а вчера чуть не бухнулись на лед. Место уж больно сподручное для маячного фонаря, в самый раз. Балки вековые, ставь хоть танк, не только что прожектор. Один из ретивых капитанов даже с топором на балки полез, чтобы ременные канаты, на которых держались колокола, рубить-крошить. Еле остановил его Максимилиан Михайлович. Постой, голова! Ну, срубим канаты, ну, рухнет все, а куда, на кого? Церковь жильем обросла, навесами для сетей и лодок, да и просто ухоженными дорогами. Ведь такие бомбы покатятся — разнесет все к угодникам божьим! Еле уговорил пароходных капитанов, согласились маяк еще выше поднять, под самый купол колокольни, который и назывался-то подходяще: фонарь. Ну, фонарь так фонарь, затащили новые балки, полегче, конечно, врубили в каменные стены, а верхние застекленные рамы фонаря попросту высадили. Места для маяка хватало.

Но подниматься туда приходилось по приставной лесенке, мимо колоколов и натужно рвущихся веревок. Как ни сторонись, все равно заденешь. Застоявшиеся было колокола — средний большой и два боковых подголоска — обрадованно загудели, заворчали медными басами. Максимилиан Михайлович рассмеялся и дернул одну, другую веревку. Теперь вослед густому, спрессованному свету, чуть пониже, потяжелее его, полился медный звон. Так они, свет и звук, и потянулись над округой — до прибрежной Верети, до забережного Избишина, до Мяксы и, наверное, до Череповца. Даже вечерние облака потеплели, придвинулись ближе. Максимилиан Михайлович повернул на оси фонарь, теперь уже в сторону леса, и вдарил в большой колокол. Бу-бу-бум!.. бу-бу-бум!.. Слышите, люди, слышите? Живет ваше Забережье, гудит Забережье, теплой весны ждет...

Он не успел еще и к движку спуститься, как навстречу ему выскочила Айно.

— Ты как через дверь прошла? — потряс он тяжеленным ключом.

— Зачем через дверь? Там же потайной лаз.

Ах да, он и забыл! Со второго яруса вниз, в глухие подвалы вела потаенка: в толще стены была выложена лесенка-обдираловка. Когда не спасала и колокольня, через нее уходили в подземелье...

В дверь ломился Иванцов:

— Чего звонишь? Война, что ль, опять?..

— Тебе бы только воевать! — погрозил двери кулаком Максимилиан Михайлович и пошел вслед за Айно.

Подсвечивая фонарем и беспрестанно стукаясь головой о свод, Айно повела его по нутряной лесенке в потайной подвал, а оттуда вывела в жилой придел. Пора было спать ложиться.

Но под дверью бесцеремонно возился Павлуша Лесьев. Порядки у них были такие, что нигде ничего не запиралось. Признаться, Павлуша не впервой уже надоедал, маялся какой-то вечерней дурью. Максимилиан Михайлович торкнул дверь и чуть нос неприкаянному лейтенанту дверью не прищемил!

— Что-то многовато у нас мужиков...— проворчал он, укладываясь спать.

Айно только вздохнула.

(Окончание следует)

Борис СИРОТИН

НЕТ ПРЕВЫШЕ ЭТОЙ БОЛИ...

* * *

Почему же так хочется жить?
Жить и видеть все резко, воочью,
Жить и жить, даже если — кружить
По степи, песню слушая волчью.

Почему же так хочется — всласть
Колдовской ослепляющей вьюги?
Для того ли, чтоб в ней и пропасть
Со своею мечтою о друге?

Почему деревенский погост
Вдруг дохнет тишиной и спасеньем,
И морозных захочется звезд
В вертикальном просторе осеннем?

Там, в печном горьковатом дыму,
Там, в воде, под крылом у ракиты,
Эти самые сто «почему»
Русской древнею тайной сокрыты.

* * *

Мне часто говорят, что, мол,
Россия
Лишь бедами своими велика,
Что, мол, ее достоинство и сила
Стояли на костях во все века.

Как мне ответить?
И на том стояли...
И на Любви — ей век не опочить
И свой бебрян рукав в реке Каяле
Еще не раз, не два ей омочить.

На Совести — еще во время оно,
Чтоб горний свет потомкам
передать,
В порывистом письме Илариона
Простерлась над Законом
Благодать.

А кости... Нет превыше этой боли,
Но сердце очищает и она.
Белеют кости павших
в чистом поле...
Живет страна... забыты имена...

Но, видимо, в круговорот природный
Всецело включены и пот и кровь,
Зане не иссякает дух народный,
Из пепла возрождаясь вновь
и вновь.

* * *

Директор конного завода
Мне говорил:
— Одна забота,
Одна забота у меня:
России возвратить коня.

И мне запомнились те ясли,
Где поднимались и не гасли
Во мгле над головой моей
Глаза печальные коней.

Не стерся в памяти за годы
И сам, шутивший без конца,
Директор конного завода,
Танкист,
с ожогом в пол-лица.

И был ожог лилов и жуток,
И вздохи слышались средь шуток:
— Одна забота у меня:
России возвратить коня.

* * *

Давайте откажемся, люди,
От вешних напористых вод,
Чтоб небо из древних орудий
Не смел сотрясать ледоход!

Давайте, латая прорехи,
Работая ночью и днем,
На юг все российские реки
И наши сердца повернем!

...И жадно смотрела Европа,
Как некто, от дерзости пьян,
У нас удалого потопа
Великий вынашивал план.

Как нам, воплощенный в металле,
Разбойник свистел соловей,
Чтоб землю смелее пытали
Под сенью безглавых церквей...

* * *

Все слышится голос упрямый
Откуда-то из-под земли,
Что снова на русские храмы
Кочевники лавой пошли...

Хоть сердце неладное чует,
Рассудок талдычит одно:
Мол, нынче никто не кочует,
А храмы во прахе давно.

Но через оконные рамы,
Сквозь стены бетонных жилищ
Доносится: рушатся храмы,
А села — в чаду пепелищ...

И только, как некий провизор,
Снимает в квартирной тиши
Волшебной рукой телевизор
Все смутные боли души.

* * *

Я вижу в России не то, что сейчас
С протяжными воплями
все разглядели,
Считаю не плахи ее, горячась,
А слушаю сердце:
оно на пределе.

Россия, ты вынесла столько поруух,
Тебе искромсали всю воду и сушу,
И все ж ты спасла
свою древнюю душу,
Смотрю в изумлении: светится дух!

Какой ни на есть сохраняешь уют,
Все так же твоя нараспашку рубаха,

И церкви из праха твои восстают,
Еще бы деревни восстали из праха!

А что до темниц, да острогов,
да плах —
Всегда твое сердце они отягчали
И тоже сегодняшний пепел и прах,
Протяжно летящий по ветру
печали.

И ныне, когда подвергается наш
Союз испытанью и злому замаху,
Заблудшему брату и сердце отдашь,
И с тела последнюю скинешь
рубаху.

Отрывок

Был к смерти своей равнодушен,
Поскольку с рожденья знаком,
Как в жизнь из небесных отдушин
Вселенским несет сквозняком.

Себя представлял он на тризне
Сидящим — лишь ветер да мгла...
Но мысль роковая от жизни
Его отучить не могла.

Сверкали холодные рельсы,
И тек кипяток из котлов;

У печек случайных он грелся,
Курил у попутных костров.

И знал, на ветру коченея,
Скитаясь в дыму и пыли,
Что нету теплей и роднее
Неласковой этой земли.

Что снова застенчиво розов
Восток, хоть и небо серо,
И пышет нутро паровозов,
И светится жизни ядро.

Храм

Пришли, все рассчитав заране,
И — мощный взрыв! — всего-то дел...
А храм — стоит: где были грани,
Там русский воздух затвердел.
И ежели в святое лоно
Ступить — когда не слеп, не глух,

То узрит глаз кресты, колонны,
Колокола уловит слух.
Храм существует во спасенье
Сердец и чутких, и глухих,
Звоня о светлом воскресенье
России из обломков сих.

ЗВОН ПЛЫВЕТ НАД КОЛЫМОЙ

На дальней переправе

Я понимаю, репортер не вправе
размахивать пером, как топором...
Но пятый час
на дальней переправе
кого-то ждет под дождиком паром.
И сам паромщик
в мичманке помятой, —
лукавый, обстоятельный бобер, —
ведет со мною долгий, непонятный
и в общем-то бесцельный разговор.
Он говорит:
— Ведь это же
начальство!
Мы, как собаки,
мокнем под дождем,
пока в райцентре
пьянствует начальство. —
Но тут же добавляет:
— Подождем...—
А на пароме, под худым навесом,
начальство недостойное браня,
лениво, с переменным интересом
паромщику внимает шоферня.
И все глядят на голую дорогу,
и сплевывают в реку — не везет,
и хмуро ждут райкомовскую
«Волгу»,
которая начальство привезет,
Паромщик врет:
— Задам ему при встрече! —
Но добавляет:
— Боже упаси!.. —
А я гадаю: сколько рек и речек
и сколько ожиданий на Руси?
Шумит себе тайга необжитая,
течет себе небыстрая вода,
и все часы такого ожиданья
незримо собираются в года.
И тут и там — пустынная дорога,
и там и тут — осенние дожди,
и всюду до райцентра—как до бога,
и ждет народ,
и не спешат «вожди»...
А я гадаю: где-то здесь ошибка.
Я говорю паромщику:
— Момент!
Кого мы ждем и что это за шишка?
— Из Магадана. Хват.
Корреспондент! —
Мне надо бы ответить:
«Что за шутки?
Ведь это я — какая чепуха! —
до переправы трясся на попутке
и чуть было не вытряс потроха!
Вам никогда начальства
не дождаться,
и зря торчите вы на берегу...»
Мне надо бы паромщику
признаться.
А я вот не решаюсь.
Не могу.

* * *

Летней ночью голубой
в паре с эхом-отголоском
звон встает над Колымой,
как над городом Загорском.
Одинокий долгий звон —
непривычное явленье —
из бараков гонит вон
молодое поколенье.
— Что? Пожар или потоп?
— Караул! Спасай пожитки...

А Егорыч — бывший поп,
ныне сторож «аммонитки» —
дед по прозвищу Стограмм,
как всегда, успел набраться
и горланит:
— Божий храм
из воды всплывает, братцы!..

Над рекою, спору нет,
летней ночью беспокойной
неопознанный предмет
звон разносит колокольный.
То, фарватер сторожа,
посреди речной дороги
притонувшая баржа
издает сигнал тревоги.
Что ж, Егорыч, слез не лей,

не крестись — не на крестинах.
Сроду не было церквей
в наших дивных палестинах.
Да в своем ли ты уме?
Водка впрямь тебя погубит!
Нет церквей на Колыме,
никогда уже не будет...

Летней ночью голубой
не имеющий значенья
звон плывет над Колымой
против вечного теченья.
Капитан баржи дарма
проявляет донкихотство:
обмелела Колыма,
прекратилось судоходство.

Но Егорыч — бывший поп —
не желает отступиться,
не уходит,
крестит лоб:
есть на что перекреститься.

На старом пожарище

Редколесье. На старом пожарище
в глубине Среднеканской тайги
помолчим хоть минуту, товарищи,
на минуту замедлим шаги.
Здесь ручьи выкипали до
донышка,
правил мор, не подвластный уму,
и колымское бедное солнышко,
как ребенок, металось в дыму.
Редколесье...
Горбатые стланики
да березок кривые кусты
забрели, как убогие странники,
погорельцы,
на этот пустырь.
В десять лет это горе вмещается.
Год за годом плодит нищету.
И таежная тварь не решается
пересечь роковую черту.
Нем язык несмываемой копоти.
Но, узнав в человеке врага,
лишь одно только слово:
«Запомните!» —
десять лет повторяет тайга.
Нас — запомнят.
Бесхвойный, безлиственный,
обескровленный в мертвой золе —
вот каков он, не мнимый,
а истинный,
человеческий след на земле.

* * *

Ребенка плач, мычанье стада,
звон колокольчика вдали...
Людской усталости отрада —
живая музыка земли.

Естественный и стройный хор
ее певцов и музыкантов
неописуем, как простор
российских медленных закатов

Звучит вне времени, плывет
светло, негромко и печально,
знакомо и первоначально
зовет в бескрайнее, зовет!..

Россия, Русь!
Найти пытаюсь
исток бессмертья твоего.
Ни от чего не отрекаюсь,
не отвергаю ничего.
Несут меня твои паромы.
Ведут меня твои дела.
Ревут твои аэродромы.
Молчат твои колокола.

Тысячелетняя усталость
к земле пригнула ковыли...
Но все равно —
живой осталась
живая музыка земли.

И горько слышать мне, и сладко,
как вдруг в смятенье городском
заплачет русская трехрядка,
сама не ведая — о чем...



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Актуальный диалог

В стремительно меняющейся и сильно усложнившейся жизни писатель и читатель нуждаются друг в друге особенно остро, может быть, как никогда прежде. Обнаженное сердце современника, пронзительная исповедь писателя, надеемся, будут нравственным основанием нашей новой рубрики.

НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА

Сколько в стране профессиональных историков? Неудобно об этом спрашивать, но не мешало бы и подсчитать. Потому что очень неловко отнимать хлеб у этих ученых специалистов. И заниматься не своим делом тоже не очень-то приятно. Тем не менее заниматься приходится. Фальсификация истории продолжается. С помощью замалчивания событий и фактов, выпячивания одного и затушевывания другого. Да мало ли способов представить историю нашего государства в искаженном виде?

Взять хотя бы декабристов. Никто покамест не исследовал это движение в связи с масонством и европейским революционным движением, не рассказал об отношении А. С. Пушкина к Французской революции и тем же декабристам. Замалчиваются многие документы, не публикуются цифры и факты о крепостном праве в России. Многим кажется, что до 1861 года русское крестьянство было сплошь крепостным, тогда как на самом деле более половины его было свободным (о положении остальных читай опять же у А. С. Пушкина в его статье о Радищеве).

Многовековой опыт общинного землепользования в нашей стране всячески шельмуется, и шельмуется не только вопреки А. Герцену, но и самому К. Марксу. Историки и журналисты делают вид, что никакой переписки между К. Марксом и Верой Засулич по поводу русской общины просто и в природе не было (Маркс, предостерегая народников от разрушения русской общины, разъяснял, что его взгляды на крестьянство касаются лишь Западной Европы, но отнюдь не России).

Массовому нашему читателю почти ничего не известно и о кооперативном движении в России. Однажды в руки мне попала любопытная книга под названием «Календарь-справочник кооператора», изданная в 1918 году в Новгороде.

Прежде чем читать письма о раскулачивании, не пожалеем времени для знакомства с небольшим отрывком из этого «Справочника»:

«В 70 и начале 80-х годов земства вступили на путь широкого материального и идейного содействия кооперации. Особенно в этом отношении много было сделано Новгородским, Псковским, Московским и др. губернскими земствами.

Кредитная кооперация при поддержке Государственного Банка достигла значительного развития и оказала громадное значение на развитие крестьянского хозяйства.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ

Ее начало относится к 60-м годам прошлого столетия — к эпохе великих реформ. Первый устав потребительского общества — Рижского — был утвержден в 1865 г. Этот год обычно и считается годом начала русской потребительской кооперации.

Первое сельское Потребительское Общество было открыто в с. Оште Олонецкой губ. в 1870 г.

Надежды и чаяния кооператоров претворились в закон 20 марта 1917 года.

Этот закон давал кооперации полную свободу в ее деятельности и устранял все препоны и препятствия, которые до этого времени ставились на пути кооперации.

Но то, что было дано кооперации законом 20 марта, скоро значительно было сокращено и отнято назад последовавшими в продолжение 1918 года распоряжениями власти.

Кооперация из свободной независимой организации, развивающейся на свободе и самодеятельности ее членов,— превращена в государственную организацию, с принудительными функциями, и поставлена в служебное, зависимое от органов власти положение. При этом государство оставило за собой широкое право вмешательства во внутреннюю жизнь кооперации.

Полное осуществление кооперативной идеи в жизнь выражается в строительстве кооперативных организаций нескольких ступеней.

На первой ступени стоит кооператив, объединяющий отдельных лиц. Район для деятельности такого кооператива не велик.

Отдельные кооперативы объединяются между собою в кооперативы второй степени с районом на уезд, иногда больше, иногда меньше.

Следующую ступень составляют объединения кооперативов второй (союзов) в более мощный и обширный по району союз (областной, иногда губернский).

Выше областных объединений стоят Центральные Кооперативные организации с районом действия на Россию. Таких центральных организаций у нас несколько: Моск. Н. Банк, Центро-Союз, Союз маслодельных артелей, Центральное т-во Льноводов.

Для составления картины положения кооперации России необходимо ознакомиться с этими центральными организациями.

МОСКОВСКИЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ

М. С. П. Об-ств возник в 1898 г. Первоначально это была очень маленькая организация. Несмотря на то, что Союз ставил себе целью развить свою деятельность по всей России — объединить всю страну, в него входило только 18 членов; паевой капитал через год ограничивается 800 р., в нем был один служащий...

Особенно заметно С. стал развиваться после первой революции, после 1905—1906 г. он начал расширять свои операции: в 1907 г. взял в свои руки закупку и отправку товаров на места. Только в 1911 году Союз приобрел собственный дом и склады. В 1915 г. выстроил огромное 6-этажное здание, оборудованное по последнему слову техники; постепенно увеличивалось число служащих; увеличивались обороты и паевой капитал: первый в 1915 г. достигал 22 800 000, в. 16 г. 86 000 000; последний в 17 г. равнялся 2 588 000; открыл агентуры и закупочные пункты не только в крупных городах России, но и за границей — в Англии, Америке, Японии, и наконец приступил к собственному производству.

Рядом с торговой деятельностью шла и идет, непрестанно развиваясь, культурно-просветительная работа: Союз понимал, что только на этой прочной основе возможно строить свое великое здание. Эта неторговая деятельность сосредоточилась в особом органе при С.-Секретариате. В последнее время особенно развивается издательская деятельность: выходят журналы, один из которых («Общее дело») специально для крестьян, календари — настольный и отрывной, книги, брошюры и т. д.

Хозяином С. и главным распорядителем делами его является Собрание уполномоченных, состоящее из депутатов, избранных союзными Об-ствами, большое бюро из 20 человек, собирающееся несколько раз в год для обсуждения наиболее важных вопросов, и малое бюро (коллегия распорядителей), исполняющее текущую работу.

С 1916 года поставлен вопрос о преобразовании Союза в Союз Союзов (а не отдельных Потреб. Об-ств) и постепенно проходит в жизнь это постановление. Союз будет обслуживать не отдельные Общества, даже не маленькие Союзы, а крупные — губернские организации.

МОСКОВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК — ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ

М. Н. Б. был открыт в 1912 г. с капиталом в 1 000 000 рублей. Первое же собрание кооперативов-пайщиков постановило: деятельность свою Н. Б. должен направлять исключительно в интересах кооперации, и все свои капиталы он должен обращать на развитие кооперативных учреждений. Сообразно с этим все свои деньги М. Н. Б. раздает в ссуду только кооперативам и их союзам.

В первый год своей работы Б. мог выдать кооперативам в ссуду всего лишь около 3 миллионов рублей, в 1916 г.— 98 мил.; в 1917 г. и 1918 г. деятельность Б. еще больше увеличилась: вклады за 17 г. увеличились на 120 м. р., а общий баланс с 83 до 321 мил.; основной капитал достиг 35 мил., и правление предполагает увеличить его до 100 м. р. Операции банка за первые четыре месяца 1918 года дали ошеломляющие цифры — вклады увеличились с 153 мил. до 396 мил. руб.; общий баланс на 1 мая достиг 719 мил.

Кроме обычных ссуд для кооперативов Банк выдает ссуды под залог товаром (в 16 г. на 68 мил. руб.) и по поручению кредитных т-в и их союзов закупает главным образом разные предметы, необходимые в сельском хозяйстве (машины, семена и др., в 16 г. закуплено на 15,5 мил. р.).

До сих пор М. Н. Б. был представителем кредитной кооперации, выразителем ее нужд и интересов.

Помимо обслуживания всей русской кооперации кредитом М. Н. Б. вел и ведет большую работу по организации и строительству кредитной кооперации.

Инструкторский отдел Н. Б. является идейным центром кредитной кооперации.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ Т-ВО ЛЬНОВОДОВ

Льноводство составляет одно из побочных занятий жителей преимущественно северной России. Тем не менее оно дает им значительный доход, на рынок ежегодно выбрасывается до 20 мил. пудов, которые стоят около 100 мил. рублей.

Вся продажа и покупка льна и льняного семени находилась до последнего времени в руках частных торговцев, которые более всего заботились о том, как бы подешевле купить и подороже продать, не останавливаясь при этом перед прямым обманом покупателей вроде обвешивания и подмеси льна.

С 1914 года в качестве закупщиков льна и льняного семени выступили кооперативы. Сама жизнь заставила их взяться за это дело, чтобы прийти на помощь населению. Дело в том, что осенью 14 года вследствие закрытия заграничного рынка частные торговцы не стали скупать лен, который крестьяне вывозили после урожая на рынок. Положение владельцев льна было поэтому очень тяжелое. Вот тогда-то многие к-вы Тверской, Ярославской, Московской и др. губерний и выступили в роли скупщиков льняного волокна и семени. Кроме своих средств они получили ссуду из Государственного Банка.

За дело к-вы взялись энергично, вели его умело, и уже осенью 1914 г. через Московский Народный Банк продали в Англию около 270 000 пудов, на сумму более 20 000 000 рублей.

Более, чем кто-либо другой, к-вы понимают, что «в единении — сила», и потому стали хлопотать об объединении льноводных к-вов. В сентябре 1915 г. уже был созван в Москве съезд и основан Всероссийский Союз льноводных к-вов под названием «Центральное товарищество льноводов». Его пайщики — исключительно кооперативы. Ц. Т. Л. ставит своей целью прежде всего сбыт льняного волокна за границу, так как этот сбыт не под силу отдельным к-вам, а затем им организуется сбыт льняного семени на русские и заграничные маслодельные заводы; доставляются к-вам постное льняное семя, машины для обработки льна, принимая на себя оборудование маслобойных заводов и т. п.

Не ограничиваясь этим, Ц. Т. Л. заботится и о лучшей постановке льноводства в России, как центральная кооперативная организация по сбыту льна.

СИБИРСКИЙ СОЮЗ МАСЛОДЕЛЬНЫХ АРТЕЛЕЙ

Возник в начале 1908 г. и с тех пор безостановочно растет и растет...

Главным делом его является сбыт сливочного масла своих членов в Россию (до войны за границу). Во время войны союзом выполнены многомиллионные поставки хлеба и фуража на армию. Далее союз поставляет своим членам товары, необходимые в крестьянской жизни.

Союз имеет собственные заводы — мыловаренный, веревочный и др. и сделал большие приготовления к открытию после войны различных предприятий.

Для подготовки мастеров маслоделия союз имеет постоянные курсы в Кургане и периодические при некоторых конторах. Особые курсы устроены и для инструкторов.

Для детей крестьян, своих членов, союз имеет стипендии в среднем сельскохозяйственном училище в г. Омске.

Союз издает «Народную газету» для осведомления своих членов о работе всех учреждений союза, два общественно-политических журнала, книги, брошюры, листки и плакаты по политическим и общественным вопросам и по кооперации. Для этого имеется две собственные типографии.

Паевой капитал союза превышает два с половиной миллиона рублей при общей сумме баланса 44 мил. рублей.

Сибирский союз маслодельных артелей единственная в Сибири крупная кооперативная организация, которая играет исключительно важную роль в экономической жизни Сибири».

Такова картина с дореволюционной русской сельскохозяйственной кооперацией. Что произошло с нею в 20-х годах, куда делись кооперативные миллионы, пусть разберутся более достойные историки. Я же сейчас предлагаю читателю письма, рассказывающие о коллективизации и раскулачивании, которые последовали после постепенной отмены земельных законов и разгрома сельской кооперации.

В. БЕЛОВ.

Письма Василию Белову

* * *

...Дедушка наш Семен Игнатьевич Киселев родился и вырос в Черниговской губернии, бабушка Марина тоже. По их рассказам, они оба не помнили своих родителей. Росли в помещичьей усадьбе у дворников, не имеющих своих детей. При возрасте поженились, построили себе избенку на помещичьей земле, за что платили 50 коп. в год за аренду земли. Нажили троих детей. Старшему, моему отцу, было семь лет, когда он начал работать. Примерно в 1889 году дедушка и бабушка с тремя детьми выехали в Сибирь. Приехали в деревушку Ирбизино Чернокуринской волости (ныне Новосибирская область). Некий Афанасий Лужбин, заметив их, сказал: «Вот что, хохол с хохлушкой, поедемте в старую деревню. Вам у старожилов легче будет прожить». Приехали в деревню дворов на тридцать. Лужбин говорит: «Вот избушка, зимой на ночь загоняют овец. Вычистите навоз, просушите, кое-где подмажьте и живите. Мне платы с вас не надо». Навоза было в полметра, печка русская была, на окна была натянута скотская требуха.

Так началась их жизнь в Сибири. Семен Игнатьевич года четыре пас скот, бабушка работала по людям. Подрастали дети — два сына и три дочери. Со временем обзавелись лошаденкой, а потом и другой. Также коровой и другой. Дед начал заниматься крестьянством, то есть поднимать пашню и сеять хлебушко. Построили хатенку. Дети помогали — пошли в работники и няньки. Старший сын Михаил из срока в срок нанимался в работники. Не потому, что не хотел дома жить, а предусмотрел, что дома работы маловато, другие дети стали подрастать и помогать. Михаил до самой службы был в работниках у чужих людей. Слыхал я, как он не один раз говорил: «Каждое воскресенье оденусь лучше и чище, чем хозяин». Был Михаил услужлив и честен. Позднее, в 1923—25 годах, Михаил Семенович неоднократно приглашал и садил за стол со своими гостями бывшего своего хозяина Кузьму Сипифановича в возрасте 85 лет.

Летом 1914 года отца взяли на германскую войну. Мы с матерью остались вдвоем жить и работать. Жизнь, хотя и без отца, протекала в детстве нельзя сказать, что плохо. Отец был в плену в Австро-

Венгрии. Мама содержала трех лошадей, двух дойных коров, да и молодняк рос. Овцематок до десятка. Содержать все это и заготовлять корма на сибирскую зиму было трудно. Но с помощью своих родственников содержали, на зиму нанимали сезонного работника.

Сибирской зимой заносило наши дворы и сараи снегом. Кататься на санках хватало нам горок. Летние времена были теплые, бывало, после дождя бегаем по лужам босые, от земли идет воспарение. Летние гуляния и детские занятия происходили разнообразно. В лес пойдешь, после троицы, — пучки кислицы и разной травы съедобной. На озерах дикая птица всяких сортов. По ягоды ездили километров за десять, клубники, костяники набирали по два ведра на человека.

Года два не было писем от отца. В 1919 году в конце марта дедушка Василий привез его на паре лошадей. Конечно, встречали, полдеревни было людей. Мне было десять лет, а оставлял он меня пяти лет. Тут моя жизнь пошла веселее, но, наверное, потруднее. Папа наш с детства приучен к труду, и меня он приучил к труду, к сельскому хозяйству. Взялся он за обработку вольной сибирской земли. Но сказалось по-другому. Настала другая жизнь. Людям надоело жить спокойно. Повернули в бушующую разруху.

Я в двенадцать лет уже ходил за плугом. Но о трудностях не говорили кто хотел трудиться. 1922 год был неурожайный, но жизнь наступила более спокойная. Крестьяне один перед другим соревновались. Если брат посеял побольше, то и другому брату не хочется отставать. В 1924 году был урожай хороший. Отец купил парную бричку. Было четыре рабочих лошади и два подростка, вырастили хорошего вороного рысака. В 1925 году за одно лето построили дом из трех комнат, два амбара и все дворы для скота. И в этот год потерпели урон в хозяйстве. Волки задушили двадцать штук овец, пали мерин и вороной наш рысак. Осталось наше хозяйство — два рабочих коня, одна дойная корова, десять овец. Можно было на этом остановиться и жить поспокойнее. Однако крестьянина нельзя отлучить от труда. Опять начали засевать побольше площади. А ее в Сибири, для тех, кто не ленился и заражен землепашеством,— паши, сколько хватит твоей силы. И вот в эти годы, с 1925 по 29 год, нам с отцом пришлось попотеть. Прибавилась семья. В 1922 году родился брат Максим, в 24 году родилась сестра Анна. В 1928 году отец купил хлебоуборочную машину (лобогрейку «Коммунар») в рассрочку на два года в товариществе. Хозяйство прибавилось, стало четыре рабочих лошади, три коровы, двадцать овцематок, одна парная бричка, выездной ходок, телега.

В 1929 году мои родители задумали меня женить. Конечно, спросили меня, кого будешь брать в жены. Я предложил знакомую девушку, но родители стали возражать, что она не знает нашего образа жизни. Я не стал противоречить родителям, сказал, чтобы подыскивали сами, чтоб только мне понравилась. У родителей было много знакомых и друзей и в других деревнях. Поехали в село Ново-Николаевку и посватали невесту Нюру. Невеста дала согласие, а родителям тем и другим того и нужно было, так как они давно были знакомы. Сделали свадьбу, и вот живем сорок с лишним лет. В феврале 1929 года поженились и, как говорится, в хороших отношениях до сего времени. Мы с Нюрой проработали весело, можно сказать, одно лето. Бывало, куда ни поедем, все вдвоем и все с песнями. Это лето было самым веселым и самым счастливым. Если бы так пришлось прожить хотя бы лет десять.

В 1930 году отца лишили голоса, превратили в кулака. Мне власти предлагали отделиться от родителей. Но мы с Нюрой поимели совесть не бросать родителей.

В конце февраля 1930 года меня назначили на своих лошадях везти партию лишенных на ссылку в Томскую область. Никто не знал, куда, в каком направлении везти, но говорили, в Нарым, в тайгу. И вот нам пришлось быть в пути-дороженьке больше месяца. Наш путь был через Барабинск, Ваганово, Петюконово, Дорофеевку, Биозу. В Биозе пришлось нашему обозу делать суточную остановку — были роды в коробу. Углубились в болото на семьдесят километров, и ни одного строения нет. На наших глазах женщина, у которой был месячный ребенок, выпала из саней, а задний конь набежал и кованым копытом наступил на голову женщине и убил насмерть.

Сопровождали наш обоз два милиционера. Приехав в село Шерстобитово, мы сгрузили семьи и их вещи. В Шерстобитове все квартиры были забиты, люди спали сидя. Когда я зашел в избу, то не удалось даже шагу шагнуть от порога. Здесь я встретил своих знакомых, тетя Фекла Андреевна поставила скамеечку у порога и накормила меня. Эта встреча была не более пяти минут. Сразу же уехали обратно.

Подъезжаем к своей деревне Кукарке, а люди мне говорят, что вашу семью уже выгнали из дома. Приезжаю, меня встречают слезами. У мамы родился мальчик, а у моей жены девочка. Две люльки. Живут на задах в Семиненковой хате. Прожили неделю. Отцу в сельсовете сказали: «Готовьте семью, будем вас через два дня ссылать». Ну что ж, я уже на эту картину насмотрелся. Начал готовить дуги, чтобы укрыть сани. Ведь в нашей семье двое грудных детей и еще двое, братишка с сестренкой, малые. Но на наше счастье, все единоличники, кого назначали нас везти, отказались, так как скоро уже должна быть посевная. И таким способом в 1930 году нас не выслали. Нам, десяти семьям, отвели отдельный земельный участок, разрешили сеять и строить себе поселок. Живем мы все в этой хате. Заболели грудные дети. Сначала умер у мамы ребенок, а через две недели и наша девочка умерла. Весной мы перешли на квартиру к своим родственникам. Совместно с дядей Семеном и провели посев-

ную. Хотя и жили на квартире, а все равно стремились работать.

В августе 1930 года меня мобилизовали на строительство Сибкомбайнового завода в Новосибирске. Но туда мы не попали. Наша группа была завезена на заготовку дров в Каргатское лесничество на станции Пеньки. Вот тут-то и мы узнали, как звать кузькину мать! На работу ходили за 2—3 километра. Хлеб давали овсяный, в котором были соломинки по 10—15 см. Дома мы такого хлеба не видали. Сначала кусок в рот не шел. Возьмешь да и забросишь кусок в траву. Пока были кое у кого деньжонки, покупали картошку и варили. Правда, была столовая. Завтраком, ужином кормили — несчастный бульончик. Работали бесплатно, только что одевали и кормили, а как кормили — уже известно. Списались со своими, ко многим стали приезжать и привозить продукты. Приезжала и ко мне жена два раза. Месяца через два безобразия были разоблачены и стали кормить получше, ржаной хлеб и приварок. С сентября по март нам не выдавали никакой зарплаты. Когда нас стали перебрасывать в конце марта на стройку Кузбасса, обещали выслать зарплату, но так ничего и не выслали.

На стройке Кузбасса поместили нас в палатки на верхней колонии. Так назывался лагерь под комендатурой. Здесь уже ходили на работу бригадами в сопровождении охранника. Здесь получали зарплату и питались в столовой. В июне 1931 года получил письмо от семьи, что повезли неизвестно куда. В августе получил письмо с Севера, из Нарыма.

Многие, и я в том числе, стали хлопотать о соединении с семьями. В октябре разрешили, и я прибыл к семье в конце октября. Отца моего уже не было в живых. Он был угнан иа работу за 75 км, где погиб от голода. Получили это известие от сбежавшего оттуда соседа. Сосед нам обсказал, что отец очень ослаб и был болен, его отпустили, выдав два кг хлеба. Значит, погиб в дороге, и кто похоронил, неизвестно. Еще одного сына крестьянского жизнь окончилась, и как, одному богу известно.

Я прибыл к семье. У них была избушка, выкопанная в земле и надрубленная в пять деревянных рядов. Для коек была оставлена невыкопанная земля. Избушка 3 X 3 м. Была сбита из глины русская печь. Жили в ней восемь человек, я прибыл девятый. Пошел в бригаду строителей. Продукты продавали по норме: на работающего 16 кг муки, на иждивенца 8 кг, и все.

Пришлось записаться в колхоз самому. Приходилось ходить по домам, убеждать членов семьи. Глава семьи запишется в колхоз, а на второй день приходит и просит выписать. Родители не согласны, жена не согласна, вплоть до развода.

Так как с малых лет я был привычный к крестьянскому труду, то с 1933 года избрали меня бригадиром полеводческой бригады. В конце 1934 года осудили председателя, бухгалтера, кассира, зав. током, кладовщика и бригадира 1-й бригады. Избрали новое правление. Меня избрали заведующим фермвми: молочная ферма, конеферма, свиноферма и овцеферма. Кормов было в достатке, но нормальных помещений для скота не было, все были примитивные, холодные. До моего назначения зав. фермами мне предоставили отпуск. Я решил побывать на родине. Собрал небольшую котомку продуктов и решил пройти пешком 500 км. На третий день я уже шел по тайге. Только дорога и дыра в небо, а местами и дыры не было, ветви деревьев закрывали. Примерно часам к десяти вечера душа моя повеселела. Услыхал лай собаки. Еще шел часа полтора. Наконец собака начала лаять сильнее и уже выбегает мне навстречу (спасибо, встречает). Особо на меня не напирает, а вроде как приглашает, хотя и лает всурьез. Вышел человек и кличет собаку, приглашает меня. Зашли в избу, вижу женщину и двоих детей. Приветили: «Раздевайся, сейчас чаю согреем». Ночевал в тепле, хорошо. Утром попил чаю, за квартиру ничего не взяли, обсказали где ночевать. Следующую ночь ночевал в Верх-Балке. За ночь выпал снег, все тридцать километров пришлось шагать по снегу выше колена. В Верх-Тетере переночевал, потом в Верх-Бочкаре. Стал дожидаться обоза, так как смущался пойти один через болото 60 км, где не было ни одного жилья. Приехали обозники в пять подвод, поднялись в три часа ночи и поехали. И я пошел за подводами. Прошел я еще два дня, пока добрался до железной дороги. По железной дороге я прибыл на станцию Багон. Постучался в одну избушку. Мужчина пригласил меня в избу. Оказывается, он был в тюрьме, а его жену с двумя детьми сослали, а третьего, меньшего, взяла тетя. Когда он вернулся из тюрьмы и устроился работать на станцию, он забрал у сестры сына, и вот живут вдвоем в этой избушке. О жене ничего не известно Посадил меня за стол, накормил, говорит: «Кушай, не стесняйся, а потом будем говорить». Конечно, я был благодарен. После легли вместе на нары и допоздна разговаривали. Утром попрощались, он поблагодарил меня за известия о том, как живут те люди, которых сослали.

На душе у меня повеселело, потому что шел я уже по знакомым местам. Пришел я в Рассейку, захожу во двор к тете Клаве. Она меня не узнала, так как я обросший и небритый. Когда я сказал, что я Киселев Евгений, Михаила Семеновича сын, она в ужасе посмотрела на меня: «Откуда, как сюда попал?» Вот и пошли у нас расспросы и рассказы. Кто жив, кто помер и как протекает жизнь на Севере. Пожил я у теток дня три, посмотрел на их деревушку, наполовину нарушенную. Пошел в свою родную деревню Кукарку.

Тетя Анна Григорьевна обрадовалась и испугалась. Брат Ваня первым подскочил и обнял меня, а тетя стояла, плакала и не знала, что сказать. Такую встречу после пяти лет разлуки описать трудно. Они думали, что, может, я сбежал и меня надо скрывать. Ну, наплакались, конечно, все. Начали расспрашивать, даже забыли или растерялись, что иадо прежде всего накормить. Наверное, через час кума Пе-

лагея Николаевна говорит: «Надо ведь его накормить, а то мы окружили все его». И начали колготиться насчет стола. За столом уже пошли беседы повеселее, так как я уже объяснил им, каким способом я явился к ним. Хотя они не очень были уверены в моем объяснении. Тут я даже показал им документы, заверенные районным комендантом под круглыми печатями.

Вскоре подошли соседи. Пошли расспросы и рассказы про всех родных и односельчан.

Утром я пошел в сельсовет. Когда предъявил документы, председатель сказал: «Пожалуйста, живите, только никаких сборищев не собирайте». Председатель был незнакомый. На другой день я принес заявление о восстановлении в правах голоса. Через три дня разобрали и принесли мне результат. Члены совета были все молодые, мои товарищи. После они мне сказали, что большинством голосов решили восстановить. Но подошел учитель, бывший наш сосед, который играл большую роль на селе как оставшийся один коммунист из сорока после чистки в партии. Он сказал, что если вы его восстановите, то он запросит свое хозяйство. А нашего хозяйства было в целости один дом. После таких толкований члены совета встали в тупик. И после многих разговоров решили отказать.

Я жил в родном селе дней восемь. Можно было бы пожить и дольше. Однако сама обстановка показывала, что я здесь чужой. Да и сам жил не со спокойной душой. Потому что случись что-нибудь, какой несчастный случай, пожар колхозных строений, и коли сын кулака здесь, в селе, это определенно его вина или его наставление. В те времена такие примеры от партийного руководства часто принимались. Поэтому самому приходилось обдумывать и покидать родное село. И вот собрали прощальный вечер, конечно, поплакали. Назавтра я простился со всеми родными и соседями. Конечно, это в последний раз.

КИСЕЛЕВ
Евгений Михайлович, 1909 г. р.,
г. Серов, Свердловская обл.

* * *

...Вам очень многие пишут, но все ж я решила написать о коллективизации в тех местах, правда, со слов моей ныне покойной матери.

Моя мать родилась и юность провела в Вологодской области, деревне Большое Высоково Череповецкого района, рядом было Малое Высоково. Теперь, по-моему, этих деревень уже нет.

Когда началась коллективизация, мать уже была замужем. Раскулачиванию подверглись ее старший брат и отец-вдовец, который жил в его семье. Конечно, никакими кулаками они не были. Просто любили много и хорошо работать, никакое дело у них из рук не валилось. У них было порядочно скота, чтобы удобрять малоплодородную землю. У маминого брата было много детей младшего возраста, была няня, как у многих в то время. Наемным трудом батраков не пользовались.

Мать говорила, что их раскулачили просто и жестоко, торжествовало полное беззаконие. Всех выгнали из дома, полностью отобрали все хозяйство и даже личные вещи. У жены брата умерли родители в соседней деревне, она осталась единственной законной наследницей хорошего дома, но и в этом ей было отказано. Потом брат с семьей оказались на Кольском полуострове. К земле больше не возвратились. Через некоторое время переехали в Вологодскую область и стали работать в леспромхозе. Мамин брат очень хорошо и честно работал, и в послевоенные годы его иаградили за такой труд кожаным пальто. Нашлись стукачи, которые сообщили, что он бывший кулак и недостоин такой награды. Но нашлись и умные люди, которые дали отповедь: «Если бы все работали, кек он, давно бы пришли к коммунизму».

После коллективизации парадом в деревне стал командовать Ванька Епифанов, законченный лодырь. Мать вспоминала, как он косил свой овес под Новый год. Все хозяйственные постройки раскулаченных были разобраны на дрова, а дом заброшен.

Л. В. ПАРШИНА,
г. Ярославль.

* * *

...У нас было восемь детей: Тимофей 1904 г., Екатерина 1906 г., Андрей 1910 г., Анисья 1912 г., Вера 1920 г., Пелагея 1921 г., Алексей 1924 г., Иван 1926 г. Старший брат рано женился, и у него к 1927 году было уже четверо детей. Стало тесно, и потому отец построил новый дом, а в старом остался брат с семьей. Отец был иа империалистической войне. Возвратился и построил маслобойку. В нашей местности сеяли коноплю. Трудились только свои, работников хватало.

В 1930 году на наш сельский Совет была дана разнарядка на заготовку леса для строительства школы. Брат Андрей с шестнадцати лет каждую зиму ездил в г. Брянск на заработки. Поэтому на заготовку леса поехал отец. С тех пор мы его никогда не видели. Из села еще в четыре семьи не вернулись мужики. Это было в феврале, а в марте ночью к нам постучали, когда мать открыла, то человек в надвинутой шапке попросил выйти к нему Катю. Катя вернулась в дом, одела шубу, валенки на босу ногу и тут же ушла из дому. Он ей посоветовал уйти и поменять фамилию. Иначе вышлют в Сибирь. Она так и поступила. Ночью ушла, а на второй день вышла замуж за самого плохого человека. Утром мы еще не ушли с сестрой Верой в школу, как к дому подъехала подвода, и из нее вышли четверо мужчин. Двое были вооружены. Вошли в дом и сразу же заставили мать собирать детей, а сами все перевернули

в доме. Мне особенно запомнился один, который кричал: ищите ее. Двое искали и во дворе, и в хлеву, и в кладовках, и на чердаке, словом, лазали везде. Из дома никого не выпускали, а когда вернулись и сказали, что нигде ее нет, крикливый матери говорит: «Бери еды в мешок и веди детей в сани». Мать спросила: «Что же я буду делать с такими малыми детьми, куда же вы нас хотите везти?» Он ответил: «Если боишься, иди и залей их в проруби». Мы все это слышим, плачем. Вывели нас, посадили в сани и повезли в район. Район от нашего села в 7 км. Подвезли нас к церкви. У двери два парня с винтовками, нас впустили. Что мы там увидели! Людей с детьми полно. Окна в церкви забиты досками. Каждый день все новых и новых приводили. Не знаю, сколько времени, то есть дней прошло, только у нас кончилась еда. Стало трудно выбираться в туалет из-за страха потеряться. Мать в шубе держит младшего. Там мы встретили две семьи односельчан, но у них были мужчины. Потом каждый день стали вызывать семьи и увозить, вызвали и увезли наших односельчан. Наконец и нас вызвали. Когда мы вышли, нам объявили: можете идти на все четыре стороны. Мы пошли в свое село. Снег рыхлый, трудно идти, но мы еще не знали, что самое трудное впереди. Пришли в деревню, а там, где был наш дом и постройки,— пустое место. Плачем мы, голодные, а люди боятся подходить. Мать говорит, нельзя нам идти к Тимофею, как бы ему не было худа. Он уже записался в колхоз. Подошел к нам дядя Федя, он одинокий, не испугался, привел в свою хату, накормил, отогрел. Пошла мать в сельсовет. Спрашивает, как мне жить с детьми, где дом, хозяйство, вещи. Там ей ответили, что отца уже судили и выслали, потому и вам лучше убраться из села. Ночью брат принес кое-что из одежды. А утром мать говорит: «У нас нет еды и ехать пока нам некуда, идите по хатам, просите хлеба». Вот мы втроем пошли по хатам, а просить не можем, стоим у дверей. Спасибо людям, давали. Самый младший брат умер, видно, в церкви простыл. А мы дожили так до мая. В мае сестру Веру и меня отдали в няни, а мама с Анисьей и Алексеем уехала. В августе 1931 г. за мной и сестрой приехал Андрей. Мать с братом работали на заводе. Сестра на швейной фабрике, а самое главное, что и Катя приехала к нам. Братья воевали. Погиб старший, инвалид 1 группы второй, умер третий.

В 1962 году мне указали, что не все с биографией в порядке. Я обратилась в прокуратуру г. Орла. Дело передали в президиум Орловского областного суда. Вот что мне прислали:

«Гр. Сальникова Г. А. по настоящему делу считать полностью реабилитированным.

Председатель Орловского облсуда Д. Милованов».

Мне особенно неприятно в этом ответе «по настоящему делу», как будто у отца было какое-то дело. Ведь он так и не вернулся. Хочу установить, где и когда он умер...

ТЫШКЕВИЧ П. Г.,
г. Брест.

* * *

...Это были крестьяне, не политики и неизвестные люди в стране. Но это все-таки люди, люди-труженики, безвинные жертвы. И их было намного больше, чем в 37 — 38 гг. Я тоже часто думала, о них почти не говорят. А если и говорят, то в той форме, что была разорена деревня неправильной коллективизацией. А людей как бы это и не коснулось.

Я — живая жертва — дочь «кулака». Мне тогда не было и десяти лет, но в годы Великой Отечественной, на передовой, мне из «Смерша» напоминали, чтобы я не забывала, что я дочь «кулака». Те, кто говорит о том, что простой народ жил спокойно в то время, как же они не правы. Семьи «кулаков» Днепропетровской области были вывезены в леса за Нижний Тагил. Не дали ни работы, ни чего другого, просто на вымирание. У меня в течение трех месяцев умерли родители и брат, три человека. Меня забрали в детдом и заставили работать. В лесах мы собирали смолу из сосны. Многие дети погибли в лесах от зверя, от голода и от людоедов, которых в то время было в лесах очень много.

Кажется, можно было бы книжку написать. Когда я, редко правда, бываю в селе Самарском, Петропавловского района Днепропетровщины, я прихожу на место, где жил «кулак», и долго сижу окаменевшей. От саманной хаты остался бугорок; конюшни, где была корова и две лошади. Никто на этом месте не живет, все поросло бурьяном. Так распоряжается людьми и землей дорвавшийся до власти деспот.

Мне очень хотелось бы почитать Вашу книгу. У нас с этим пока очень плохо.

Я Вас оторвала от работы, извините.

ДЯТЧЕНКОВА Д. Ф., уч. ВОВ,
г. Ставрополь.

* * *

...Насколько я понял, Вы собираетесь или уже пишете книгу о событиях 30-х годов, как выселяли крестьян из сел, куда Макар телят гоняет или не гоняет. Так вот, из нашего села выселили 10 семей крестьян, да, да, крестьян, мало чем отличающихся ото всех сельчан, а то и беднее. Многие погибли, в том числе и мои родители, отец-мать, и брат еще холостой был, я чудом уцелел, хотя и был с ними. Как малолетку меня особенно и не задерживали, правда, в одном месте пришлось спрятаться, и ехал до своего села как беспризорник, но я уже много... (неразборчиво). Есть ли у Вас такой материал о спецпереселенцах в Казахстане, это примерно от ст. Актау (Актасты) км. 30, а от ст. Караганда км. 60? Так вот, в этой местности, у Гнилого болота, был лагерь. Люди умирали от болезней, так как вода насыщена была клещом, ее цедили и кипятили чай, клещ оставался в марле. С наступлением холодов люди спали почти под открытым небом, видать небо, так как нет крыши, об отношении нет речи, умирало до 150 человек в день. Была общая яма примерно 8Х7 и глубина около трех метров. Вот в той яме лежат кости моей матери. Мне было в ту пору около тринадцати лет. Это было в 30 — 31 годах. Если эти кости не убрали, то они и по сей день лежат догнивают. А все невинные люди, согнанные с сельской местности только за то, что некоторые могли жить и делать что больше других. Если что нужно, то могу дополнить, причем нужен ли такой материал для писания Вашей книги, наверное, я уже не доживу, чтоб почитать эту книгу. Мою фамилию прошу не упоминать, так как у меня с образованием дочь и зять на руководящей работе и сыновья тоже, и они об этом ничего не знают. Мне уже 70 лет, пенсионер, участник ВОВ, орденоносец.

Л. И. В.,
г. Джизак, Сырдарьинская обл.

* * *

...Нас было восемь детей, мне было двенадцать лет, брату шестнадцать лет, а остальные мал мала меньше. Выгнали из дому, лишили нас прав, вывесили списки, что мы все дети лишенцы голоса. Не пускали нас в кино в деревне, в Новый год в школе выгнали с елки как детей кулака. Посадили папу в тюрьму. Не знаю до сих пор, за что. Говорили, за продналог. Мы без крыши над головой, без куска хлеба, никто на квартиру не пускает, боятся. Мама побиралась по деревням, кормились как могли, ни денег, ни хлеба, ни жилья, ни одеть, ни обуть у нас ничего не было. А какие мы кулаки, был у нас дом как у всех в деревне, изба в доме, лавки кругом, стол, печка и полати, где мы спали зимой, а летом на полу.

Хозяйство было — лошадь, две коровы, поросенок, овцы, десять кур. Из мебели — самовар, корчаги, чугуны, квашня, глиняная утварь. Вот и все, земля как у всех, наемной силы не имели, обходились сами. Мне было восемь лет, я возила навоз в поле на лошади. В десять лет я жала, сено убирали всей семьей. И вот мы остались между небом и землей.

Когда описывали имущество, милиционер говорит мне: Галька, бери хлеб с собой, все у вас заберем. Это был двоюродный брат папы.

Что у нас было из вещей? Мамино пальто плюшевое, еще покупали отец и мать, когда она выходила замуж. Полушубки, даже детские, холстины несколько кусков, платки ситцевые, платья мамины. У нас не было ни одного отреза, даже... (неразборчиво) описали и увезли половики три штуки домотканые. Вот наше богатство. Они нам искалечили жизнь. Нас не принимали учиться — кулаки. Я до сих пор удивляюсь, как мы выжили. Обидно, за что мы так страдали. Мы же дети, легко ли было нам.

Если вас заинтересует мое письмо, напишите мне, я отвечу. Жду ответ, пожалуйста, напишите.

Мой папа Хмелев Александр Иванович, мама Хмелева Александра Васильевна. Мы — дети от 3 до 14 лет — 4 брата и 4 сестры. В 1929 году нас раскулачили. Все наши тряпки забрали, скот увели, пришли забирать последнюю корову. Она была холмогорской породы, давала молока 25 литров в день, мы ее все любили, Красавица звали ее. Так вот, папа пошел в хлев, прихватил с собой водки и вылил корове в рот. Мы все провожали ее и плакали, она прошла по деревне, дошла до отвода и упала. Все закричали: сдохла. Милиционер и понятые разошлись. Прошло два часа, корова встала. Тогда односельчане решили ее зарезать и мясо отдать нам, чем мы жили зиму.

Мама и мы жили у дальней родственницы в зимовке. Папа отбывал срок неизвестно за что, за недоимку, продналог, шесть лет был в заключении.

Потом мама с двумя братиками на запани заработали денег на билеты и мы всей семьей уехали в Архангельск. Жить было очень тяжело, голодно. За 5 лет нашего мучения нас осталось 4 из 8: я, сестра, братья Коля и Ладик. Оба брата в финскую войну добровольцами ушли на фронт. Мой муж погиб в 1941 году, брат Ладик погиб, Коля пришел с войны инвалидом I группы. Я взяла дочь из детдома, воспитала, сейчас ей 37 лет, имеет двоих детей.

БОЧАРОВА (Хмелева)
Галина Александровна,
г. Новочеркасск, Ростовская обл.

* * *

Родилась я в 1920 году, в деревне Кулешиха Харовского района Вологодской области. Отец мой — Румянцев Трифон Васильевич.

В период коллективизации мои родители в колхоз не вошли. Тут все и началось. Отца арестовали, не предъявив никаких обвинений, и еще четырех мужчин из нашей деревни. А вскоре и нас — четверых детей и маму — выгнали из дому, отобрав все, что мы имели. Поселили нас две семьи в одной избе.

Ночами очень часто приходили и требовали вещи, хлеб, картошку, рылись в углах и под лежанкой, кричали на маму и ту женщину, которая тоже с детьми жила с нами вместе. Слава богу, не все были такие изверги, помогли маме сохранить и кое-какие вещи, и хлеб, не дали нам умереть с голоду. Когда они кричали, моя младшая сестренка, ей было два годика, цеплялась за маму и звала домой, мы все в один голос ревели, страшно вспомнить. Когда нам нечего стало есть, старшую сестру забрала тетка в деревню Новец, а мы бегали к бабушке и маминым братьям Пушкиным, чтобы поесть. Так и их преследовали — зачем принимают кулацких детей. После полутора лет (столь-

ко сидел отец без суда и следствия) вернулся папа с документами, чтобы вернули все отобранное. Но не долго мы пожили в своем доме. Мама в колхоз не пошла, и папе пришлось уехать в город. На нас опять начались гонения. Один налог больше другого, и так у нас постепенно отобрали все, дошло дело до дома. Стали опять выгонять. Особенно усердствовал сосед Кабанов Павел. Однажды пришел выгонять нас, мамы дома не было, мы со страха залезли на печку. Он говорит: «Вот выставлю рамы, заморожу, как тараканов». В очередной раз приходит этот Павлуха (так его называли в деревне), мама ему говорит: «Как тебе не стыдно и не страшно заморозить моих детей, ведь у тебя свои такие, подумай своей головой, что говоришь и делаешь». Когда я закончила четыре класса и хотела поступить в пятый, мне ответили: «Кулацких детей не принимаем». Это было для меня самое больное, мне так хотелось учиться.

Короче, приходят несколько человек и начали нас выгонять, вынесли наш скарб на улицу, на снег. Мама со слезами ползает на коленях перед этими бесчувственными людьми, просит оставить нам баню, но увы. Нас поселили три семьи, двенадцать человек, в одну избу. Тут у нас уж ничего не было. Постепенно из этой избы начали разъезжаться кто куда, и мама с братишкой уехала к папе. Мне тринадцать лет, осталась с младшей сестренкой, сама и варю, и пеку, что принесут добрые люди, а у них и у самих не стало ничего. В таком возрасте меня посылают на лесозаготовки, кое-как я зиму проработала, больше не выдержала и сбежала в Архангельск к родителям.

ЛИПАТОВА
Александра Трифоновна,
г. Приморско-Ахтарск,
Краснодарский край

* * *

...Древняя часовенка в деревне Пашковской. Как только не издевались над ней, подо что только не использовали, даже под птичник. Не раз пришлые с топорами и ломами приходили, чтобы разрушить, но добрый человек Александр Елькин грудью встал на ее охрану.

На свои средства и своими силами А. Елькин, П. Костина (Беляева), Варвара Федоровна Иванова и другие отремонтировали в 1985 году часовенку, чтобы по образу своих предков и в память родных и близких, особенно погибших на войне и в репрессиях, помолиться в ней. Когда все ими было сделано, местные власти против их воли сделали в ней выставку, посвященную писателю С. Н. Зенкину. Не слыхал, чтобы он имел отношение к Люговичам — моей деревне.

Издавна 11 июля в часовенке праздновелся местный праздник. И ныне стекаются сотнями из разных мест люди, не утратившие веру. А на часовенке почти все время висит замок.

Как эти праздники прежде способствовали укреплению родственных чувств, единению людей! От мала до велика хаживали из одной деревни в другую. Кроме деревенского пива редко что и пили, а песен пелось много, играли гармошки. На полгода, а то и больше помнился, возвышал и укреплял душу праздник.

Сейчас, как невозвратное чудо, вспоминаю игрища с песнями и плясками, зажигательную кадриль. Без них никогда не обходились вечеринки и свадьбы. С каким волнением ждали мы масленицу, любовно обряжали лошадей начищенными сбруями. Под разукрашенными дугами заливались колокольчики. До полсотни лошадей, запряженных в праздничные сани, обгоняли друг друга.

Свои радости были на сенокосе наряду с жарким трудом. А сколько ягод носили из лесу, особенно клюквы и брусники. До пяти ушатов, по четыре ведра в каждом, засаливалось грибов.

Не знали гипертонии и прочих болезней, хотя нередко уже на второй день после родов женщины управлялись с хозяйством и скотом.

За последние тридцать лет в деревне Люговичи не построено ни одного дома. На всю деревню три коровы. Продукты завозят из города.

Только в деревне Пашковской из двадцати дворов в годы коллективизации в шести дворах были раскулачены трудолюбивые семьи. Многие из них не вынесли издевательств. Только Дмитрий Петрович Еричев вернулся домой из Юлежнего ада, но пожилось дома мало после всех мытарств. Сколько членов семей, особенно детей пострадали в спецзонах!

Какие это были работящие мужики! Например, Иван Беляев с сыном Гаврилой были арестованы за то, что сорвали пломбу с опечатанной церкви и зазвонили в колокола. Злая участь постигла и еще двух братьев. Только из одной семьи Беляевых четверых замучили. А сколько пропало без следа в результате репрессий из всего сельсовета?

Многих окрестных деревень нет уже ныне. Злым олешняком заросли и дворища и поля, возделываемые веками.

Григорий Поликарпович
ВАСИЛЬЕВ, 1911 года рождения,
ветеран войны и труда,
мастер спорта СССР.

* * *

...Я уроженка Вологодской области, Шольского района, деревни Старое Село. Родилась в 1926 году. В 1928 году, когда мне было два года, умерла мать. Трудно было тянуть крестьянское хозяйство, и отец через год женился. В 1929 или 30 году отец попал в подкулачники и по разнарядке подлежал к выселению через раскулачивание.

Выслали его в Сибирь с нами и мачехой. Как мне давно еще рассказывали родственники и те, кто раньше знали отца: когда нас, ребятишек, повезли в розвальнях, запрещая что-нибудь взять с собой, жители окрестных деревень, не говоря уже о родной деревне, плакали.

А началось, говорят, именно с поленницы дров. Соседи брали самовольно, а отец не дал.

Отец в Сибири прожил полгода. До работы он был охочий и, придя потный вечером в барак, выпил ковш ледяной воды. Я плохо помню, как отец болел. Помню, когда отец уже лежал в часовне, мачеха держала меня на руках и сказала мне: «Манюшка, это твой папенька». Похоронив отца, она вернулась на родину. У нас тогда уже не было ни дедушки, ни бабушки. Сдала мачеха нас в детдом в Белозерск. Больше мы ее не видели.

Прожили мы в детдоме до 1932 года, а потом нас двоих маленьких забрал дядя, а старшую оставили в детдоме. Так мы лишились родителей, своего угла и вообще всего. Всем троим досталась горькая доля детства.

Знаю, что у отца были золотые руки, все умел делать, был мастеровой мужик. Спокойный по характеру, трудолюбивый, хороший хозяин. Все пожилые люди, с кем бы ни довелось беседовать, подтверждали это.

С 1932 года мы с сестрой жили у дяди в деревне Мегра Белозерского района рядом с тетей Сергея Орлова. Тетя его, сестра Екатерины Яковлевны Феоктиста Яковлевна, была замужем за братом моего дедушки. Сергей ходил в гости к тетке, и мы ходили туда, да и двор был один.

Последние годы все сильнее тянуло на родину. Долг дочерний поклониться могиле мамы. Жаль, что отец не знаю где похоронен. В 1984 году с восьмилетней внучкой Катенькой поехала в родные места. Постояла и поплакала возле отчего дома. Горько стоять и не сметь зайти в родной дом, в котором шестьдесят лет живут чужие люди. Обкрадена не только в этом, а даже могилу матери не нашла. Варварски, преступно сломали церковь на горке и разровняли кладбище возле нее. До чего доводит подлое беспамятство! Только низко поклонилась матери на месте, где должна была быть ее могила. Испокон веку заведено было на Руси: дети должны отдать дань памяти родителям. Веками ни у кого рука не поднималась на кладбища, на осквернение памяти.

Дорогой Василий Иванович, Вы простите меня, ради бога, что я к Вам так обращаюсь, но Вы должны меня понять.

У меня к Вам, народному депутату СССР, просьба, с которой не знаю, куда мне обратиться, кроме Вас. Могу ли вернуть теперь отцовский дом? Нас осталось две сестры, одна умерла. Дом уже старый, обычный деревенский дом, но мне он очень дорог. Должно же быть что-то святое! Здесь жило несколько поколений крестьянского рода, мои родители, здесь я родилась. К старости человек все больше тянется к родному, к своему уголку на земле.

БЫНИНА Мария Михайловна,
в девичестве Клюшина.
г. Мурманск.

* * *

...Всем здравомыслящим людям понятно, что в каждом сословии должно наследоваться мастерство, гордость за свое дело. Сколько можно было слушать безумных догматиков, закостенелых в нудном суесловии о «двойственной природе» мужика, о «ликвидации различий между городом и деревней». Десятилетиями боролись с народом, раскрестьянивали Россию, получая за подлый бред народные же деньги.

Уже весной 1918 года начали создаваться комбеды, появилось насилие в деревне, разговор наганом, первое раскулачивание. В итоге кровопролитная братоубийственная война, крестьянские восстания, страшный голод 1921 года, эпидемии. Многие миллионы жертв.

В семье мало что осталось от тех времен, но стоит дом, строившийся в 1917 году, крытый цинковым железом. За стремление жить по-людски мой двоюродный брат отмучился в застенках три года.

Вторая волна насильственного раскрестьянивания, начавшаяся денежным обложением в 1928, раскулачиванием в 1929 и последующих, привела снова к еще более страшному голоду 1932 — 34 годов, к эпидемиям тифа.

И во сне не приснится то, что было явью в 1933 году. Мне семь лет. Гробик братика на столе. Сестрички-двойняшки умерли еще раньше. От тифа вскоре в 27 лет умирает мать, попавшая в тифозный изолятор с истощением и простудой. С 1929 до 1934 года семья потеряла шестерых. Отец за что-то сидел два года, попал под чистку в партии.

Сколько в войну полегло мужиков-крестьян! Не вернулся и отец. Я воевал с марта 1944, остался жив.

После войны крестьянство до середины пятидесятых было обложено налогами. Гоняли из деревни на разные работы. Трудодень был пустопорожним. В 1957 году при ликвидации МТС технику колхозам продавали втридорога, даже изношенную. В то же время шли бесконечные укрупнения. На полях клевер и тимофеевка запахивались, насильно внедряли кукурузу. Втрое урезали дворища, запрещали крестьянам в начале шестидесятых в лугах сено косить, заставляли сдавать скот. В результате новой волны раскрестьянивания — трудности с продовольствием и закупки зерна за границей.

С конца шестидесятых началась вакханалия сведения тысячелетних сел и деревень. И вновь крестьяне лишались исконного, наследуемого из века в век в роду, политого слезами и потом гнезда. В то же время под корень ликвидировалось коневодство, заставляли крестьян вымаливать технику или переходить на ручной труд.

Идеологическая и политическая реабилитация крестьянства необходима.

ПОГОДИН Петр Иванович,
Балашихинский р-н,
Московская обл.

* * *

...Жизнь была страшной из-за бесправия. Особенно издевались над трудовым народом на станции Коноша; в снег и мороз сюда прибывали эшелоны спецпереселенцев с Украины, Белоруссии, разных областей России.

Перед поступлением эшелонов спецпереселенцев в Коношу завезли несколько сотен мужиков, в основном административно ссыльных без суда по решению ПП ОГПУ. Их, допрошенных неоднократно с угрозами, промаявшихся в тюрьмах от трех до пяти месяцев, обвинили в измене Советской власти, в том, что они аграристы, члены аграрной партии и т. д. Им давали до пяти лет административной высылки в отдаленные районы страны в суровых условиях с обязательным привлечвнием к труду.

И вот этих людей, прошедших круги ада, заставляли готовить страшные лагеря для новых репрессированных на тракте Коноша — Вельск в нескольких километрах от станции. Овцы зачастую были в лучших условиях, чем люди. Вот что готовили для семей спецпереселенцев... На болотах рубили лес, и восьми-десятиметровые кряжи связывали верхушками, ставили, расширяли. Их решетили жердями и укрывали хвоей. Снизу приваливалось землей. Внутри посреди делались двойные нары из жердей. Иногда пытались сделать глинобитные печи или поставить печурки из жести. По сравнению с этими зверинцами и бараки бы показались дворцами. А ведь в них заселяли семьи с малыми детьми, в том числе и с грудными. В ту весну, как начали вывозить еще в конце февраля — начале марта семьи в леса в сторону Вельска, здесь на 6 — 7 — 8 километрах было похоронено несколько сотен детей разного возраста и много слабых и престарелых людей. Хоронили в болоте. Жуткие были надписи на дощечках.

Когда возмущенный мир объявил эмбарго и Европа отказывалась принимать лес из Архангельска, то все эти могилки сровняли с землей, поскольку ждали международную комиссию и надо было скрыть следы преступлений.

Железнодорожная ветка Коноша — Вельск в основном строилась силами административно высланных. Основная их часть и комендатура были на 39 километре в Верхней Подюге. Здесь был большой карьер. Балласт в вагоны грузился вручную. Такой же карьер был и на 28 километре. В этой трудовой колонии работали заключенные, осужденные в основном судом. Сидел там овцевод Луценко с сыном за невыполнение хлебопоставок, хотя никогда хлеба не сеял, жил скотоводом в Моздокских степях-песках-бурунах. Хозяйство конфисковали и осудили шестидесятилетнего старика на три года трудовой колонии.

На 16 километре восточной ветки был лагерь ОГПУ. Здесь недолго вели заготовку леса. Когда было объявлено эмбарго, в течение двух суток лагеря не стало. По слухам, он переехал в Караганду, в Карлаг. Этот Карлаг кормил впоследствии власть Караганды всеми видами первоклассных овощей и другой продукцией.

Особенно знаменит был на Вельской ветке 39 километр тем, что в карьере стоял санитарно-полевой вагон — медпункт для административно высланных, работающих в карьере и на строительстве железнодорожного пути. В этом вагоне и жил знаменитый бывший земский врач из города Калач-Воронежский — Михаил Михайлович Рукин. Он тоже был административно высланный, а было ему в то время 73 года.

Тяжела была его доля и не только физически, но и морально. Больше половины несчастных, обязанных надсаживаться на тяжелой физической работе, были старики и больные. Надсмотрщики из комендатуры бдительно следили за рабским трудом. Тем, кто не выполнял норму, вместо семисот граммов хлеба давали двести. Положение было жуткое. Нередко изможденный человек преклонных лет из карьера еле в вагончик поднимался, а врач Рукин не вправе дать освобождение от работы больше чем на день-два, да и то при повышенной температуре у больного.

Вместе с замученным народом Михаил Михайлович каждодневно переживал трагедию, а впоследствии, когда в 1934 году был переброшен на 48 километр, покончил с жизнью. Сколько чудом выживших вспоминали его добром. Чудодейственную помощь оказывал знаменитый врач местному населению. Жители Подюги и деревень на сто верст кругом чтили и уважали его.

Расселение спецпереселенцев шло и по другим местам около Коноши и Вельска. Много было завезено насильно лишенных родных мест и очага людей на 43 — 45 километр Вельской ветки. Здесь они вместе с железнодорожным путем построили Шенчугу и другие поселки. Стали вести хозяйство, выращивать овощи.

Отсюда в 1941 многие ушли на фронт защищать Родину, многие погибли. Немало вернулось инвалидами.

Страшно представить, сколько тружеников, хозяев земли похоронили в здешних лесах и болотах.

Вот что вспомнилось мне, очевидцу, из пережитого. Пишу Вам, возможно, что пригодится для правдивой истории тех лет, черных годин многострадального русского народа и братских славянских народов.

Мне 81-й год. Хожу опершись на палочку. Слаб зрением, один глаз вообще не видит. Мучает стенокардия. В бессонные ночи ворошу и свою горькую судьбу и судьбу народа.

Прошу извинить за беспокойство, но это желание сердца помочь воссоздать правду истории.

РУДОМЕТКИН Павел Матвеевич,
г. Цюрупинск, Херсонская обл.

* * *

...Я — один из числа кубанских казаков, высланных в январе 1933 года в Вожегодский район.

Хочу рассказать, как это было на Кубани, в станице Медведовской Тимошевского района Краснодарского края.

Раскулаченные были высланы еще до организации колхозов в 1929 году. Перед нашей семьей стал выбор — или на высылку, или в колхоз. Деваться было некуда.

Отвели в стодворку пару лошадей, гарбу, плуг и борону (стодворка вроде колхозной бригады). Не пораженные еще казенщиной, мы все работали добросовестно и в колхозе. За 1931 год мы что-то получили на трудодни и воспрянули духом. Я в это время уже был незаменимым погонщиком лошадей на всех полевых работах.

За работу в колхозе в 1932 году на трудодни ничего не дали. Мы уже начали голодать.

25 декабря 1932 года арестовали отца. К нам пришли трое мужчин и одна женщина-учительница и объявили, чтобы мы собирались на высылку, с собой разрешили взять одежду, постель и посуду. Они ушли, прихватив с собой корову — последний источник существования семьи.

На второй день подъехала гарба с повозочным. Скидали наш багаж, завязанный в два рядна. С горючими слезами и причитаниями мать выводила нас троих из хаты и усаживала на гарбу. В станице выли собаки. Мои волосы поднимали шапку на голове. В станице был тов. Л. М. Каганович. Это было 31 декабря 1932 года. На Кубани только что выпал снег.

А в поселке №8 Вожегодского района Вологодской области, куда нас выслали, были трескучие морозы. Мы все в сапожках. В секции барака нары справа, нары слева, между нарами проход в полметра, в углу секции небольшая плитка в две конфорки.

Нары слева заняли:

1. Еременко Григорий Иванович
2. его жена Агрипина Дмитриевна
3. дочь Евдокия
4. дочь Елена
5. дочь Надежда
6. дочь Агрипина.

Нары справа занимала наша семья:

1. Водяной Василий Леонтиевич 34 г.
2. его жена Мария Ивановна 32 г.
3. сын Василий, 13 лет
4. дочь Агрипина, 11 лет
5. дочь Вера, 7 лет.

В таком порядке списки должны храниться в Вологодском УВД.

Голод!

«Грозное, холодящее душу черное слово. Кто не испытал голода, тот не в силах сообразить, сколько рождает он человеческих страданий» (Стаднюк).

До мая 1933 года голод унес отца, сестер Груню и Веру. Умерли они тихо, опухшие, голодные. Мы с матерью перешли в другую секцию барака. Детей, у которых умерли родители, куда-то отправляли. У меня была жива мать, и на отправку рассчитывать не приходилось.

Жить в таких голодных страданиях невыносимо! Тяжело было носить опухшие ноги, руки, все тело. Утром невозможно было открыть заплывшие глаза. Страшно! Чувство голода не покидало и сонного. Надо уходить с поселка! Куда? Зачем?

До боли в душе, которая проникала через отупение, мне не хотелось расставаться с жизнью! Не хочу, чтобы завтра на мой ящик упали комья глины!

Как-то я заглянул в секцию, где мы помещались с Еременко Г. И. Сам Еременко, спустив ноги с нар, лежал мертвый. Возле него в разных позах мертвыми лежали его две младшие дочери. Вон! Куда девались жена и две старших дочери, не знаю.

За три дня с большим трудом дошел до деревни Зеленая. Напросил хлеба и картошки, хотя и знал, что в таких случаях переедать нельзя, все же хватил лишнего. Ночевать никто не пускал, чтобы не возиться с мертвым и не отвечать. Одна женщина сказала: «Иди ко мне на сарай. В случае чего, скажу, что не видела». При этом дала мне фуфайку и показала дырку туалета. Вскоре у меня открылась рвота и понос. Наутро проснулся, легко открылись глаза, легкими стали мои движения. Когда вошел в избу и посмотрел в зеркало, увидел, остались от меня кожа да кости.

С этого дня я ярче ощутил, что детство мое кончилось. Все правильное и неправильное решай сам! А решать было что!

Что делать? Как выжить? Идти дальше или возвращаться в поселок? Вперед или назад?

Покинул Зеленую и направился в направлении к Ваге. За время скитания по Вологодчине на станции Харовской заходил в РО НКВД, просил, чтобы меня куда-нибудь отправили. Меня выгнали, сказав: «Иди, куда хочешь». В Вологде просился в детдом, мне отказали, сказав, что нет мест. «Поезжай в Ленинград или в Архангельск!» — «На что я поеду?» — «А ты на подножке». — «Пойду в милицию, скажу, я беглец, заберите меня». — «Ты не беглец, ты шпаненок, много вас тут шляется, только заразу разносите. Мотай отсюда, чтобы я тебя больше не видел».

Хлопотать о своем спасении ни перспектив, ни сил больше не осталось. Ноги начали опухать. Надежд никаких! Бродяжничая, питался подаяниями, рыл в полях картошку, где горох, где репа, где брюква, в лесу грибы и ягоды. Часто ночевал в сеновалах. А ведь еще и года не прошло, как у меня была семья, были отец, мать, сестры, хата и родина!

Какое же надо совершить преступление, чтобы получить такое жестокое наказание? Зачем? За что?

Смерть ходила за мной по пятам, обнюхивала и выбирала время: а когда же тебя, хлопчик, проглотить.

Меня подобрали люди из деревни Акинфовица Грязовецкого района Вологодской области, что на реке Комеле, около дер. Криводино (деревня ныне опустевшая). Подрядили пасти овец, их было 63 головы. Деревня состояла из тринадцати дворов: двенадцать мужиков и одна вдова.

Привели меня в божеский вид, то есть подстригли, помыли, ликвидировали на мне паразитов. За полтора месяца моей па-

стушни откормили. Я полностью восстановил свои силы!

Выпал снег, и небольшой островок благополучия уплыл из-под моих ног. В поселке и во время бродяжничества был придавлен трагизмом своего положения, тупость душила меня. А когда поправился и взглянул в бездну своего состояния... Этого чувства выразить не могу! Нужно перо мастера.

Но меня не выбросили.

За 46 дней пастушни решили кормить еще два месяца, рассчитывая на следующее лето взять меня пасти коров. При этом вся деревня порылась на чердаках, в кладовках, в сараях, и я был одет. Вдова Мария Алексеевна говорит мне: «Ты, Васька, курья твоя голова, заработал два месяца, так не сиди, сходи посбирай недельки две. Придешь, отдохнешь, мы тебя помоем, и так до весны».

Прожил в пастухах два года. Подрос, оделся, заработал немного денег и вернулся обратно в поселок.

Войну начал в Медвежьегорске. После ранения лечился на Урале, там же окончил школу фельдшеров. Окончил войну в Курляндии В мая 1945 года. Уволен в запас в звании старшего лейтенанта медслужбы в 1963 году, с пенсией за выслугу лет. С 1979 года пенсионер по возрасту.

ВОДЯНОЙ Василий Васильевич,
г. Омск.

* * *

...Отец мой Егоров Степан Андреевич был по деревне хороший печник и плотник, в школе никакой не учился, самоучкой читал. Мать моя Настасья Григорьевна совершенно неграмотная. Мать рано умерла, мне было семь лет, а моей сестре Наталье Степановне было полтора года, она мать не помнит. Отец очень любил природу и был хороший хозяин, посаженные им березы и липы и сейчас растут, на них были скворечни. Я окончил церковноприходскую школу, четыре класса, любил читать книги. Прочитал одну книгу академика Бутлеова «Разводите пчел». У нас пчел ни у кого не было. Я купил в другой области один улей с пчелами, на второй год стало две семьи. Наша природа оказалась для пчел очень хорошая. Сам сделал центрифугу и ульи. Угощал медом соседей, когда качал мед, кому сколько нужно. Наша природа очень хороша. Я в Москве ни на одном рынке не видел ягоды морошки, а у нас она есть, и очень вкусная, и варенье хорошее. Да и клюква наша крупнее и сахаристее, чем на рынке в Малаховке.

В 1927 году я пошел служить в армию, служил в городе Ярославле, в 8-м дивизионе войск ОГПУ, нас звали дзержинцами. В армии нам внушали: создавайте в деревне колхозы, так велел товарищ Сталин. В 1930 году я демобилизовался. В нашей деревне Беловской удалось сделать первый колхоз в нашем районе. Меня избрали председателем колхоза, колхоз назвали «Искра». Ну я старался, как мог. Техника — соха и, редко, плуг. Достал на заводе им. Ухтомского в Люберцах конную жатку. Мое личное хозяйство обобществили: 1 лошадь, 1 корова, 2 овцы и 2 улья с пчелами. Пчеловодство не было привито, кто разводил пчел, считались богатыми, и на них смотрели как на кулаков. Не знали, что пчелы, помимо меда, прополиса, воска, маточкина молочка и пчелиного яда, в семь раз улучшают окружающую природу. Где пчелы летают, сады лучше плодоносят, лучше становятся кустарник, ягоды, луга.

В 1930 году проходило раскулачивание крестьян. Раскулачивали самых инициативных, самых лучших. Тогда районная газета писала: «Крепче удар по кулаку!» Если кто слово против скажет, его называли подкулачником. У кого хороший дом, красивые наличники — кулак, а кулак—это враг народа. Все это происходило противоестественно, и убило у крестьян всякую инициативу.

Ко мне в это время пришел председатель сельсовета Коновалов: «Поезжай в другой район, в Богородское, там поможешь укрепить колхоз». Я только уехал, в этот момент меня и раскулачили. А жаловаться в то время было бесполезно. Я не выдержал такой провокации и уехал в Ленинград, потом и семья приехала в Ленинград. Дом мой сломали. Устроился работать плотником.

Через год я вздумал съездить домой. До дома меня не допустили, арестовали, с ружьем двустволкой повели в район. Дорогой я сбежал и уехал в Ленинград.

Мне очень хотелось работать в авиации. Но образование было мало. Занимался самостоятельно и поступил в авиационный техникум. Проучился три года, но пришла бумага, что я кулак. И не дали мне кончить техникум и не дали никакого диплома.

В Ленинграде стали набирать для освоения Севера. Меня один инженер взял авиамотористом, и я попал за Полярный круг, в Ненецкий округ, в Нарьян-Мар. Там я проработал три года. Потом уехал в Йошкар-Олу, поступил работать авиатехником. Это был 1938 год. Год был исключительно тяжелый для раскулаченных. И в городах тоже ежедневно расстреливали людей как «врагов народа». Пришла и на меня бумага, мне не дали прочитать, но, судя по всему, плохая. Начальник сказал: «К нам попал специально посланный враг народа». И мне доказать нечем, да в то время никто и не слушал. И я уехал в Москву, вернее, сбежал. Поступил в авиационный аэроклуб техником. Техников не хватало, работа знакомая, работаю без замечаний. И опять пришла плохая бумага из нашего района. Что делать? Я написал письмо товарищу Сталину И. В., что мне не дают работать. Ответа я не получил. И тут началась война, меня берут в морскую пехоту. Начались боевые действия, освобождали Украину. Из пехоты меня командировали в 262-ю авиадивизию ночных бомбардировщиков. ПО-2 в народе получили название «кукурузников». Дивизия наша именовалась Краснознаменной, Лозовская ордена Кутузова. Я был старшим авиатехником. Освобождали Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию. Мои награды: три боевых медали, два ордена. Семья моя вся погибла в Ленинграде во время блокады.

ЕГОРОВ Александр Степанович,
ветеран войны и труда,
член КПСС с 1943 г.,
Московская обл.

* * *

...Сходы проводились в нашей избе весь 1929 год, то была наша очередь, как было заведено в деревне сходом самих жителей. Обязанность этого двора оповещать жителей деревни о предстоящем сходе.

Вопросы на сходах обсуждались самые разные, отдельные решения схода записывались, которые считались важными, другие нет, то есть те, которые имели кратковременный характер, например, делать или ремонтировать изгороди вокруг полей, выгонов скота и т. д.

Первые вести о спецпереселенцах и сосланных мы узнали еще в лето 1928 года, когда в одиночку или мелкими группами люди бежали из мест ссылки, это преимущественно люди Украины, Поволжья, Татарии, Средней Азии. В деревню они заходить боялись, и только голод заставлял их поздно вечером стучаться в дома и просить подачу, ночевать они не просились. Взяв подачу (хлеб, картошку), детально расспросив дорогу, уходили. Дорога, которая использовалась бежавшими, была построена еще при царизме: В. Устюг — Лальск — Мала — Щеткино — Лодеино — Паломица — Шабуры — Красное — Котельнич. Проходила ж. дорога вблизи нас Котлас — Вятка, возможно, частично ехали они и по ж. дороге, но это все же маловероятно, поскольку грозила опасность быть пойманными. Первый же вариант пути был более безопасен, а там можно использовать р. Молому, которая впадает в Вятку. И не менее важно, что здесь достаточно деревень, где можно достать пропитание. И ни одного города, кроме Котельнича, на расстоянии более 200 верст. Хотя они бежали только летом, все ж было среди них много жертв и, как правило, женщин. Например, вблизи станции Лунданка была обнаружена женщина и рядом с ней маленький ребенок, еще живой, а женщина была мертва. Около ж. дороги между Косарево и Малой долгие годы лежали незахороненные скелеты ссыльных людей. Беженцы были и из Коми АССР, мы граничили с Коми. Жители Коми показывали им путь по просекам и проселочным дорогам, по реке Лузе, которая протекает по Объячевскому и Ношульскому районам и по которой в то время было много деревень.

Такова была обстановка вокруг Малы. Поэтому на сходах, куда собирали крестьян для вступления в коммуны, немаловажную роль играла та ситуация, которую крестьяне видели вокруг. На собраниях начальство обещало легкую и сытую жизнь. Говорили, что на поля придет трактор, который будет землю пахать, сеялка сеять, а комбайн жать и молотить. Мужики на это отвечали молчанием, и только отдельные задавали вопросы: «Куда девать скот, куда ложить сбрую, где выпекать хлеб, кто будет доить коров, куда девать молоко? Когда будут шить общее одеяло?» — и множество подобных вопросов. Ответа ясного, конечно, не было и не могло быть. Скотные дворы крестьян рассчитаны на одно хозяйство, а не на десять. Собрания крестьян собирали через день-два, результат был один: коммуна для них не подходила. Он, крестьянин, веками вел личное хозяйство и был на земле хозяин, в нашем месте не было помещиков, не было крепостного права. Коммуна для него была непонятна, неясны отношения в труде, оплата труда, учет труда, наконец, встав утром, неизвестно, что делать, изменилась летом погода — кого и где искать, кто бы указал ему работу, кто определит и учтет проделанную работу и т. д. и т. п.

Не в пример общему молчанию в обсуждении этих вопросов оживленный разговор у мужиков возник при обсуждении, как они будут работать на лошадях, когда они будут обезличенные, и не только лошади, но и сбруя, плуг, телега. Это сильно волновало мужиков, и не без причины: никто лучше не мог знать, на что способна лошадь на пахоте, сколько она может выдержать, кроме самого хозяина этой лошади. Тут уже мужики вступили в спор между собой, и главный вопрос спора состоял в том, что на чужой лошади мужик загонит ее, так как не знает, когда дать ей передохнуть, какого и сколько дать сена, когда ее поить, кто будет смотреть за сбруей, мазать телегу, где найти эту мазь.

Ничего не решив сегодня, мужиков собирали завтра, снова, не решив, расходились, пока не приехали двое в военной форме ОГПУ.

Тут мужики замолчали, двое в форме направили на них всю остроту классовой борьбы, грозили за отказ вступления в коммуну. Назвали нескольких мужиков из тех, которые молчали и которые говорили об использовании лошадей в коммуне, и сказали, что их сошлют на Кайское болото, других на Соловки, что им нечего делать в коммуне, что она обойдется без них, и выгнали их из избы.

Мужики дрогнули. Первым вступил в коммуну Бушманов Д. В., в скором времени все мужики деревни вступили в коммуну, кроме тех, которых признали недостойными, это были Головкин Яков Андреевич, Головкин Дмитрий Андреевич, Головкин Григорий Андреевич (первые два — братья) и мой отец.

Недолго суждено было просуществовать коммуне. Наступила зима 1930 года, вскоре вышла статья вождя «Головокружение от успехов». За одну ночь скот был поставлен по своим дворам. Мужики почувствовали передышку, уполномоченных не было видно. Тогда они направили кузнеца Егора Краева ходоком в Москву к М. Калинину. Егор Краев вернулся с пустыми ру-

ками. Вскоре его арестовали и посадили в соседнем Октябрьском сельсовете, где он покончил с собой. Горько переживали коллективизацию мужики.

После роспуска коммуны началась та ситуация, которую всякий здравомыслящий человек назовет исключительной в моральном смысле. Люди настолько были терроризированы, что, не знаю, добровольно или насильно, но по ночам ходили подслушивать разговоры, перестали встречаться друг с другом. Я и сейчас, в 72 года, не могу объяснить, как пропаганда могла внушить силу подозрения одного мужика к другому, что этот мужик начал видеть в своем соседе не доброго человека, а врага, его личного врага. Как и почему эти люди ходили под окна ночью слушать, о чем говорит сосед, когда и говорить-то было не с кем, кроме своей семьи там никого не было. Как могло быть, что уже перестали встречаться брат с братом, отец с сыном, перестали ходить в гости один к другому, когда еще год назад они вместе справляли Новый год, покров, масленицу, пасху. Ведь это не был гипноз — пропаганда. Этого я объяснить не могу, как не могу объяснить тот факт, что Сталин мог быть у власти почти тридцать лет и непрерывно убивать своих соратников, таких же убийц, как и он сам. Допустим, крестьяне были сплошь неграмотные. Но Рудзутак, Чубарь, Киров, Постышев, Косиор, Зиновьев, Каменев, Тухачевский, Егоров, Бухарин, Рыков и др. были грамотные, и они признавали себя виновными и были убиты, хотя были не виноваты. Почему они не могли убить Сталина, Калинина, Молотова и др., и тем бы спасли миллионы жизней и себя.

Так и крестьяне. Выйдя из коммуны, снова вошли в ТОЗ. Крестьяне понимали, что ТОЗ или колхоз противоречат их здравому смыслу, что в них они не будут работать так, как на своих участках земли, однако вступают в ТОЗ, не зная, что ожидает их впереди.

По-моему, главную роль в проведении коллективизации сыграла пропаганда насилия и разорения части крестьян в первые же дни коллективизации, когда с мужиком разговаривать не хотели, слова мужика были пустым звуком. Мужик не знал и не хотел знать, что такое коммуна, для чего она нужна и кому нужна.

Мужики более сообразительные и малосемейные и молодые парни в 1930 году в большинстве своем, используя эту передышку, уехали из деревни в город, в леспромхозы, на жел. дорогу. Деревня начала хиреть. В деревне остались мужики, у которых большая семья, больные и подхалимы, члены сельсовета, активисты, шкурники и эгоисты. Эти люди заняли должности кладовщиков, бригадиров, учетчиков, конюхов и т. д. Много мужиков и женщин умерло в период 1930 — 1933 гг. Морально и физически истрепанные, они не видели выхода из этого тупикового положения. Мужик знал одну специальность, хотя и трудную, бедную, но свободную, независимую. Он не знал другой работы, кроме землероба, тут жили его предки, его устраивала жизнь натурального хозяина, ему нравился свой дом, своя семья, свои соседи. Надо заметить, что семьи были так устойчивы, что я не могу привести примера распада семьи. Не было легкомысленного разврата, как сейчас, невесты выходили замуж девушками, парни не искали случайных встреч и женились в большинстве своем по любви.

Не было воров. Только хлеб запирался на замок. Все остальное было открыто даже тогда, когда все взрослое население от мала до велика уходило на дальние покосы за 10 — 15 верст, и ночевали на покосе в шалашах, пока покос в дальних местах не будет закончен полностью, если погода позволяла это сделать.

Старшим в доме был старик. Он был распорядителем всего, судьей и милостивцем, никто в доме не имел права его ослушаться. Сын не мог жениться без согласия родителей, дочь выйти замуж.

Известную роль в укреплении семьи и образа жизни человека играла религия, хотя фанатиков-богомольцев не было. Когда я ходил в школу, учительница дала задание спросить родителей, что такое Бог. Запомнился ответ деда: Бог есть совесть. Ответ не точный, но, по-моему, правильный в том нравственном смысле, который должен носить каждый человек в своей душе, разум. Именно честь, совесть, достоинство, внушаемые религией и обществом, крепили устои деревни, города, рабочего, офицера, чиновника от писаря до министра бывшего строя, хотя при множестве его недостатков.

Еще хуже оказался колхозный строй с его неограниченной беззащитностью мужика, с его произволом, обманом, грабежом, которые привели к массовому бегству крестьянина из деревни. Из 200 семей уже в начале 70-х годов не было ни одного жилого дома во всей Мале.

Почему не остался жить человек в деревне — на Мале?

Здесь несколько причин. Главная из них — за все время с 1929 года и по сегодняшний день нет ни одного закона о защите крестьянина, его участка земли, его собственности, его гражданских прав как в социальном, так и в материальном смысле. У рабочих есть хотя жиденькие профсоюзы, есть КЗоТ, а у крестьянина нет. Он раб, с ним могли делать что угодно, узурпировать, судить, закреплять на жительство. Не было государственного органа, защищающего его. Крестьянин не выдержал и сбежал из деревни.

Мой отец был из бедной крестьянской семьи. У них было пять братьев и две сестры, семья голодала. После службы очередного срока в армии он остался служить сверхсрочно, женился. Вернулся в деревню, когда уже бушевала первая мировая война. Его призвали в армию, он получил ранение и вернулся домой. Но отец в крестьянстве работал мало. Семья росла, было четверо детей, дед и бабка старели, и отец бросил отходнические дела и стал крестьянином. Дед в 62 года уехал в Котлас «искать счастья». Я начал работать рано, в десять лет боронил, сгребал сено, копал картошку. В 1929 году закончил четыре класса, и больше учиться в школе не

пришлось. Началась коллективизация. Нэп закончился. Дед с бабкой вернулись в деревню с пустыми руками. В городе дед занимался частной торговлей. Как только дед вернулся, отца лишили избирательных прав, каждый месяц приносили новые налоги, денег не было, к середине 1930 года был конфискован дом, скот, словом, все, что можно взять, мебели, одежды не было, потому их нельзя было взять, хлеба было взято тоже мало, его тоже не было.

По окончании четырех классов учитель Крохалевский сказал мне: «Ты способный ученик, но учиться тебе больше не придется, тебя в школу не примут. Семья ваша терпит «в чужом пиру похмелье». Помню, что и в школе издевались, как могли, там из трески готовили уху, но четверым школьникам нашего класса ухи не давали. Эти четверо были детьми кулаков и подкулачников: две сестры Копосовы, Миша Шутихин и я.

Дом Шутихиных был из двух изб, в одной разместился сельсовет. Миша с матерью попали в немилость только за то, что мать отказалась выполнять поручения сельсовета. Жили они вдвоем, старший брат Миши был убит в боях на Халхин-Голе. Судьба Миши оказалась трагической. Он закончил семь классов, поступил в Вологодский лесохозяйственный техникум, но потом исключили как сына кулачки. Мать тоже доконали, она умерла. Жена Миши (он женился в техникуме) рассказывала мне, что с Мишей произошел какой-то трагический случай, вроде его при аресте в карцере избили, и он умер. Жена уже после его смерти родила двойню.

Летом 1929 года дед был арестован якобы за агитацию. Старик был совершенно неграмотный, ни одного дня не ходил в школу, какой из него агитатор. Он был увезен без суда в В. Устюг и умер там в сентябре 1931 года, не написав семье (были же там грамотные) ни одного слова, видимо, считал себя виновником гибели семьи. Но его, конечно, винить нельзя.

Ленин ввел нэп, а при чем люди. Сейчас, через 60 лет, введен новый нэп. Может, после опять будут репрессированные. Время покажет.

Не менее варварски обошлись с отцом. Зиму 1929 — 1930 гг. он был мобилизован на лесозаготовки. Ночами приезжал за хлебом и сеном, в ту же ночь возвращался к месту работы, однако задания выполнить не мог. Он заболел, ему сделали операцию, но план-то пересмотрен не был, план остался. За невыполнение плана в апреле его судила тройка, и было дано десять лет. Срок отбывал он в Архангельске, там и умер.

Арестовывать отца пришли ночью. Я услышал в двери грубый стук. Я сразу проснулся, и отец тоже. Отец пошел открывать дверь в сенках. По голосу я узнал соседа Николая Головкина, он был не то депутат, не то бригадир, он сказал: «Открывай, Александр, за тобой пришли!» Вошли несколько человек, человек в форме ОГПУ полез с фонарем в подполье, ничего не нашел да и находить было нечего. Человек сидел и писал бумагу, потом всех присутствующих заставил расписаться и объявил: «Пошли!»

Отец встал на колени, поцеловал спящего брата, потом меня, и они ушли. Матери дома не было, она ходила в райцентр «искать правду», но правды на месте не оказалось. Она вернулась, когда отца в доме уже не было. В доме была еще бабушка, она сильно перепугалась, бросилась на улицу, упала и вывихнула ногу. Исправить вывих было некому, так она хромая потом была отправлена в ссылку. Отец до последнего дня до ареста говорил, что он ни в чем не виноват: он не торговал, никого не эксплуатировал. Он пошел в соседние деревни, обратился к мужикам, собрал подписи, подтверждающие, что он не виновен. Когда возвращался домой, навстречу ему попал председатель сельсовета Суслонов Иван, который знал, по какому поводу в деревне был отец. Он потребовал эту бумагу, в клочки изорвал ее и втоптал в грязь. Такова была Советская власть снизу доверху. Я видел отца еще один раз на пересыльном пункте в Черном Яре, в 25 верстах от Архангельска.

Мы остались без деда и отца. Страшное бессилие овладело мамой и бабушкой. Защиты ждать было неоткуда, хлеба взять негде, денег ни копейки, продать нечего — все отобрано. Мы жили на картошке, ее доставала мать у соседей. Так прожили лето и зиму. Безрадостна была жизнь и тех соседей, которые были членами ТОЗ. И у них хлеб был отобран, получали раз в месяц по выписке правления по отработанному времени. Особо острую боль вызвало у всех нас событие, когда сломали пятистенок и увезли его в другую деревню для использования в качестве магазина. Сломаны были и амбар, баня, стая. Деревня была как во мраке. Не слышно было посиделок, ни смеха, ни песен, все затихло, казалось, жизнь остановилась.

Рядом в деревне Анохино был сельсовет, там был установлен радиоприемник. По радио слышалась одна передача на тему: классовая борьба в действии. Приводилось много фактов, как кулаки противились бурному росту колхозов и как под предводительством вождя рушатся препятствия колхозному строю. Передачи были настолько злобны, что, слушая их, казалось: все перетаскивается, переставляется, ломается в деревне.

Прекратилось в деревне роптание недовольных ТОЗом, забыли думать о своих лошадях и коровах, не стали бабы выходить на улицу, чтобы посмотреть, исхудала ли ее буренка, не выходил уже на улицу и мужик-бородач — исхудала ли его лошадь, сломана или цела телега. Вместо этого появилась другая забота — как прокормить себя и свою семью, что будет, если урожай окажется низким. И не дожидая, что будет, уходили куда глаза глядят, оставляя хлеб на корню, жилье, утварь, все это было уже не его собственностью, а чужое, неизвестно чье. Вот почему начала косить людей смерть без эпидемий.

30 июля 1931 года рано утром, солнце еще только всходило, наша ветхая избуш-

ка, кой-как закрытая гнилым тесом, была окружена отрядом вооруженных ружьями наперевес, сидящих верхом на лошадях в количестве около десяти человек, людьми не старыми, но и не молодыми. Все эти люди были мне неизвестны, и могу утверждать, что среди них людей с Малы не было, видимо, они были из другого сельсовета. Из жителей деревни здесь никого не было. Мать, в отчаянии рыдая и причитая, укладывала что-то в мешки и матрацные наволочки. Один, обращаясь к матери, сказал: «Берите все». Так мать и делала, складывала все, среди этой рухляди были горшки, ухваты, заслонка, старая домотканая одежда, рукавицы и пуда 2—3 муки, видимо, мать у кого-то выпросила или выменяла на холсты.

Лошади стояли с повозками на дворе. Отправка задерживалась из-за сестры. Она в шестнадцать лет была мобилизована на лесозаготовки и работала в Пинюге за восемнадцать верст от деревни. Но вот ее привели двое на верховых лошадях при ружьях, и у одного я заметил топор за поясом. На одной телеге была рухлядь, на другой разместились мы — бабушка, мать, сестра, я. Неожиданно раздался пронзительный крик младшего брата. Он сидел у матери на коленях. Дюжий мужик начал стаскивать его от матери, он, как мог, упирался. Ему было семь лет. Второй брат Вася тоже лез на телегу, ему одиннадцать лет. Но их оттащили, и кавалькада тронулась. Впереди двое, по бокам и сзади по двое и по трое верхом, с ружьями и топорами. Меня провожал мой друг Яков (он и сейчас живет в Ухте, пр. Космонавтов, 18, кв. 5, Головкин Яков Тихонович).

Младшего брата Митю взял старший брат отца Павел, второй, как он потом писал, ночевал в банях, под зародами, питался краденной в ТОЗе картошкой. В войну в возрасте 20 лет он погиб на фронте.

Все, что мы взяли с собой, оказалось невозможным сохранить по дороге. Первая пересадка была в Котласе. С железнодорожного вокзала за два километра на себе надо было перенести вещи в бараки, которые раньше были заняты заключенными, а сейчас были свободными. Не прошло и двух часов, как поступила команда грузиться на пароход на речном вокзале. Опять начали без разбора таскать и грузить. На теплоход также были доставлены ссыльные Котласского района. Людей стало так много, что нельзя было протолкнуться, крик, плач, разыскивание друг друга. Все это создало ту толчею и неразбериху, подобную которой можно наблюдать только на пожаре. Здесь почти все вещи были потеряны, а главное, половина муки была истоптана ногами, перемешана с грязью. Навести порядок не было никакой возможности. Никто, начиная от деревни, не говорил, куда нас везут, зачем везут и на какой срок. Никто не знал даже, кто руководил этим кошмаром, и начальствующих людей здесь нельзя было определить, они были в штатской одежде.

Бабушка, которую я сопровождал, поддерживая за руку, убитая горем, полуголодная, с больной ногой, ослабевшая, просила посадить ее отдохнуть. Как мы ни старались с ней дойти до бараков, дойти не могли, нас застала команда повернуть на речной вокзал. Не одна бабушка не могла передвигаться сама. Нас догнала лошадь, возница вез двух стариков и старуху. Один из стариков был слепой и так стар, что никто не мог понять, что он спрашивал, кого звал. Возница не обращал на него никакого внимания.

От Котласа до Архангельска плыли трое суток на пароходе «Добролюбов». На пароходе я познакомился со своими ровесниками Опариным Степкой из Подосиновского района и Тереховым Мишей и Митяшиным Толей из Котласского района. Они рассказали о своих семьях и бедах — методы и приемы коллективизации везде были одни и те же, с той лишь разницей, что Тереховы везли лошадь и корову. Скот везли на барже, и сопровождал его брат Миши Павел Терехов.

Толя Митяшин рассказал, что его везут вдвоем с мачехой, отец посажен.

Однажды раздался крик: «Человек за бортом!» То ли давка помешала или другие причины, но утопающий, когда его подняли на палубу, был мертв. Это был тот слепой старик, который в Котласе ехал на повозке. Белобрысый парень Витька Попов осмотрел старика и сказал, что это Плешков Сидор из их деревни, слепой уже не один год. Когда посадили их сына, старуха его отравилась, а он помешался.

Мы почти все время проводили на палубе. Охраны не было видно, да и охранять было некого, среди высланных в основном были старухи, женщины и дети. Вокруг нас образовалась группа таких же, как мы, босяков. Рассказам не было конца. Все мы были одного мнения — бежать из ссылки, как только представится возможность. Конечно, это была детская фантазия. Во-первых, ни у кого не было денег, достаточно прочной обуви, а главное, не знали, куда бежать. Ведь судьба людей была повсюду одна.

Но вот и Архангельск. Выгрузились на берег, лохмотье лежало на берегу кучей. Бабушке с каждым днем становилось хуже, не только нога мучила ее, но заболела голова, началось головокружение, на пароходе она все время сидела в трюме на куче тряпок. Я приносил ей кипяток, спрашивал, что ей надо. Она неохотно говорила и от всего отказывалась. Я по нескольку раз в день подходил к ней, мне было очень жаль ее, но помочь ей ничем не мог.

После выгрузки с парохода началась перегрузка на баржу. Тряпицы и люди заняли места на барже, и буксир потянул баржу вверх по течению. Остановка и снова выгрузка. Вещи потащили в огромный склад.

Это место называлось Черный Яр. В 25 верстах выше Архангельска. Лагерь размером 300×200 м, обнесенный колючей проволокой в четыре ряда. Лагерь упирался в реку. Местность лагеря была заболоченная. В складах было шесть рядов сплошных нар, столов, скамеек. Умывальников не было. Была одна уборная на барак. За водой ходили на реку, вскипятить воды было негде. Из привезенной из дому муки пекли лепешки на улице на сковородах. Склады были построены интервентами в период гражданской войны для военного снаряжения. За бугром и бараками вне зоны были видны несколько изб, там жили охрана и начальство лагеря. Никто из начальства в бараки не приходил. Мы не знали, сколько здесь пробудем, какова дальнейшая судьба наша. На работу не гнали, но и хлеба не давали. Вообще, мы жили как Робинзон Крузо на необитаемом острове, только под круглосуточным надзором часовых. Из лагеря ни под каким предлогом не выпускали. Только под конвоем можно было ездить на работу на другой берег. Я вскоре пошел пасти лошадей, привезенных Павлом Тереховым, лошадей было около десяти голов. Денег за пастьбу, естественно, не платили, хлеба не давали. Мы, подростки, ловили рыбу в заливе. Хотя и редко, но были удачи поймать 3 — 5 штук. Потом мы пасли коров, их было 4 — 5 голов, в самой зоне по ночам вдвоем с Толей Митяшиным. Мука была на исходе, голод подбирался костлявой рукой к нашим глоткам. В дальнем углу зоны виднелись грядки картофеля и борозды от прошлой пахоты, которые пересекала колючая проволока. Мы приподняли палочками проволоку, чтобы можно было пролезть, и как только темнело, попеременно лазили красть картошку. Часовой не мог нас видеть, зона плохо освещалась, около грибка постоянно горел костер, а в двух метрах от костра даже корову не было видно. Мы носили часовому на костер дрова, тут же пекли картошку, угощали и часового этой картошкой. Он или не знал, что картошка краденая, или делал вид, что не знает. Это продолжалось около двух недель. Был октябрь, начал выпадать снег, ежедневно лил ливень или моросил мелкий дождь. Коров угнали. Мука кончилась, и как мы жили и чем мы жили, трудно объяснить. Ничего не оставалось, как ехать на выкатку бревен на другой берег.

Итак я в баркасе. Это огромная лодка с веслами, в ней помещалось около сорока человек, но если поднимался ветер, этот баркас кидало волнами как щепку, а средств спасения на нем не было. Я сначала трусил, но потом стал привыкать. Но недолго я ездил на работу, хотя там давали пайку хлеба и рыбку, морского окуня. Окунь был очень вкусный, хотя и мелкий.

Я заболел тифом и чуть не отдал концы. Я не помню, как я оказался в тифозном изоляторе, около недели я лежал без памяти. Очнулся, как услышал, что кто-то теребит мои волосы. Я открыл глаза, рядом сидела бабушка и дрожащими пальцами перебирала волосы. Кофта и зипун ее были расстегнуты, груди как тесто беспомощно висели на тощей груди, ничем не прикрытые. Меня поразила ее истощенность, руки не переставали дрожать. Она перекрестила меня и слабым дрожащим голосом сказала: «Слава богу». В это время еще одно важное событие произошло в моей судьбе. Кто-то сказал, что меня зовут на улицу. Я вышел. Передо мной стояли отец, мать и сестра. Отец отбывал срок в колонии в Архангельске, одет он был в арестантскую одежду цвета неясного, на ногах ботинки. Я был очень рад встрече с отцом. Конечно, мы с сестрой не могли знать, что это наша последняя встреча с отцом. Я не помню, о чем мы говорили, да и встреча была короткой, отец сказал, что надо к концу работы быть в бригаде. Я и сейчас не могу объяснить себе, как истощенный человек мог преодолеть 25 верст и столько же в обратный конец.

От Никифора Тюленева, который оказался в нашем лагере, мы узнали о смерти деда. Он недолго болел и скоро умер, как узнал, что и северных кулаков выселяют еще дальше для гибели, на Север.

Приближался к концу октябрь, начались холода. Партию кулаков, у кого был хотя бы один работоспособный член семьи, отправили на Печору. Мы ожидали новой перегрузки. Бабушка и я были слабы. Смерть ходила по баракам, каждый день без гроба на повозках отправляли покойников. За все 108 дней, что мы находились в Черном Яре, ни дети, ни старики не получили и ста граммов хлеба. Где, в какое время, в какой стране так было? **В. И. Иванов в те годы был первым секретарем Северного крайкома ВКП(б), в 1937 году был расстрелян, сейчас реабилитирован. За что реабилитирован? За зверство? Нет, тут неладно, однобоко.**

Верно Л. Н. Толстой сказал: «Нет величия без добра». Но правда советская — другая правда, это бесконечная борьба в партии, но не народа. Нет, да и не могло быть создано классиками марксизма учения наперед, на сотни лет, как развиваться обществу, каковы должны быть отношения между его членами после Ленина. Сталин взял главенство над партией и обществом. Не только наперед, но и текущие решения принимались вслепую, без проверки на практике, отсюда беды народные, гибель миллионов людей. Люди в колхозах не стали работать по той простой причине, что труд их не оплачивался или плохо оплачивался. При создании новой жизни в деревне им обещали счастливую жизнь, на деле получилось наоборот. Люди побежали в промышленность, но и здесь их жизнь была похожа на каторгу.

...16 ноября 1931 года подошла баржа, погрузили вещи, и вечером нас привезли в Архангельск. Началась перегрузка с баржи в товарные вагоны. И тут новая беда с бабушкой. По трапам ходили сотни людей, трапы были обледенелые, бабушка оказалась в реке. Мать говорила, что ее столкнул в воду милиционер. Это было для нее ударом непоправимым. Паровоз подцепил вагоны утром 17 ноября, и к ночи нас привезли на ст. Пукса Северной ж. д., на расстоянии примерно 170 км от Архангельска в направлении Вологды, где суждено мне было отбыть пять лет ссылки. Мы погрузились на тракторные сани, проехали примерно 10 км, снова перегрузка, на лошадей, и, наконец, среди леса разгрузка вещей. Начали готовить дрова, топить печь, в бараке двойные нары,

лампа на длинном столе, вещи ночью не таскали, оставили на улице. Через две ночи бабушка умерла. Страшно признаться, но я был рад ее смерти, кончились ее муки, прекратились страдания. Похоронили ее в гробу тут же, рядом у барака, посреди молодых берез. Это был первый случай, когда покойника положили в гроб, а не в братскую могилу, как было принято хоронить в то время. Скоро выпал снег и закрыл могилу, сровнял с землей. «Это была первая смерть, оплаканная мною» (А. С. Пушкин, по случаю смерти А. Дельвига).

Смертность была велика особенно среди пожилых людей. У Степки Опарина в течение зимы 1931 — 1932 гг. умерли отец, мать и дядя.

В лесу было несколько лесных поселков, названий у них не было, назывались по номеру квартала. Поселок был крохотный, три барака, баня, ларек, проволочного заграждения не было, не было и охраны; был комендант по охране на ст. Пукса, да охрана была не нужна. Стояли лютые морозы. Истощенный народ не мог и думать о побеге, не было денег, не было пищи.

Здесь заставляли работать. Мы с сестрой были определены на подвозку — трелевку леса к тракторной дороге. Лес на лошадях подвозился на склад, штабелевался, из штабелей погружался на тракторные сани и тракторами увозился к линии жел. дороги, а там отгружался вагонами.

Самые тяжкие воспоминания о тех годах оставил **голод.** Давали хлеба 600 гр. на день, никакого приварка. Голод, физическая тяжелая работа доводили человека до истощения, а потом до гибели.

...Работники ОГПУ имели большие преимущества в сравнении с административными работниками. Они были лучше одеты, хорошо питались, то есть откармливались палачи. Таков был наш комендант Воробьев и его подручные.

Хотя высланные работали на лесозаготовках, но были приписаны к двум поселкам: трудпоселок Карасево и Белое Озеро. В поселках жили тоже в бараках высланные раньше на два года семьи кулаков с Украины и Поволжья — те, кто не мог работать в лесу, — старики и дети. Уже к нашему приезду у них была разработана земля под картошку и рожь. Эти люди немного оперились хотя картошкой. Наши люди были голодны и не могли работать, не могли выполнять норму, а это много значило: за перевыполнение нормы выдавался дополнительный паек хлеба. Мне в ноябре исполнилось пятнадцать лет, сестре семнадцать, мать начала часто болеть, она кашляла иногда так сильно, что валилась с ног.

Люди Котласского района, которые еще были живы, ждали лета, чтобы бежать. По железной дороге расстояние было намного дальше, в Вологде и Вятке пересадки, что небезопасно. По Северной Двине расстояние ближе, и потом, как они говорили, на пароходах работали не только знакомые, но и родственники. И они ждали лета.

Вся работа в лесу — валка деревьев, навалка бревен на конные сани, штабелевка бревен, погрузка на тракторные сани — была не под силу женщинам и подросткам, они не могли равняться с мужчинами, потому им платили и хлеба давали меньше. А хлеб был в то время на вес золота, нигде его нельзя было взять, да и не на что, денег не было. Хлеб давали по списку, а не на деньги, не было в достатке госзнаков. Даже через три года давались авансы по 3 — 5 рублей. В некоторых леспромхозах применялись боны, они имели силу денег в пределах своего предприятия. Потом разрешили делать переводы в Архангельск, но у нас денег не было и переводить было нечего.

Осенью 1932 года меня поставили маркировать лес, что определило судьбу всей жизни. До пенсии я проработал в лесу, все ступеньки просчитал, вплоть до директора леспромхоза.

До 1933 года жизнь была однообразна: нищета и голод. Этот год был столь же трагичен. В апреле 1933 года освободили досрочно отца из заключения. Он поехал получать документ на жительство, ехал на подножке трамвая, на повороте был сбит встречным трамваем, искалечен, был сломан позвоночник. Когда отец лежал в больнице, мать ездила к нему в Архангельск, спала на вокзале, заразилась тифом и умерла в плесецкой больнице 8 августа. Отец умер 28 августа 1933 года. Мы с сестрой боялись безнадежно больного отца напугать смертью матери.

Через месяц сестра сбежала из ссылки на родину.

В 1934 году я был в отпуске на родной Мале. В нашей деревне к тому времени из двадцати четырех хозяйств осталось шесть жилых домов. Сейчас не осталось ни одного дома на всей Мале, а было семь деревень, земля обрабатывается только там, где можно применить трактор или комбайн, естественные сенокосы никто не косит. В 1988 году областная газета писала, что надо спасти деревню Лодеино — это родина маршала Конева.

А. КАЛИНОГОРСКИЙ,
пос. Речное, Кировская обл.

* * *

...Пишет Вам Богомолов Альберт Николаевич, один из тех вологодских, что разбросаны судьбой по всему Советскому Союзу от западных границ до Курил.

Я родился в 1930 году в деревне Митинская Н.-Слободского сельсовета Вожегодского района в полсотне километров от Вожеги. Когда-то в деревне, насчитывавшей 28 дворов, было два завода: смоляной и дегтяной. Они снабжали продукцией не только наш район, работали еще и в Отечественную войну. Издавна славились кузнецы, кузница была знатная.

В коллективизацию двенадцать мужиков было забрано и посажено в Архангельскую тюрьму, в том числе мой дед и три брата Быковых, по-деревенски Владимковых, мои дяди.

Дяди и были владельцами этих заводиков, на которых работали только их родственники.

Дядя Александр был первым председателем колхоза. Он мучился в тюрьмах и лагерях с 1933-го по 1943 год. Старший брат, чувствуя неотвратимую смерть в тюрьме, голодал, а свою пайку отдавал братьям, спасая их жизни. Умолял, если останутся живы, помочь его семье. В 1946 году Александр и Алексей выполнили завет, купили старый дом поблизости от станции Вожега и перевезли его в поселок для оставшейся семьи старшего брата.

После освобождения в 1943 году Александр прошел войну минером. Сколько он, рискуя жизнью, очистил минных полей, начиная со Смоленщины! Каждый день смотрел смерти в лицо, а помню, как, приехав осенью сорок пятого года в родную деревню, не мог смотреть на свой стоящий в центре красивый опушанный дом.

Пока он был в лагере, жена и одна из дочерей умерли, а вторая дочь, окончив заочно пединститут, стала заслуженным учителем РСФСР. (Живет в Омске.)

Дядя, умерший в 1957 году, мало рассказывал о своей мученической жизни в лагере. Судила его тройка. Спросили: «За что посажен?» Он ответил: «Не знаю». Дали десять лет. Вывезли их вверх по реке Печоре, высадили на берегу и велели копать землянки.

Свыше пятисот мужиков решили, что если копать землянки, то всем неминучая гибель. Была глубокая осень. Подмерзало утром, снег выпадал. Нашли топор со сломанным топорищем. Стали вылавливать в ледяной воде плавник. Кое-как по очереди рубили сруб и в декабре спали на нарах в деревянном доме. Из пятисот к весне осталось в живых семьдесят мужиков, которые и мытарили там десять лет.

Выше по реке в то же время высадили еще большую партию, причем в основном городских, из Москвы. Вырыли они землянки, и к весне не осталось никого в живых. Морозы-то были за сорок.

В тяжелых условиях дядя и за эти десять лет сохранил в себе человека. Даже какая-то интеллигентность в нем была. Запомнилось мне, как он ел: степенно положил ложку на стол, медленно прожевывал. Во всем был порядочен, уважителен к человеку, а это редкое качество у прошедших все круги ада, когда все человеческое вытравлялось, выжигалось каленым железом.

О деревне, о трудолюбивых крестьянских родах, которые, раскулачивая, подрубали под корень, мало еще правды сказано. Может, Вы сможете написать большой роман о разорении Руси...

Вот в одной, славной испокон деревне в трех дворах остались работники. Да и те спились, потеряли облик человеческий. Почему так случилось?

До свидания.

г. Кохтла-Ярве, Эстонская ССР.

...Ваше выступление растревожило меня, исторгло из души стон и слезы. Страшно задуматься, сопоставить пережитое.

У моей бабушки из восьми детей выжило трое, у матери — двое, а у меня и всего-то — дочь. На мне наш род завершается, если не будет сына. Но двоэ детей при нынешней жизни — мечта. Тяжело в общежитии, да и зарабатываем двести рублей, что они на троих? Неужели на мне прервется фамилия?

Отец мой из деревни в Воронежской области, а мать из рабочей семьи Томска. Родители жены из деревни, вятские. Мы с женой родились в городах в Казахстане. По-настоящему, от корней русскую культуру почти не знаем. Народный лад мало чувствуем. Уж и русские ли мы душою? И казахами не стали. Так, без роду без племени, на один шаблон. Как река, забывшая исток.

Под воздействием Вашего выступления родились строки:

Детки покинутых деревень,
Утратили кров мы, российскую сень.
Забитые окна — наши глаза
Какая нависла над нами гроза!
И русскую песню почти не слыхать.
Как же мне русским себя называть?!

С уважением

С. К.,
Москва.

Фатей ШИПУНОВ

ВЕЛИКАЯ ЗАМЯТНЯ

НАСТУПЛЕНИЕ НА ЗАМЯТНЮ

ПРОШЕЛ новый XX век. Правительство пыталось не допустить надвигавшейся беды. По почину правительства и при его поддержке в короткий срок был проведен целый ряд реформ по крестьянскому вопросу.

В 1901 году вступил в силу закон, разрешавший частным лицам покупать (а дворянам — и арендовать) на льготных условиях казенные земли в Сибири. В 1902 году было создано «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности» под председательством министра финансов графа Витте и при ближайшем участии Д. С. Сипягина и министра земледелия А. С. Ермолова. Не находя ответа о нуждах деревни ни в традиционном общинном хозяйствовании, ни в теориях, господствовавших в обществе, правительство обратилось по самому сложному вопросу русской жизни за советом к соотечественникам — земельным практикам, ко всему сельскому народу. На местах, в уездах и губерниях, было создано 600 комитетов по рассмотрению этого вопроса. В самый разгар работы этих столь нужных государству комитетов 2 апреля 1902 года был сражен пулей эсера Балмашева, явившегося в Мариинский дворец, крупный государственный деятель Д. С. Сипягин, много сделавший для плодотворной их работы. Это убийство сыграло роковую роль в российской жизни: оно создало пропасть между государственной властью и оппозиционным обществом, которое пыталось препятствовать любому совершенствованию строя России, в том числе крестьянского. Д. С. Сипягин стоял на пути этой оппозиции, и она его убрала, не гнушаясь вероломством и подлостью.

Но комитеты продолжали работать. В 49 губерниях из 184 комитетов против общины высказалось 125! Примечательно, что только один комитет — Сарапульский с Воткинским заводом высказался за дальнейшее развитие общины в коллективное хозяйство с артельной обработкой земли. Но даже те комитеты, которые выступали за общину, предложили ликвидировать затруднения, связанные с переделом земли, путем закрепления земли за теми хозяйствами, которые хорошо ее обрабатывают.

Манифестом от 26 февраля 1903 года давалось облегчение крестьянам на выход из общины. 12 марта 1903 года была отменена круговая порука, затянувшаяся в крестьянстве, как проказа, столетия тому назад. Другим манифестом, от 3 ноября 1905 года, были полностью отменены выкупные платежи — единственный крестьянский прямой налог, лежавший на деревне. Как видим, государство вело неукоснительную реформацию сельского хозяйства согласно предложениям самого крестьянства. Однако чем больше правительство делало шагов в сторону коренного улучшения крестьянского бытия, тем сильнее завывали носители замятни — разношерстные заминщики. В 1906 году некоторые из них, сосредоточившись в Думе, повели яростную атаку на эту деятельность правительства.

Все левые партии — принципиальные сторонники крупных хозяйств — и в Думе, и в народе пропагандировали раздачу помещичьих земель и сохранение власти общины над отдельным крестьянином. Однако к чему вела эта пропаганда? **Даже при отчуждении всех помещичьих земель получилась бы прибавка в земле около 1 десятины не душу! Эта десятина никак не решала земельного вопроса, но использовалась этими партиями как жупел для разжигания народной розни и смуты.** Кадеты, например, выдвинули проект принудительного отчуждения арендных земель, а по мере земельной нужды — и остальных частновладельческих земель. Основное требование Думы тех лет: «От принудительного отчуждения частновладельческих земель не отступать!»

Война и революционные события затормозили преобразование сельского хозяйства на путях, предложенных местными комитетами в 1899—1904 годах. Но результаты их работы не остались бесследными: они постепенно претворялись в жизнь и давали обширный материал для законодательной деятельности. Основной вывод комитетов: первостепенной причиной застоя или упадка сельского хозяйства являлись угнетение личности крестьянина и отрицание собственности на землю. И отстранением этой причины так же решительно занялось правительство, которое к тому времени возглавил П. А. Столыпин. Речь о его исторической деятельности пойдет ниже. Здесь же напомним вот о чем.

Для создания земельного фонда в несколько миллионов десятин указом от 12 августа 1906 года Переселенческому управлению передавались удельные земли, принадлежавшие императорской фамилии со времен Павла I. Спустя две недели следующим указом вводился порядок продажи этих земель, годных для обработки. Особым указом определялся порядок использования кабинетных земель на Алтае для удовлетворения земельной нужды. Крестьянский мир этого района Сибири проснулся, пошел со степей в горные долины и их верховья, основывая села и деревни, которые росли как на опаре. Из удельных земель, составлявших 41 миллион десятин, было передано крестьянам-старожилам и переселенцам около 25 миллионов.

Указом от 9 ноября 1906 года отменялся закон 1893 года о неприкосновенности общины и разрешалось раскрепощение крестьянина от общинной зависимости. Что это означало? Прежде всего указ уравнивал крестьянина во всех правах с прочими сословиями и признавал распавшимися все те общины, где в течение 24 лет не было переделов. Надельная земля таких общин автоматически превращалась в частную крестьянскую собственность. Таким путем более 193 тысяч семей получили в личное владение 1855 тысяч десятин земли. Эти крестьяне, как и другие общинники, были освобождены от выкупных платежей, составлявших 4 золотых рубля с каждого двора в год.

Крестьяне приобрели право свободного выхода из общины с укреплением из мирского надела в собственность земель, которыми они владели. Для устранения чересполосицы устанавливалось, что каждый крестьянин при общем переделе мог требовать объединения своей земли в единый участок (отруб), а при согласии двух третей общины — и не дожидаясь передела. Утверждалось право домохозяина единолично распоряжаться земельным участком в отличие от принципа семейной коллективной собственности, то есть устанавливалась личная крестьянская собственность на землю, а не семейная.

Указом предусматривался и порядок земленаделения и землевладения. Крестьянам предоставлялись свободные казенные земли в европейской России и разрешалось откупать участки у помещиков с помощью ссуд, предоставляемых Крестьянским банком. Эти ссуды с незначительными процентами должны были возмещаться обычно в течение 55,5 года, а уплату части процентов брало на себя государство. **Фактически все налогоплательщики государства должны были помогать крестьянам в приобретении нужной им земли.** Но и это еще не все: одновременно в целях защиты зарождающейся крестьянской собственности указ вносил и известные ограничения. Так, надельная земля не могла быть продана лицу другого сословия, она не могла быть заложена иначе, чем в Крестьянский банк, она не могла быть продана за личные долги, она не могла быть завещана иначе, чем по существовавшим тогда правилам. Указ, делая ставку на зажиточного крестьянина, не разрешал концентрацию более шести наделов в одних руках. Уже в начальную пору осуществления реформ обычный размер участка, типичный для такого крестьянина, составлял примерно 14—15 десятин, и только в районах с менее богатыми землями он мог превышать 20 десятин. Так завершилось осуществление пожеланий местных комитетов о нуждах сельского хозяйства России.

Текст исторического указа от 9 ноября 1906 года был разработан знатоками сельского хозяйства и крестьянства А. В. Кривошеиным, В. И. Гурко, А. И. Лыкошиным и А. Д. Риттихом под руководством выдающегося государственного деятеля П. А. Столыпина, который и взял на себя всю ответственность за его проведение в жизнь.

П. А. Столыпин, как и многие россияне, вспомним Киреевских, Аксаковых, Самарина, Хомякова, Кошелева, терзался соблазном общины. Не покидала его мысль, что, может быть, в общинном согласии воли личности с «миром», во взаимной помочи и погашении личных страстей и предприимчивости, в постоянной опеке общины над крестьянином, в примате коллективности общины над эгоистической частностью индивидуума сокрывается вечная истина, высочайший небесный смысл жизни человека, то, что выше самой истории. Одолевали сомнения, что, может быть, через общину и пролегает в земной жизни вера народа, которая выше этой жизни, что она и есть тот инструмент, выработанный веками, который ведет народ к нравственно-духовному совершенствованию? Но приходили на ум все тяжкие горести общинной жизни, все разногласия крестьян, вся немогота крестьянского мира, и через них грезились все грядущие смуты, которые, по сути, никогда в зародыше не оставляли крестьян и которые было кому разжигать и теперь.

Петр Аркадьевич родился 2 апреля 1862 года и был сыном известного генерала Аркадия Дмитриевича Столыпина, отличившегося во время русско-турецкой войны. Он разумом понял, что не подняться на ноги крестьянину, а значит, и России, пока они находятся в тисках круговой поруки общины, уравниловки, чересполосицы, передела земли. Понимал Петр Аркадьевич, что община яростно поддерживалась как раз теми, кто не желал благоденствия горячо любимой России. А беспристрастное вникание в ее историю показывало, что не от хорошей жизни погрузился народ в ту общину. Земельного же уравнения, сселение крестьян с земли и сгон их в общину, как в лагерь, произошли по-настоящему только в XVII веке, а до того, где топор с сохой погуляли, земля была даровая, твоя, собственная, неотчуждаемая, которую и стали раздаривать вольготно и без совести в основном с середины того же века. А с Петра I, с его подушной подати, повелось уравнивать земли, передаривать их и вести их передел для взыскания этой подати. И то только на Великороссию свалилось — побаивались окраин да спешили их задобрить, не вгоняя туда эти драконовские насилия над крестьянами, не допуская их сгона в общины — коммуналки. Потому не «народный дух» создал общину, а государственная бюрократия, поддержанная землевладельцами, а позже лукавыми «защитниками народа», для которых она была готовым элементом будущей русской деревни. От нее был один шаг до обработки земли и пользования продуктами сообща, то есть прямая дорога в коммуну.

Работая в 1902—1903 годах гродненским

Продолжение. Начало в № 9, 10 за 1989 год.

и ковенским губернатором (там земля по большей части находилась в подворном владении), Петр Аркадьевич познал все преимущество этого владения. В 1904 году в докладе правительству из Саратова П. А. Столыпин писал: «Жажда земли, аграрные беспорядки сами по себе указывают на те меры, которые могут вывести крестьянское население из настоящего ненормального положения. Единственным противовесом общинному началу является единоличная собственность... Если бы дать возможность трудолюбивому землеробу получить сначала временно в виде искуса, а затем закрепить за ним отдельный земельный участок, вырезанный из государственных земель или из земельного фонда Крестьянского банка, то наряду с общиной, где она жизненна, появился бы самостоятельный зажиточный поселянин, устойчивый представитель земли. Такой тип уже зародился в западных губерниях».

В 1905 году в Саратове в доме Столыпиных был убит генерал-адъютант Сахаров, присланный подавлять мятежи. Был бы рядом Петр Аркадьевич — и ему бы несдобровать! Летом того же года в Столыпина стреляли в одной из деревень губернии, а один погромщик попал в его больную правую руку булыжником, когда тот защищал от расправы группу земских врачей. А потом было покушение на театральной площади: бомба упала к его ногам и убила нескольких человек, но губернатор остался чудом жив. Еще раз револьвер был наведен в упор и тоже перед толпою. «Стреляй», — сказал Столыпин. И террорист бросил револьвер. Угрожали: отравим двухлетнего сына — единственного после пяти дочерей. Но Столыпин ездил без оружия по губернии, и именно туда, где шла необъявленная революционная война, подогреваемая левыми. И то было следствием неустройства крестьянской жизни: невозможности подлинного владения землею, которую только и любил крестьянин и которая только и врачевала его нравственно-духовные раны. Причина всему — видел Петр Аркадьевич — общинное землевладение.

В апреле 1906 года П. А. Столыпин был назначен министром внутренних дел. Два его предшественника на этом посту были убиты. По просьбе государя В июля 1906 года Петр Аркадьевич возглавил правительство. Преследователи не оставляли его в покое и здесь, в С.-Петербурге, все время охотились за ним. Как писал его сын — Аркадий Петрович, да и сообщали многие свидетели того времени, новый глава правительстве настоял на том, чтобы его субботние приемные дни были доступны для всех. Ни предъявления письменного приглашения, ни даже какого-либо удостоверения личности от приходивших на прием не требовалось. Таким путем и проникли в подъезд террористы, переодетые в жандармскую форму. Они взорвали его дачу на Аптекарском острове. Тяжелые ранения получили 32 человека, а 27 человек были убиты. Единственный сын Аркадий — 3-х лет и старшая дочь Наташа — 14 лет, были выкинуты взрывом на набережную и также получили ранения. Сам же Петр Аркадьевич чудом уцелел.

А затем за один год были пресечены покушения на него групп Добржинского, Строгальщикова, Фейги Элькиной, Лейбы Либермана, «летучих отрядов» Розы Рабинович, Леи Лапиной и Трауберга. Террористы пытались убить Столыпина во что бы то ни стало. Крестьянский мир, а значит, и Россия висели на волоске, ибо от его веры, таланта и воли зависела их судьба.

Главный устой России был завязан здесь, в деревне, и его надо было укрепить, несмотря на то, что продолжали гореть помеcтья, взрывались бомбы, убивались честные служители государства, бунтовали воинские части и крестьяне. Как никто, он понимал, что лечить страну надо с решения крестьянского вопроса, что нужна и уступка казенных, удельных, кабинетных, заповедных земель, и понижение платежей по ссудам, и увеличение кредита,— все это надо делать, но главное — свободный выход из общины. «Чувство личной собственности такое же естественное влечение, как чувство голода, как влечение к продолжению рода, как всякое другое природное свойство человека»,— неустанно говорил П. А. Столыпин. Он считал, что реформа 1861 года осуществила только первую часть задачи, вторая ее часть, опоздавшая на 45 лет,— освобождение крестьянина от общины. На осуществление этой главной части реформы потребуется 10—15 лет — и тогда никакие потрясения государству будут не страшны. Летом 1907 года опять готовилось покушение: в Петра Аркадьевича должен был стрелять из ложи Думы социалист-революционер с паспортом итальянского корреспондента. Оно не удалось. П. А. Столыпин знал, что погибнет от рук убийц, и потому завещал «похоронить его там, где он будет убит». Но в Думе, и в печати, и в народе продолжал звучать его голос.

1907 год — «Поднять нашу обнищавшую, нашу слабую, нашу истощенную землю. Земля — это залог нашей силы в будущем. Земля — это Россия»; «Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он остается рабом, и никакой писаный закон не даст ему блага гражданской свободы».

1909 год — «Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России».

«Избранники народа» в Думе всеми мерами тормозили ход реформы. Два с половиной года Дума топила в словопрениях продвижение ее в крестьянство. Кадеты и правые грудью стояли в защиту общины. Думские деятели выдвинули идею закрепощения крестьянина в семье: отпала власть помещика, отпала власть общины, но пусть остается власть семьи, такая власть, когда на каждый имущественный шаг он должен был получать согласие сочленов семьи. Земельный закон окончательно был принят Думой большинством только в несколько голосов, да потом еще год потребовался, чтоб его утвердил Государственный совет. Так, в муках, трениях, колебаниях в грозной социальной буре появился закон 14 июня 1910 года, содержавший в себе и указ 9 ноября 1906 года о выходе из общины. Но предстояло внутринадельное устройство крестьян, которым давалась в этом деле инициатива. Она проявлялась не повсюду. Потому закон «О землеустройстве» 29 мая 1911 года вносил в это дело определенный порядок и ясность. Он еще раз подтверждал право крестьянина требовать выделения для него цельного участка земли и расширял полномочия землеустроительных комиссий. Решения этих комиссий были обязательными в вопросах устранения чересполосицы и отграничения смежных владений. Комиссии выдавали документы на право владения землей, отведенной к одному месту.

Итак, указ от 9 ноября 1906 года, подтверждение этого указа Третьей думой в виде закона от 14 июня 1910 года и принятый той же Третьей думой закон «О землеустройстве» от 29 мая 1911 года — вот три этапа, три исторические вехи в становлении возрожденного и обновленного крестьянского строя России.

Законы эти имели полное право называться Столыпинскими. И вот что примечательно. С великой чуткостью в них была сохранена та сокровенная сущность крестьянской сообщины, без которой не окреп бы и личностный крестьянский мир. И не только сохранена, но и усилена! Той сущностью, во-первых, был «мир» прихода церковного, а во-вторых, самоуправляемый сельский сход, теперь решевший все свои необходимые, неотложные дела, помогавший крестьянину, его семье и хозяйству. Тут и кооперативная деятельность, и дорожное строительство, и страховое движение, и агрономическая, медицинская и ветеринарная помощь, и образование детворы, и благоустройство местности, и возведение храмов, да и мало ли чего, что надобно было именно сообщине.

Петр Аркадьевич лично следил за ходом исполнения законов, связывался с земствами и губернаторами, не давал покоя министерству земледелия, от которого многое зависело. Была и еще одна важная часть реформы — это переселенческое дело. Петр Аркадьевич решительно взялся за переселение крестьян на свободные земли сибирского Отечества: ввел казенную отвозку ходоков, переселенческую госинформацию, предварительное землеустройство участков, помощь переезжавшим семьям с домашним скарбом и скотом, кредиты на постройку домов и усадеб, покупку машин. И потянулись, кто расторопнее и смелее, на восток, в год до миллиона крестьян, а к 1914 году — столько, сколько за 300 лет не бывало, — 4 миллиона крестьян. Уже к 1912 году им было отведено 31 миллион десятин земли. Могущество России Сибирью стало прирастать. И земли там получали в собственность, а не в пользование — по 50 десятин на семью.

С 19 августа по 19 сентября 1910 года П. А. Столыпин вместе с А. В. Кривошеиным объезжали Сибирь переселенческую и видели, что крестьяне были здесь свободны, обуты, одеты, накормлены, обрастали детворой, обзаводились постройками, полями, скотом, хозяйством и требовали создания дорог, элеваторов, школ и церквей. И думали путешественники, наделенные государственными полномочиями, о тех мерах, чтоб и дальше шел и шел крестьянский поход за Урал. В докладе 1910 года П. А. Столыпин писал: «Нужно озаботиться обеспечением сбыта сибирскому хлебу и другим продуктам сибирского хозяйства. С этой целью желательно провести южносибирскую магистраль Уральск — Семипалатинск, с выходом на Ачинск или на Семипалатинск». Предложение было поддержано, и проект железной дороги был одобрен. Успели проложить в переселенческих районах более 11 тысяч верст грунтовых дорог. Возрастали и правительственные капиталовложения в переселенческое дело: в 1906 году они достигли 4,5 миллиона рублей, в 1908 году — 18,3, а в 1912 году — 26,3 миллиона рублей. Они шли и на постройку тысяч колодцев и многих водохранилищ, и на орошение, и на сооружение школ, больниц, амбулаторий, ветеринарных пунктов, и на расширение складов, в которых переселенцы получали на льготных условиях сельскохозяйственный инвентарь, удобрения и т. п., и на приобретение машин, и на многое другое. Соратник Столыпина — А. В. Кривошеин стал поистине «министром азиатской России». Его сын — К. А. Кривошеин писал, вспоминая деятельность своего отца на посту того «министра»: «Было организовано 416 врачебных и фельдшерских пунктов в районах водворения, на которых работало 130 врачей и 684 фельдшера. Было до 135 700 амбулаторных посещений в год... Была создана шкала ссуд, разделенная на семь категорий: от нуля в Западной Сибири до 400 рублей в Приамурье и в пограничных с Китаем областях, из коих 200 рублей безвозвратно... Косвенной помощи — дорогами, больницами и школами — отдавалось предпочтение перед индивидуальными ссудами».

Оказывая огромную поддержку переселенческому делу в Сибири, П. А. Столыпин неустанно твердил: «Продажу участков казенной земли переселенцам производить на льготных началах применительно к правилам Крестьянского банка... развитие частной собственности имеет и общее культурно-политическое значение: оно может дать приток сюда свежих сил, образованных и предприимчивых деятелей, без которых едва мыслимо правильно поставить и земское и городское хозяйство». Он также понимал, что не только Сибирь, но и Средняя Азия открывает широчайшие перспективы переселенческому делу. В очередном докладе в 1910 году он доказывал: «От широкого прилива в степь русских переселенцев выигрывают и переселенцы, и киргизы, и самая степь, и русская государственность». Прибавлялись нарезы земли переселенцам в тех краях. Если в 1906 году по Казахстану было нарезано 709 тысяч десятин земли, то в 1907 году — 1461 тысяча, в 1910 году — 1788 тысяч десятин! 18 марта 1911 года был одобрен план землеустроительных работ в Туркестане.

Возможно, в поездке по Сибири созрели у Столыпина планы всестороннего созидания государства на срок до 1927—1932 годов. В тех планах намечалось и расшире-

ние дел уже созданного «Совета по делам местного хозяйства», и кредитование земств и городов, и расширение учебных заведений и передача их — высших — губернскому, средних — уездному, начальных — волостному земскому управлению. А еще: и новое министерство труда, которов должно было готовить законы по улучшению положения рабочих, и министерство социального обеспечения, и министерство национальностей (по принципу их равноправия), и расширение сети духовных заведений, и восстановление патриаршества, и бесплатная медицинская помощь сельскому населению и рабочим через министерство здравоохранения. В задуманных им планах и обследование недр, и введение прогрессивного подоходного налога (малоимущие должны были освобождаться от него), и отказ от иностранных займов, и строительство дорог, и прекращение деятельности частных банков и замена их госбанком, и новая международная политика, да всего и не перечтешь. Но именно зтой программе не суждено было осуществиться. Петр Аркадьевич Столыпин погиб 1 сентября 1911 года в возрасте 49 лет на 14 раскрытом (а сколько было нераскрытых!) покушении за 6 лет от пуль Мордки Богрова.

Те, кто убивал П. А. Столыпина, убивал крестьянский строй, крестьянскую Россию. Хоронили Петра Аркадьевича в Киеве, в матери всех городов российских, в Киево-Печерской лавре между двумя историческими могилами — Кочубея и Искры — при насмешках, злобных завываниях левых и правых и всех недоброжелателей России—от зарубежных до внутренних. Гибель Столыпина была жестокой бедой России!

Тех, кто ввергал Россию в пропасть смуты, кто разжигал ненависть, даже не Россия, как историческое образование, интересовала, а ее идея носителя высочайшей правды, возможной на земле, ради которой она жила века и каковой держалась как величайшее, самобытное и богатейшее культурно-историческое государство. Тем, кто толкал Россию в эту пропасть, нужна была не нравственно-духовная, не могучая и богатая, не та правдоносная, а бездуховная и безнравственная, бесправная, нищая страна, которую можно было использовать как колонию, разворовывать ее ресурсы, грабить ее народ, паразитировать на нем, растаскивать ее культурные ценности и тем обогащаться, то есть господствовать над ней во всех отношениях!

Именно в наши дни становится, как никогда, ясным, что то, что сделал П. А. Столыпин для крестьянского мира, и берегло народ потом, что мы живы теперь тем же, ибо рожденные крестьянками в 1906—1913 годах и выиграли последнюю войну, и спасли мир от катастрофы. Дело, начатое П. А. Столыпиным, в считанные годы принесло свои плоды, и крестьянство, как и вся Россия стали неузнаваемы. Расскажем о некоторых итогах Столыпинской реформы.

Прежде всего вспомним о деятельности реорганизованного в 1907 году Крестьянского банка. Ему была поручена покупка помещичьих земель с дальнейшей их перепродажей крестьянам на льготных условиях, а также вменялись в обязанность посредничество и поощрение, с соответствующими ссудами, покупки крестьянами земель непосредственно от помещиков. Вот эта деятельность Крестьянского банка в цифрах в период с 1906 по 1909 год: из 53 миллионов десятин помещичьей земли предложено было банку 14,5 миллиона. Такой размах предложений на покупку помещичьей земли был, конечно, не под силу банку, и он приобрел всего 3,4 миллиона десятин по довольно высоким ценам, чтобы не дезорганизовать рынок и не разорить землевладельцев. Для покупки помещичьих земель, уже приобретенных банком, крестьянам было выдано с 1907 по 1915 год в виде ссуд 421 миллион рублей. Кроме того, дополнительно было выдано ссуд на 606 миллионов рублей для покупки крестьянами земель непосредственно от помещиков, но при посредничестве банка. С 1906 по 1915 год помещичья земля сократилась с 53 миллионов десятин до 44 миллионов, а за весь период с момента освобождения крестьян — наполовину. Как видим, без грабежей, без насилия, без «экспроприаций» и «конфискаций», без разоров, без голодовок и всех других народных бед площадь помещичьих земель постепенно сокращалась, а так называемый «земельный голод» отступал прочь! Более того, при этом сохранялись помещичьи культурные очаги, имевшие огромное значение для сельского хозяйства страны. Особую поддержку оказывал Крестьянский банк тем крестьянам, которые переселялись из деревень на хутора. С 1906 по 1916 год крестьянами с помощью банка было приобретено и благоустроено свыше 200 тысяч хуторских хозяйств. Через тот же банк и всего за четыре года, 1906—1910, крестьяне, сверх своих земель, полученных от общин, приобрели дополнительно свыше 6 миллионов десятин.

И еще раз напомним в итоге. В 47 губерниях европейской России к моменту реформы было 14,6 миллиона надельных дворов, загнанных в крепостничество общины. И вот к 1917 году заявления на выход из общины подали 5,8 миллиона домохозяев (запомним зту цифру!), то есть 40,8 процента от их общего количества. Несмотря на замедленные темпы в военное время, к 1 января 1916 года успели укрепиться на собственной земле 2,3—2,4 миллиона домохозяев (запомним и эту цифру!), получивших 26,8 миллиона десятин земли. Из зтого количества землн 15,4 миллиона десятин приходилось на хутора. Для остальных же 3,5 миллиона крестьянских дворов, изъявивших желание выйти из общины, к 1915 году была проведена подготовка к осуществлению их заявлений, но земли они уже не получили. Впоследствии судьба этих потенциальных хуторян была трагической, как и тех, кто успел приобрести собственную землю.

Но одновременно с выходом крестьян из общины в сельский мир вползала снова и снова замятня — та нравственная зараза, которая тлела в нем с давних времен. С 1908 по 1915 год около 914 тысяч единоличников, покинувших общину, оставили землю своих предков, продав ее другим крестьянам. Проведенное тогда в 12 уездах обследование показало, что 12 процентов крестьян, продавших свою землю, переселились за Урал, а более 26 процентов покинули деревню и ушли в города за высоким заработком. Еще 30 процентов из них также продали свои наделы для покупки лучшей земли через Крестьянский банк. Но в этом явлении главным было вот что: 20 процентов дворов оставили землю не по какой-либо причине, а только из-за недостатка рабочих рук, пьянства, лодырничества, перебегов, отходничества, нежелания и нелюбви творить крестьянское дело. Эти-то последние дворы и их наследники и составили к 1916—1917 годам деревенскую «бедноту» — пролетаризированный элемент, к которому они принадлежали и в дореформенное время.

Но несмотря на все это, период с лета 1912 по лето 1914 года явился подъемом всего российского хозяйства. А в нем рост сельского хозяйства был настолько могучим, что на русской промышленности совершенно не отразился промышленный кризис 1911—1912 годов, поразивший Европу и Америку. Урожайность в стране с 1906 по 1915 год возросла на 14 процентов, а в некоторых губерниях — на 20—25 процентов. Урожай таких хлебных злаков, как рожь, пшеница и ячмень, поднялся с 2 миллиардов пудов в 1894 году до 4 миллиардов пудов в 1911 году, то есть удвоился. Зерновое хозяйство шло быстро в гору, и именно для него П. А. Столыпин создавал по всей России зерновые элеваторы Госбанка и субсидировал крестьян для хранения там зерна. В период с 1909 по 1913 год русское производство главнейших видов зерновых превышало на 28 процентов таковое Аргентины, Канады и Америки, вместе взятых. В 1909 году за пределы России было вывезено 760,7 миллиона пудов хлеба, в 1910 году — 847, в 1911 — 821 миллион пудов на общую сумму зв три года в 2,3 миллиарда рублей. Русский экспорт в 1912 году достигал 968,7 миллиона пудов, или 15,5 миллиона тонн зерна. В основном вывозились пшеница и ячмень. Пшеница вывозилась в Великобританию (48 миллионов пудов), Голландию (52 миллиона пудов) и в Италию (44 миллиона пудов). Ячмень в основном шел в Германию (165 миллионов пудов). Вывозилось масло коровье, яйца, сахар, семя льняное, семена кормовых трав, лен, пенька, кожи, домашняя птица и дичь, лошади. Привоз хлеба из-за границы в 1911 году составил всего 9 миллионов пудов на сумму 9 миллионов рублей. Главным образом привозилась сортовая рожь (около 7 миллионов пудов).

В 89 губерниях России остаток продовольственных хлебов в 1910 году (за вычетом посева) составлял почти 21 пуд на душу населения, а в среднем за 1906—1910 годы — более 18 пудов. В последующие годы он увеличился. В 92 ее губерниях и областях в 1914 году имелось окопо 180 миллионов голов скота, в том числе 35 миллионов лошадей и 52 миллиона крупного рогатого. По сравнению с 1894 годом поголовье лошадей увеличилось на 37 процентов, а крупного рогатого скота — на 63. На 100 десятин посевной площади приходилось более 170 голов скота: 35 лошадей, 53 коровы, 74 овцы и козы, более 8 свиней. Россия становилась главным производителем жизненных припасов в Европе и даже в мире. Сельское хозяйство делало успехи, но крестьянская реформа только развертывалась.

Промышленность тоже не отставала. По сравнению с 1894 годом добыча угля к 1914 году возросла на 306 процентов, нефти — на 65, соли — на 42,5, золота — на 43, меди — на 375, чугуна — на 250, железа и стали — на 224; производство сахара — на 245, сбор хлопка — на 388 процентов! Вместе со строящимися железными дорогами рельсовая сеть достигла 92 тысяч верст, а намечено было к постройке еще 70 тысяч. Торговый флот с 1894 года к 1914 году удвоился.

Прибавлялось могущество России и азиатскими владениями. Там население уже составляло 21,5 миллиона человек, в том числе в центральной их полосе — Томском, южной части Енисейского, Акмолинском, Кустанайском и Тургайском уездах — 10 миллионов. В Алтайском округе оно превысило 3 миллиона человек (более 10 душ на квадратную версту). Число переселенцев перевалило намного за 4 миллиона. Бюджет Переселенческого управления достигал 30 миллионов рублей в год. В 1913 году эта часть России с 12 миллионов десятин посевных площадей уже давала 400—450 миллионов пудов хлеба, а хлебные излишки достигали 100 миллионов пудов. Ежегодный вывоз коровьего масла в Англию, преимущественно из Алтайского округа, превышал 4,5 миллиона пудов на сумму 70 миллионов рублей, что превышало в два раза стоимость годовой добычи сибирского золота (в рублях).

В 1893 году акционерных капиталов в России числилось на 80 миллионов рублей, а в 1915 году этих капиталов было 3500 миллионов (увеличение на 340 процентов). Росли и кредитные кооперативы, число их членов в 1913 году превышало 9 миллионов.

В 1912 году открылся Московский народный банк, в котором на 85 процентов были представлены кооперативы. Сумма вкладов на кооперативных началах составляла в 1894 году всего 70 миллионов рублей, в 1913 году — 620 миллионов рублей (увеличение на 800 процентов), а в 1917 году — 1200 миллионов рублей.

Доход казны достигал 3,5 миллиарда рублей, а в 1894 году он был почти в 3 раза меньше — 1,2 миллиарда. С 1904 по 1913 год превышение доходов над расходами составило 2 миллиарда рублей, а золотой запас Госбанка с 648 миллионов рублей в 1894 году поднялся до 1600 миллионов рублей в 1911 году. Государственный бюджет с 1031 миллиона рублей возрос до четырех миллиардов рублей в 1916 году. А ведь казенные продажи питий были закрыты в 1914 году. И все же рост государственных доходов выражался в 300 процентов. Русские налоги были самыми легкими в мире. Основной казенный налог на землю составлял в среднем 13 копеек с десятины, а земские налоги не превышали в среднем 51 копейку с десятины.

Более 63 процентов государственного бюджета тратилось на производственные и культурные потребности народа, тогда как в западноевропейских государствах, с демократическими представительными учреждениями, на эти цели расходовалось всего 34 процента, то есть вдвое меньше. Русское рабочее законодательство по гуманности и широте превосходило рабочие законы Запада, не говоря уже об Америке, где рабочие не пользовались тогда никакой защитой государства. К 1911 году рабочие составляли 5 процентов населения России. Еще в 1882 году был запрещен труд детей, а труд подростков был ограничен восемью часами с обязательным отдыхом в середине дня. Ночью и в праздничные дни труд подростков был категорически запрещен. В 1906—1914 годах законодательным порядком было проведено дальнейшее ограничение рабочего дня, обязательность воскресного и праздничного отдыха, больничного и страхового обеспечения и т. д.

Народные сбережения увеличивались стремительно. Сумма вкладов в сберегательные кассы возросла с 300 миллионов рублей в 1884 году до двух миллиардов в 1913 году (увеличение на 570 процентов), а к 1917 году — до 5 миллиардов 225 миллионов рублей (увеличение на 1700 процентов). Росли и крестьянские вклады в сберегательные кассы: на 31 декабря 1915 года их сумма составила 2 миллиарда рублей. Достаток России возрастал с каждым годом, и это позволяло ей уделять больше внимания на народное образование. Расходы государства, земства и городов на эти цели превышали 300 миллионов рублей в год. По сравнению с 1894 годом они повысились в 7—8 раз. В сельскохозяйственных школах и на курсах, организованных для крестьянской молодежи, в 1906 году училось 48 тысяч человек, а в 1914 году — уже 1600 тысяч.

Прирост населения России по сравнению с другими государствами Европы был самым высоким — 16,8 человека на 1000 жителей. На 1 января 1911 года ее население составляло 167 миллионов человек, в том числе в Финляндии — 3 миллиона и привислинских губерниях — около 12,5 миллиона. Две трети населения — 109 миллионов человек — составляли русские. В 1917 году население достигло около 190 миллионов человек, то есть по сравнению с 1884 годом увеличилось почти на 70 миллионов. Без привислинских губерний и Финляндии оно насчитывало около 174 миллионов человек. Демографы подсчитали, что если Россия ничего не потеряет и ничего не приобретет сравнительно с тогдашним ее положением, то в 1985 году ее население будет простираться до 400 миллионов человек.

Забеспокоилась Европа, с опаской смотрели на Россию за океаном. А как тому было не быть, если в два десятка лет она поднялась на такую высоту, которая им и не снилась за века. Мир понимал, что еще каких-нибудь 25 лет такой мирной и спокойной жизни — и Россия, завершив свои великие земельные, промышленные и местные реформы, станет непобедимой и явится в роли мирового образца. Это беспокойство выразил французский экономический обозреватель Э. Тэри в своей книге «Россия в 1914 году». Он в ней писал: «Итак, если в течение 36 последующих лет все будет идти так, как между 1900 и 1912 годами, население России в 1948 году будет выше, чем общее население пяти других больших европейских стран». «Возрастание государственной мощи (России.— Ф. Ш.) создается тремя факторами экономического порядка: 1) приростом коренного населения; 2) увеличением промышленной и сельскохозяйственной продукции; 3) средствами, которые государство может вложить в народное образование и национальную оборону». «...Если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 1950 годами, как они шли между 1900 и 1912, то к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе как в политическом, так и экономическом и финансовом отношении».

И стояла, как скала среди бушующего моря, Россия-Исполин.

В подтверждение тому расскажем еще раз, каково было «самочувствие» сельского хозяйства России в ту военную пору. В 1914 году, а он был неурожайным, валовой сбор зерновых составил более 4 миллиардов пудов, а ранее, в 1913 году, он даже превышал 5 миллиардов! «Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу» по итогам всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 года констатировало, что «размеры посевной площади 1916 года примерно на 20—25 процентов превышают площадь, необходимую для удовлетворения потребностей населения России... Россия обладает достаточными хлебными ресурсами, чтобы спокойно и уверенно смотреть на будущее: хлебные богатства России, при всех случайностях, вполне обеспечивают продовольствование ее населения и при необходимости могут служить предметом вывоза в другие страны». Шел третий год жестокой мировой войны, а сельскохозяйственная мощь России оставалась непоколебимой. Правда, ощущался недостаток рабочих рук, мобилизованных в армию. Да еще в Сибири скапливались залежи хлеба, который в европейскую Россию доставлялся с трудом, так как южносибирская железнодорожная магистраль, со строительством которой так спешил П. А. Столыпин, еще была не достроена.

По сельскохозяйственной переписи 1916 года всего по европейской России насчитывалось 15,7 миллиона хозяйств крестьянского типа и 111 тысяч хозяйств частновладельческих. В крестьянских хозяйствах жило 83,4 миллиона душ, а в частновладельческих — 2,3 миллиона. Всего крестьянствованием в этой части России, где проживало почти 87 процентов жителей, занималось около 85,7 миллиона душ обоего пола. Посевные площади в тех и других хозяйствах составляли 73,8 миллиона десятин, из них 64 миллиона — в хозяйствах крестьянского типа и 7,6 миллиона — в частновладельческих. Продовольственные хлеба занимали около 42,7 миллиона десятин: в крестьянских хозяйствах — 38,6 миллиона десятин, в частновладельческих — 3,9 миллиона. Следовательно, только около 9 процентов всех посевов продовольственных хлебов приходилось на частновладельческие хозяйства. В одном хозяйстве крестьянского типа в среднем имелось около 4 десятин посева, а в частновладельческом — 17. В первом хозяйстве имелось в среднем 5,3 души обоего пола, а во втором — 21,4.

В европейской России содержалось около 145 миллионов голов скота, в том числе в крестьянских хозяйствах — около 136 миллионов и в частновладельческих — не менее 8 миллионов, то есть около 5 процентов от всего поголовья скота. На крестьянское хозяйство в среднем приходилось 8,5 головы скота, а на одно частновладельческое — 72,3. Но вот что примечательно: в расчете на 100 десятин посева в первых хозяйствах содержалось 212 голов скота, а на таком же количестве десятин в частновладельческих — более 420 голов. Поэтому продуктивность посевных площадей в частновладельческих хозяйствах была почти в два раза выше, чем в хозяйствах крестьянского типа, иначе они не смогли бы содержать такое количество скота.

Все крестьянские хозяйства давали 1,5—1,9 миллиарда пудов продовольственных хлебов в год, в том числе единоличные хозяйства — 300—350 миллионов пудов. Частновладельческие хозяйства поставляли 240—280 миллионов пудов в год. В целом частновладельческие и крестьянские личные хозяйства ежегодно обеспечивали 25—30 процентов всех продовольственных хлебов. Эти же хозяйства производили столько же и кормовых хлебов. Средние годовые излишки только продовольственных хлебов по России превышали 400—440 миллионов пудов, из них Сибирь давала почти 100 миллионов пудов. А животноводство частновладельческих и крестьянских личных хозяйств производило до 30 процентов продукции, и тоже в основном товарной. Снабжение городов, промышленных центров, торговли жизненными припасами на внутреннем и внешнем рынках преимущественно поддерживалось именно этими хозяйствами.

По всей России, там, где земля перешла в личные руки крестьянина, всюду видны были сложные системы сельского хозяйства, как по отраслям — от скотоводческо-земледельческих к экологически-интенсивным, так и по условиям обеспечения урожайности — от лесопольной и переложно-травяной к навозно-промышленной. В частновладельческих хозяйствах, как уже говорилось, давно имела место не только улучшенная зерновая, но и плодосменная система земледелия. В хозяйствах личного крестьянского типа шел повсеместный переход от паровой зерновой и многопольно-травяной систем земледелия тоже к улучшенной зерновой и интенсивной плодосменной с севооборотами, включающими пары, хлеба, кормовые травы и корнеплоды. На севере при выгонной и паровой системах применялись не только 6—9-польные, но и 10—12-польные севообороты. А в средней полосе и на черноземном юге при плодосменной системе использовались тоже не только 7—9—10—12-польные, но и 17—22- и даже 24-польные севообороты! А вот в хозяйствах крестьянского общинного типа все еще довлела 3—4-полка с парами, озимью и ярью.

Повсюду, там, где крестьянин нес нравственную ответственность за землю и продукты своего труда, будучи ее собственником, приживалось поистине сложнейшее экологическое хозяйство, которое включало в свой состав и полевое, и животноводческое, и пчеловодческое, и рыбное, и садовое, и лесное, и различное ремесловое. Одно хозяйство дополняло и восполняло экологически другое, отчего выигрывали в целом все системы хозяйства. А еще: в упомянутые системы земледелия входила как самый важный элемент пойменная и заливная луговая система земледелия, без которой вряд ли смогли бы существовать все остальные системы земледелия. Именно эта система земледелия и связанные с ней другие кормили не только население, расселенное вдоль многочисленных рек, но и весь народ российский. Она была как бы той кладовой жизненных припасов, откуда можно было их черпать, не опасаясь, что они иссякнут. Отсюда поступала основная часть луговых трав и, следовательно, навоза на все земли, связанные с пойменными и заливными. С этой же землей была тесно связана огородная система земледелия — основной поставщик овощей и огородных продуктов.

Россия вышла на рубежи великой аграрно развитой страны. Разнообразие ее систем сельского хозяйства, земледелия и севооборотов, гибкость их применения во времени и пространстве — все это создавало устойчивость земледелия к природным и историческим невзгодам, уверенность в завтрашнем дне. Природные невзгоды уже не наваливались чередой по нескольку раз в десятилетие, как это было в конце прошлого и в начале текущего века. Неурожаи и связанные с ними голодовки отошли в прошлое: с 1906 по 1916 год не было ни одного неурожая, хотя засухи в отдельные годы и стращали народ и землю, как то было в 1911 году.

И надо было государственной деятельности и народу сделать еще один шаг к созданию всероссийского преобладания личных крестьянских хозяйств в едином органическом целом крестьянского мира с его взаимопомощью, взаимовыручкой на основе столь же разнообразной кооперации. В это крестьянское и тем самым сельское органическое целое должны были входить и частновладельческие хозяйства, которым надо было оказать всемерную помощь со стороны государства.

Но началась мировая война, затем революция, перешедшая в гражданскую войну...

(Продолжение следует)

КРИТИКА

Валентин **РАСПУТИН**

«ПРАВАЯ, ЛЕВАЯ ГДЕ СТОРОНА?»



ОКАЖИТЕ, какие поете вы песни, и я скажу, что вас ждет впереди», — мог бы ответить тот, к кому обратились бы за судьбой народа. Для этого не нужно быть оракулом.

«... и я скажу, чем вы больны», — продолжил бы другой, не будучи врачом.

«... я увижу, во что вы веруете, чему поклоняетесь, знаете ли вы границу между добром и злом», — мог бы подхватить третий.

И тут нет преувеличения. Культура народа, как сумма этических и эстетических ценностей, показывает в его прошлом, настоящем и будущем слишком многое. Она есть мера глубины и состоятельности, прочности и талантливости народа. Звук образной отзывчивости — это эхо отзывчивости сердечной. Культура возникла и веками развивалась, как музыкальное сопровождение человека, как постепенное и таинственное извлечение его нетелесной фигуры. Человека создал труд, но если бы в нашем далеком предке не зазвучала одновременно мелодия, едва ли он пошел бы дальше того вида, который в науке называется «человеком умелым», что равнозначно умелому зверю. Подобно Туринской плащанице, в которую оборачивали снятого с распятия Христа и которая вот уже скоро две тысячи лет сохраняет его облик, культура оставляет беспристрастный оттиск нашего портрета.

Для культуры, для искусства излишне добавлять, что они обязаны быть гуманистическими. Негуманистической культуры не должно существовать. Это означало бы, что человек сознательно решил вернуться в скотское состояние. То, что называет себя иной раз культурой, что рядится в ее одежды, не имея сути, бывает или самозванством, или подражательством, или проходимством. Это волк из известной народной сказки, перековавший грубый голос на тонкий, чтобы выдать себя за мать семерых козлят. С тем же результатом для бедных козлят. Искусство — это праведный и чистый голос человечества в целом и каждого народа в отдельности, духовная и эстетическая побудительная высота, осуществленная мечта человека, ухваченное перо жар-птицы и прометеев огонь человеческих исканий и побед. Искусство является тогда, когда человеку дано преодолеть силу земного притяжения и вознестись в ту высь, где начинается творец, испытав при этом все муки радости творца. Надо, вероятно, уточнить: творец — это тот, кто создает гармонию и красоту, кто способствует ладу и миру в жизни; действия того, кто разрушает их под видом нового искусства, вносит в них диссонанс и аритмию, должны иметь другое обозначение.

И уж чтобы не путаться еще в одном: твердой границы между искусством и культурой провести, пожалуй, нельзя. Не было ее в прошлом, нет и сейчас. Профессионализм может быть и там, и там, и ни там, ни там его может не быть. Понятие культуры как низового, доступного массам искусства, а искусства как элитарной культуры не выдерживает логики. Еще Л. Н. Толстой в статье «Что такое

Журнал публикует полный текст появившейся в ряде изданий статьи.

искусство?» отнимал у искусства право быть непонятным. Он писал: «Великие предметы искусства только потому и велики, что они доступны и понятны всем». Но ни Толстой, ни кто другой, открывая залы искусства для миллионов, не открывали тогда мастерских для любого и каждого, кто пожелал бы туда войти. Само собой разумелось, что в этот сан, чтобы священнослужительствовать искусству, человека возводит некий небесный перст. Брать семейный или общинный подряд в этом виде деятельности, как повелось сейчас, в прошлом веке не было заведено.

Не будем и мы вбивать колья между культурой и искусством. Если и прежде они были как сиамские близнецы, то теперь, спеленутые массовостью, и вовсе звучат слитно: массовое искусство, массовая культура... Не забудем, однако, что родителями их были Красота и Добро, и оставим за собой наперед право сделать кой-какие необходимые оговорки.

Главное требование, громче других провозглашаемое сегодня, — искусство должно быть современным. Спорить тут, казалось бы, не о чем. Если бы мы с нашими оппонентами сошлись в смысловом ударении. Мы выделяем «искусство», они — «современным». Но и в этом случае можно еще не ломать копий. Современным — значит глубоко и сильно воздействующим, увеличивающим духовную производительность человека (которая в свою очередь скажется на производительности материальной), рождающим чистые чувства. Но для утвердившихся ныне теоретиков и практиков искусства прогрессивное движение его заключается в постоянной смене звуков и линий, духа и смысла. Современное для них — это новое, заменившее вчерашнее, как день сменяет день, следующее поворотам вкусов.

Однако еще французским поэтом Валери сказано: «Ничто на свете не стареет так быстро, как новизна». Чехов уточняет: «Ново только то, что талантливо». С истинами тягаться трудно, но если употребить ловкость рук и ума, то истина прочитается выгодней и заманчивей: «Талантливо только то, что ново». Толстой и Достоевский никому не интересны, потому что они защищали восход солнца в искусстве с одной и той же стороны; Пушкин и Лермонтов не могут быть слышны, потому что их звуки, какими бы ни считались они чудными, не имеют достаточного количества децибел; Глинка и Мусоргский для «гимнастических потех» (выражение Стасова) вообще непригодны; Репин, Суриков и Серов, несмотря на всю их громкость, остались жалкими подражателями, потому что не сумели из пластики сделать геометрию. И все они, в сущности, были «передвижниками», топтавшимися по какой-то жалкой национальной стезе. «О боги, как вы скучны со всеми своими истинами, нотациями, духовными зачерпами из таинственных глубин и искомым светом! — так можно определить отношение авангардной культуры к классике. — Оставайтесь на своих божницах, пока мы вас вновь не скинули, и посмотрите, за кем пошел так обожаемый вами народ».

А посмотреть ныне есть на что.

Но вглядимся и мы в требование к искусству во что бы то ни стало быть современным, новым в своих истинах и формах. Так ли оно, это новое, сменяемо и нет ли в его сменяемости постоянства, закономерности и подчиненности? Не растет ли оно по-прежнему из того корня, который в виде руководства был провозглашен органом Наркомпроса «Искусство коммуны» сразу после революции в 1918 году: «Взорвать, разрушить, стереть с лица земли старые художественные формы». Русское искусство в 20-х годах напоминало хлебное поле, засеянное поликультурой стольких «измов», что негде было взойти и житу. Если красота, нравственность, одухотворенность и любовь каким-то чудом сохранялись, так только случайно и самосевом, семена классической и народной культуры изымались из обращения. Засилье чужого, анархия и дурноцвет, как и следовало ожидать (мы почему-то не хотим признать, что это исторически обусловленный закон, так не однажды было и так, если мы не научимся соблюдать меры,— так будет),— засилье чужого и анархия привели к жестокому и безжалостному кулаку, побивающему правых и виноватых. В том числе и в искусстве. На ниву культуры взошел новый хозяин, решивший, что наша земля лучше всего приспособлена для монокультуры — «социалистической по содержанию», к которой осторожно привит был отечественный дичок — «национальная по форме». И пошли засевать этой монокультурой всю распашь, что, как нетрудно догадаться, обедняло почвы. Формализм не исчез, но перекрасился. Однако ко времени монокультуры «разрушено, взорвано и стерто с лица земли» было

предостаточно. И потому «национальное по форме» нередко выбирало низкосортные и худосочные сорта. Вроде и Федот, да не тот. А к социалистическому содержанию довольно быстро приспособилось все то, что взрывало и уничтожало, размахивая неприкасаемым и охранительным лозунгом интернационализма.

А теперь самое время разобраться с культурами, которые произрастали и произрастают на ниве, питающей наше духовно-нравственное тело. Интернационалист, тот самый искусник, который из здорового и благодетельного понятия интернационализма сделал собственный национализм и который своими действиями вольно или невольно подталкивает некоторых неразборчивых моих соотечественников к национализму русскому, — этот интернационалист, в отличие от нас, не дремлет. Он уже навострил уши и приготовил перо. Не станем его томить, но призовем слышать и избирать не одно лишь выгодное для обвинения, но и то, что способствовало бы истине.

В прежние времена умели вести споры. Плюрализмом тогда не размахивали, как билетом в общественную баню, куда прилично входить одетым, но мыться прилично раздетым. Чужое мнение не только выслушивалось, но и уважалось. Из борьбы разных идейных течений создавалась отечественная философия. Продолжавшийся почти весь прошлый век спор между западниками и славянофилами обогатил и русскую мысль, и русскую художественность. Белинский и Герцен, в особенности Герцен, будучи противниками Киреевских, Хомякова и Аксаковых, находили смелость и справедливость соглашаться с ними, не поступаясь своими взглядами, и искать сходные точки зрения. Это уже в наш воинствующий век из славянофилов сделали мракобесов, а слово это отнесли к разряду оскорбительных для прогрессивного слуха.

И. Киреевский, к примеру, писал о форме искусства: «Возвращать ее (старую форму. — В. Р.) насильно смешно, когда бы не было вредно». Пользоваться в наши дни слогом Сумарокова и Тредиаковского в стихе, как и крюковой записью в музыке, по меньшей мере было бы глупо. Ни один из тех, кто еще недавно сочинял оды в честь Брежнева и его трилогии, в том числе нынешние лидеры прогрессистов, не стал подражателем од к Фелице и отказался от напыщенности 18-го века. Можно бы от века 20-го ожидать, чтобы этот жанр и вовсе был забыт со всеми его формами, и это явилось бы действительно современным поступком искусства (ни «деревенские» поэты в 20-х годах, ни «деревенские» писатели 70-х, ставшие вдруг чуть ли не реакционными с точки зрения коммивояжеров нового искусства, до подобной игры с совестью, надо сказать, не опускались), но для такой формы поведения в искусстве надо иметь соответствующее содержание.

И. Киреевский продолжал: «...все споры о превосходстве Запада или России, о достоинстве истории европейской или нашей и тому подобные рассуждения принадлежат к числу самых бесполезных, самых пустых вопросов, какие только может придумать празднолюбие мыслящего человека. И что в самом деле за польза нам отвергать или порочить то, что было или есть доброго в жизни Запада? Все прекрасное, благородное, христианское по необходимости нам свое, хотя бы оно было европейское, хотя бы африканское...»

Это то самое, что и мы сейчас говорим: ни искусство, ни общественная мысль, ни даже общественная жизнь не должны и не могут замыкаться в одних лишь национальных стенах без вреда для себя. Искусства разных народов развиваются, питая и обогащая друг друга, современность в искусстве есть параллельность движения национальных культур, сообщающихся между собой. Но имеющих собственные берега. В единых берегах какой-то транснациональной культуры существовать не может, она выродится в нечто искусственное и деланное, в нечто электронно-машинное и агрессивное, способное не воодушевлять, а подавлять, не обогащать, а изнурять, способствовать не любви, а стадности. Почему, спросите вы, она должна непременно выродиться в подобное чудовище? Да потому, что нигде, ни в какой стороне не может она иметь корней, ей не о что будет опереться, все добрые, питающие ее начала высохнут и окостенеют, ценности, идущие на распродажу, вытеснят из нее все природное и гуманное. Национальная собственность на культуру не может быть отменена. В древности на Руси наказывали: «Помяните одно: только коренью основанье крепко, то и древо неподвижно; только коренья не будет — к чему прилепиться?!» Тот же И. Киреевский, который, как видим, никогда не был

против прививок из других культур, считал необходимым условием для такого соединения — «когда оно вырастет из нашего корня, будет следствием нашего собственного развития, а не тогда, как упадет к нам извне, в виде противоречия всему строю нашего социального и обычного бытия». И говорит о последствиях: «...единственный результат его заключался бы не в просвещении, а в уничтожении самого народа».

Все, казалось бы, ясно. Не так много точек, чтобы без ошибок расставить их по собственным местам. И когда имеющий уши да не слышит, когда слово «русское» немедленно трансформируется в нем в шовинизм, а слово «национальное» в национализм, поневоле придешь к выводу, что не истина, не духовное дело искусства интересует его, а нечто иное.

В самом понятии массовой культуры ничего плохого нет. Когда бы ценностная культура овладела массами, когда бы лучшие ее образцы прошлого и настоящего становились хлебом насущным, — что могло бы быть полезней столь широкого ее распространения?! Ибо тогда широта способствовала бы и глубине. Об этом мечтали и мечтают все творцы прекрасного — чтобы их слушали, читали, смотрели и впитывали не узкие круги, а миллионы. Однако в том понятии, в каком утвердилась сейчас массовая культура, ничего общего с желаемым она не имеет. Условие культуры — эстетическое просвещение народа, возделывание его души таким образом, чтобы она оказалась способной принимать добро и красоту. Из того состава, который есть в нас, с одинаковым успехом можно сделать человека и зверя. В зависимости от того, кто возьмется за эту работу.

В 20-е годы происходило директивное, силовое вытеснение традиционного искусства новым, которое назвало себя революционным. Оно и было революционным — вызывающим, чужеродным и агрессивным, не желающим делить власть с плодами той земли, на которой утвердилось, и не стесняющимся в борьбе с ними применять динамит в прямом и переносном смысле. Пользуясь революционными лозунгами, оно диктовало условия, какие хотело, свергало и насаждало, кого хотело, и хотя в условиях того времени даже и это не могло казаться естественным, но в общей раскаленной обстановке, когда все вокруг с ног становилось на голову, когда революционному классу внушалось, что даже и хлеб он может получать из революционного духа, переворот в искусстве, пожалуй, мало кого удивил. Однако при всем при этом художественный вкус народа продолжал оставаться здоровым. В деревне, отпев положенную новую песню, брались за старые. Слишком велика была крестьянская Россия. Да и средства массового давления на человека, называющиеся почему-то средствами информации, были не те, что ныне, и не могли от начала до конца объять страну выгодной им обработкой. Вспомним, что еще недавно опасным проявлением дурного тона нам представлялся городской романс. А уж как пугались мы мелодрамы, расслабляющей душу пустопорожней чувствительностью! Разве можно сравнить это с происходящим сейчас! Сейчас, когда все, что насильно прививалось в 20-е, привилось как бы само собой и пошло в массы, когда двигателями искусства стали реклама и конкуренция, когда дурное самым демократическим путем заступило место хорошему, когда мораль, без которой не сочинялась ни одна басня, превратилась в кукиш в кармане, а гармония вырядилась в шутовской наряд. Ни Чайковский, ни Глинка, ни Свиридов не отменяются, только пусть их мелодии на основе свободного выбора посоревнуются с ритмами рок-музыкантов. Каждому свое. Насильно, как известно, мил не будешь.

Три опасности уничтожения человечества существуют, на мой взгляд, сегодня в мире: ядерная, экологическая и опасность, связанная с разрушением культуры. Трудно сказать, какая из них предпочтительней, если выбирать способ самоубийства. При ядерном это можно сделать моментально, при экологическом — с мучительным, но недолгим продлением, когда отцы получат возможность наблюдать, как рождаются дети, все меньше похожие на людей. И при «культурном» — когда нравственно-эстетическая деградация приведет к обществу дикарей, которые не захотят терпеть друг друга. В известном смысле можно предполагать, что третья опасность, то есть нарушение духовно-поведенческого аппарата, привела к появлению и первых двух. Когда красота и тайна теряют смысл и становится позволительным все, что было непозволительно, когда ценности со знаком минус, постепенно перерождаясь, переходят в положительное качество, — теряет смысл и та сумма

законов, которая содержит в моральных границах жизнь. Мы уже привыкаем к парадоксам, каждый из которых должен бы ужасать: чтобы сохранить мир — накапливать оружие, способное десятки раз уничтожить планету; чтобы казаться сильным — отнимать действительную силу, заражая воду, воздух и землю, получая продукты питания, напичканные ядами; чтобы выполнить продовольственную программу — сгонять с земли людей и объявлять их селения неперспективными, запахивая под культуру по имени бурьян; чтобы стать богатым — продавать богатства; чтобы очиститься от скверны — плевать в прошлое. И так далее. И наконец, чтобы утвердить народ в славе и достоинстве, импортировать ему чужие образцы. Где право, где лево, уже не разобрать; сено-солома да и только.

Мы к месту и не к месту употребляем слова Достоевского из романа «Идиот»: «Красота мир спасет». Но он же в «Бесах» предупреждал: «Некрасивость убьет». То, что происходит сейчас с нашей культурой, могло бы напоминать древний сюжет с подменой на основании внешнего сходства, если бы он не был слишком прост. Но современные писатели этот сюжет усложнили, сделали его круче и занимательней, и выяснилось, что он как нельзя более подходит теперь под сравнение с положением в культуре. Недавно я прочитал книгу, в которой внешнее сходство, чтобы с успехом выдать себя за другого, не играет роли при нынешних технических возможностях, способных из любой некрасивости сделать красоту. Книга называется «Ловушка для Золушки», автор ее — известный мастер детективного жанра французский писатель С. Жапризо. И название, и даже жанр — все тут к месту, все годится для параллели. Вот краткое содержание этой книги.

Росли подружками две девочки, одна из которых по воле фортуны стала затем богатой, а вторая осталась бедной и завидовала богатой, имя и портреты которой мелькали на страницах газет и журналов. Бедная нашла случай сойтись со своей бывшей подружкой вновь, войти к ней в полное доверие и сопровождать ее в путешествиях и развлечениях. Богатую ждало огромное наследство от старухи, которая была их общей крестной. Сначала Золушка пыталась письмами скомпрометировать наследницу, но, не получая ответа, сочла, что этого недостаточно. И тогда она вошла в сговор с воспитательницей наследницы, и вместе они замыслили ее устранить, устроив в доме пожар, в котором бы богатая погибла, а бедная обгорела до неузнаваемости, что и дало бы возможность выдать ее затем за наследницу.

Задумано — сделано. В пожаре одна из подружек сгорает, а второй, сильно пострадавшей, делают пластическую операцию лица, так что, будучи прежде едва ли не дурнушкой, она становится красавицей. Но полностью теряет память обо всем, что было с нею до пожара, и о сговоре, и о событиях, и о своей судьбе зная лишь со слов сообщницы.

Этим писатель старой школы, бессомненно, и удовлетворился бы: потеря памяти — достаточное моральное и физическое возмездие, но нынешнему автору, и читателю тоже, столь бесхитростной и выпрямленной истории мало, по теперешним меркам, когда сама жизнь сплошь и рядом преподносит фигуры высшего пилотажа, она отдает преснятиной. Писатель умело заостряет ее параллельным обратным ходом. Оказывается, наследница знала, что на нее готовится покушение. Больше того — она уведомлена была, что старуха-благодетельница перед смертью переписала завещание, отказав ей в наследстве, которое переходило теперь бедной. И она могла сделать то, что собирались сделать с нею. Все сошло с мест: бедная становилась богатой, а богатая бедной, жертва превращалась в преступницу, преступница — в жертву.

Оставшаяся в живых не помнит, кто она, — та, которой было отказано в наследстве, или та, на которую свалилось наследство. Сообщнице верить нельзя, да она и сама запуталась, кто есть кто. Преступление между тем совершено, жертва есть, а миллионы завещательницы остаются без хозяйки.

Не то же ли самое происходит с нашей культурой? Словно пластическую операцию сделали ей, чтобы некрасивость выдать за красоту, а безродность — за законное право владения. Словно без рук оказалось великое национальное наследие, — без рук, способных его сохранять и достойно продолжать. Словно один преступный замысел пересекся с другим, чтобы лишить народ памяти и чутья. Культурой и нравственностью стало то, что никогда ими не было, а в воспитатели вышли люди сомнительных правил, святость превратилась в насмешку.

«Никто не должен петь либо плясать несообразно со священными общенародными песнями. Этого надо остерегаться больше, чем нарушения любого другого закона», — сказано Платоном. Но от Платона миновало слишком много веков, кому теперь те времена в указ, хотя от них пошли и истина, и право, и искусство, имеющие для человечества непреходящее значение.

Но вот Л. Н. Толстой: «...музыка — государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с ними, что хочет».

Вот Циолковский, который был не только великим ученым, но и великим мыслителем: «Музыка есть сильное возбуждающее, могучее орудие, подобное медикаментам. Она может и отравлять и исцелять. Как медикаменты должны быть во власти специалистов, так и музыка».

«Специалисты» явились во множестве. Музыка превратилась воистину в «государственное» дело. Ни Волга, ни Севан, ни Арал, ни Байкал не удостоились и десятой доли общественного мнения, какое собрал на свою защиту рок. Стоило раздаться робким голосам, что да, запрещать рок не надо, но не надо и пропагандировать его с той истовостью, какую выказали устные и письменные средства информации, что тяжелые формы рока небезопасны, как «вся королевская рать» в лице искусствоведов, композиторов, исполнителей во главе с заслуженными и народными артистами вострубила в голос: искусство в обиду не дадим! Что мы — до сих пор чудь с древлянами, пиликающая на жалейках, или цивилизованный народ, за кого себя перед всем миром выдаем?! Молодежи нужны свои ритмы, она не может вместе с вами петь заскорузлые слова о любви и верности, у нее трудная судьба поколения, не желающего принимать вашего фарисейства и идолопоклонства. Она впервые освободилась от наследственных пут рабов, и ее свобода ни в чем не должна иметь ограничений.

Пробовали возражать медики, ведающие тайну болезней и медикаментов и наблюдавшие разрушительное влияние рока на психику. Никто их не услышал. И такой довод, что от этой музыки происходят опасные изменения гемоглобина в крови, только подогрел кровь рокоманам и их защитникам. Оставив ударные стройки, шефство над роком взял комсомол. И пошла плясать губерния, то бишь страна. Новости по телевидению — под рок, музыкальные занятия в детском саду — под рок, классика — под роковую обработку, театральные спектакли под рок. Фестивали роковых групп, едва отгремев в одном городе, переезжают в другой, где их встречают с распростертыми объятиями. Этот праздник не кончается. Загранрок приглашается наперебой, а если не всякая группа имеет возможность немедленно откликнуться, в газетах траур.

«Приедет ли в СССР американский исполнитель рок-музыки Майкл Джексон?» — выносит в рекламный букет вопрос газета «Советская культура». И отвечает: «В течение последних двух лет, сообщили нам в Госконцерте СССР, ведется постоянный поиск партнеров, которые могли бы взять на себя организацию гастролей в СССР популярнейшего американского исполнителя рок-музыки Майкла Джексона. К сожалению, эти попытки не увенчались конкретными результатами, хотя из ряда стран поступали предложения от менеджеров. Работа эта продолжается активно, поскольку Госконцерт хотел бы пригласить Майкла на серию концертов с тем, чтобы любители эстрады не только Москвы и Ленинграда, но и других городов нашей страны смогли познакомиться с его программами».

Как не вспомнить: «Ну что же он не едет, ну что же он не едет, доктор Айболит?!»

Быстро нашлись у рока и свои Стасовы. Правда, их художественная логика, профессиональный язык и нравственные оценки звучат с той же расстроенностью, на какой возникло их детище, но иначе и быть не может. Я мог бы процитировать десятки отзывов, похожих друг на друга неприятной самоуверенностью, в которой бездомность мысли и чувства восполняется вызовом и неумеренными восторгами. Пожалею ваше время. Вот один лишь образец, взятый из журнала «Смена»: «Чем выделяется этот 26-летний юноша из ряда современных героев рок-н-ролла? — вкрадчиво начинает Нина Тихонова о лидере ленинградской группы «Кино». — Колоритной восточной внешностью? Суровым выражением лица? Да. — Дальше предмет искусства диктует и пляску логики. — А еще странной уверенностью в своих

силах. В сущности, он поет о том же, о чем другие рокеры, — о своем поколении. Сценический образ воплощается в манере форсированно, с растяжкой произносить слова — похоже на стиль речи дворовой шпаны. Персонаж Виктора Цоя не просто готов выйти под дождь, отправиться в путь, вступить в бой. Он таинственно улыбается безусловной победе, даже когда сажает «алюминиевые огурцы на брезентовом поле». И когда тонет, хотя, как и все, знает близлежащий брод. Дело не в том, что он отказывается от легкого пути, дело в том, что он, позвав за собой, манит не на красивую гибель, а к выигрышу по большому счету. Так уж сложилось, поет Цой — «где бы ты ни был, чтоб ты ни делал, между землей и небом — война». И в тотальной возне за место под солнцем уверенность в осмысленности на первый взгляд иррациональных, «невыгодных» поступков служит залогом сохранения духовности».

Вот так. Вот что нынче «служит залогом сохранения духовности».

Удержусь от соблазна цитировать самих бардов, которые считаются лучшими и слух о которых прошел по всей Руси великой.

Однако из Руси великой одно за другим поступают сведения о результатах действия этого искусства. «Искусство есть орган жизни человечества, переводящий разумное сознание людей в чувство... Искусство должно устранять насилие», — говорил Толстой.

В десятках городов молодежные группы ведут между собой настоящие бои с применением оружия и терроризируют население. В поисках причин собираются психологи, юристы, социологи, медики, в чем угодно готовы они видеть истоки неожиданной агрессивности подростков, но об одном умалчивают, словно наложено на него табу — о воздействии так называемой музыки. Об опасности тяжелого рока, о подавлении им сдерживающих нравственных начал и возбуждении злых давно с тревогой пишут на Западе. Наши теоретики и добровольные пропагандисты рока не захотели внять предупреждениям и с той стороны, которая является родиной рока.

Рок был первой наживкой, которую мы проглотили с восторгом и бумом. За нею должны были последовать другие, и они не замедлили явиться.

В июне 1988 года москвичи обязаны были почувствовать себя счастливыми. У них появилась королева красоты, первая патентованная красавица столицы. О конкурсном шоу, назвавшем самую-самую, газеты рассказывали взахлеб. На первой странице «Московских новостей» объявлялись параметры красоты: «рост 176 см, вес 53 кг, объем талии 62 см, груди 88 см.». «Значит, школьная реформа коснулась всех», — делают вывод авторы, поскольку «королева» еще сидела за партой. И ударяются в подробности: «Она еще совсем юная, Маша Калинина. Ей еще нет и семнадцати. И такое признание. В белом платье из «Бурда моден» с золотистой лентой через плечо от «Дипломатик сервис», в часах с бриллиантами от «Ив Сен-Лоран», окруженная со всех сторон призами от различных фирм, от одних названий которых закружится голова у любой женщины, — «Джан-Франко ферре», «Сан-Суси», «Квин оф Саба»... Как сложится ее дальнейшая судьба? Уже маячат впереди и зарубежные круизы, и рекламные съемки, и выгодные контракты...»

Газета «Комсомольская правда» подхватывает: «А может, это был публичный акт снятия паранджи с лиц наших женщин (но ведь русские женщины никогда на лицах паранджу не носили, она была у них там, где ей и полагается быть, и вот о чем хлопоты: снять ее, как атрибут рабства, оттуда, куда ее водрузили дикари еще в первобытные времена. — В. Р.)? Действо, которое вернет нам наконец женщину, воспетую Рембрандтом, Микеланджело, Серовым, Пушкиным, Блоком... Во всяком случае конкурсом «Московская красавица-88», как, впрочем, и уже прошедшим в других городах страны, положено начало новому, социалистическому молодежному явлению».

А председатель жюри народный артист СССР Муслим Магомаев добавляет: «Конкурсы женской красоты непременно должны войти в нашу жизнь. Ведь у нас не так много действительно молодежных программ, шоу, где главенствующими лицами были бы сами молодые».

И комментировать язык не поднимается, слишком уж все здесь, от святых имен искусства до «социалистического явления», отдает издевательством и цинизмом. У Достоевского есть наблюдение о том, что народ наш, который не назовешь ангелом, поступая дурно, сознает, что он поступает дурно, и не оправдывает себя...

Сознают ли эти — не станем гадать; цинизм ведь тоже может быть свойством натуры и иметь определенные задачи.

Зададимся вопросом: а чего это так расщедрились на призы западные фирмы, «от одних названий которых закружится голова у любой женщины»? Этакого вороха драгоценностей и предложений не отваливают они и собственным красоткам. Да ведь больно лакомый кусок: сама Россия, извечно считавшаяся дикаркой своей скромностью и стыдливостью, публично пала перед богатым соблазнителем. Это стоит денег. Раньше в полон отводили на аркане, теперь в «золотой ленте, усыпанной бриллиантами». Лед тронулся. Впредь за погляд плату умерят, впредь потребуют большего. Союз кинематографистов выступил с инициативой о проведении конкурса на роль первой красавицы всей страны, творческая организация нашла достойное применение своим возможностям. Нетрудно представить (и все-таки пока еще трудно), какой шабаш будет происходить в конкурсных шоу по всем нашим городам и весям в течение двух лет с одновременным соревнованием местных звезд на каждый год. Сначала преувеличенное «у советских собственная гордость», сейчас — у советских собственная униженность, ниже которой, кажется, нигде не бывало. Красота, считавшаяся несказанностью, тайной и чудом, для которых не существует мерила, на десятках тысяч претенденток будет загнана в стереотип, раскроенный чужими портными. Перед этой явленностью померкнет все — и «Я помню чудное мгновенье», и «Я встретил вас, и все былое...».

Сегодня сошедшая с парты ярко воспылавшая новая «звезда» в обмеренной упаковке своих объемов, обвешанных на фотографиях бриллиантами и жемчугами, кокетливо вздыхает: ах, как трудно быть красивой. Бесконечные заграничные поездки, съемки, интервью, демонстрация моделей в сверхмодных магазинах, «из Франции я вернулась чуть живая, все юбки с меня сваливались». А эти журналисты, они говорят: подмигни в камеру, скажи... «Я все так и сделала. Естественно, телезрители решили, что я полная дура» (интервью с Машей Калининой в «Неделе»).

Да, в этих конкурсах, что верно, то верно, не все объемы измеряются.

Мы уже начинаем привыкать к ним. Ахнем только иной раз от какого-нибудь совсем уж неожиданного фокуса, вроде того, что в жюри конкурса «Мисс Очарование», прошедшего недавно, участвовал православный священник, привезенный для этой цели из Парижа, перекрестимся испуганно «свят, свят», а уж на нас новая, все более откровенная, все менее прикрытая последними фиговыми листками феерия.

Отыскали, наконец, какая красота спасает мир.

Что дальше — просматривается довольно ясно. Союз кинематографистов не зря возглавил новый почин. Ему необходимо порнокино. Общественное мнение полуварварской страны к нему не совсем готово, идет обработка. Телевизионная программа «Взгляд» уже выступила в защиту гомосексуалистов, против которых пока действует закон. Проститутки у нас вовсю дают интервью, делясь опытом жизни. Школьникам, чтобы не попасть впросак, предлагают пользоваться презервативами. Журнал «Смена» для совершенствования техники любовных игр советует подросткам начинать с муляжей. Искусство тоже не должно оставаться в стороне. «Секс в искусстве, эротика играют для человека весьма важную сублимативную роль. То, что недополучает он от интимной жизни в семье, то, что недополучает он в силу не зависящих от него обстоятельств, из-за болезни, например, он сможет компенсировать за счет визуальных впечатлений. Ощущение, конечно, несравнимое, но все же...» (это по-прежнему журнал «Смена»).

Увы нам, ханжам! О сирых и болезных ведь пекутся, а нам невдомек!

Разворачиваешь газету с «круглым столом» по проблемам кино и диву даешься: весь разговор свелся к эротике — должны быть для нее границы в самом массовом из искусств или не должны? И договариваются почтенные искусствоведы до того, что это дело вкуса режиссера. Хочется ему снять фильм без единой одежки — пусть снимает и показывает, нраву его не препятствуй. Хватит, находился художник в слугах у искусства, пришло время поменяться ролями.

Вот и задумаешься: чего добиваются эти специалисты по «проблемам», какие мотивы ими руководят? Уже сегодня акции фильма, снятого в жанре нравственного разгуляйства, сразу подскакивают у критики одним лишь присутствием сексуальных сцен. Учитывается ли при этом хоть немного отнюдь не высокая бытовая культура массового зрителя, высвобождение темных инстинктов в котором может привести

к страшным результатам. Никто, кажется, всерьез не исследует неожиданную вспышку преступности среди молодежи, а она, если разобраться, не столь неожиданна, она будет только возрастать и возрастать по мере растления умов и душ, в котором не последнюю роль играют вовсю поощряемые сегодня «гоп со смыком», «хлоп со смаком».

У Андре Моруа есть работа под названием «Письма к незнакомке», а в ней глава «Одеть тех, кто гол», которая начинается так:

«Известный английский писатель Джордж Мур рассказывал мне однажды, что, обнаружив в книге американского романиста Генри Джеймса фразу: «Я увидел на пляже совершенно раздетую женщину», он спросил: «Почему «раздетую», Генри? Здесь больше подходит слово «голую». От природы человек гол, одежда появляется потом». Высокопарный и важный Джеймс задумался, затем ответил: «Вы ошибаетесь, Мур, для жителя цивилизованной страны естественное состояние — быть одетым. Нагота анормальна».

У Андре Бийи: «Женщина, дорожащая тайнами своего тела, не станет размениваться и в чувствах».

Солженицын, объясняя, что могло заставить киевского студента Богрова пойти на убийство Столыпина, рассуждает: «Никто не говорит Богрову: пойди убей! Он не связан практически ни с каким подпольем. Ему 24 года, и он в 24 года решает, что он, пожалуй, убьет Столыпина и повернет направление России. Это более сложный, структурно более тонкий способ манипуляции — не простого подполья, а идеологического поля, общего направления. Но это еще страшнее, потому что, как видите, само идеологическое настроение общества может создать террор».

Суд способен и ошибиться, оправдать преступника и вынести приговор невиновному. Когда путает противоположности общество, это уже не ошибка, а избранное направление, имеющее определенные цели. Представьте себе мир, в котором вся система принятых эталонов и мер упразднена и человек оказался перед физической необъятностью самых простых вещей. Что делать ему? Не миновать — как возможно скорей — или возвращать старые меры, или придумывать новые. За два-три поколения удастся, вероятно, и к новым приучить человека, сами существующие в природе расстояния и объемы от этого не пострадают. Но в нравственном миропорядке, если отказываемся мы от принятых норм плохого и хорошего, освященных не одним тысячелетием человеческой культуры, мы тем самым извращаем и человеческую природу и поворачиваем ход моральных и этических стрелок назад на встречу со злом. Вздумай мы север назвать югом, а юг севером, земной шар не встанет с ног на голову, но при объявлении зла добром, некрасивости красотой и бесстыдства совестью, на те же самые 180 градусов перевернется и нравственная опорность человека. Апокалипсическое пришествие Зверя может быть и из нас самих, из нашего поклонения и увеселения плоти.

Культура, вместо того чтобы противостоять перевороту своих ценностей, с необыкновенной готовностью принялась их обслуживать, вскармливая внутри себя собственного убийцу. Откуда эта неразборчивость и саморастление, далеко искать не надо. Еще Л. Н. Толстой предупреждал: «До тех пор, пока не будут высланы торговцы из храма, храм искусства не будет храмом».

Верно и то, что общая расстроенность и ненадежность жизни, смятение цивилизованного общества перед угрозой подступающих одно за другим планетарных бедствий, далеко зашедшие игры с техническим прогрессом, превратившимся в монстра и поработившим своего создателя, способствовали и расстроенности искусства. Но тем более оно должно было, осознав меру опасности, держаться своих святынь и не отдавать их на поругание новым миссионерам, конструкторам всепроходимой «машины времени», с которой в обмен на чужую веру раздают блестящие побрякушки.

Искусство держит оборону малыми силами, но они сегодня и есть искусство, способное не поддаваться на дешевые соблазны. Тот, кто от имени искусства организует шоу с красотками, похож на спекулянта, торгующего чужими ценностями. Чистые звуки творятся чистыми руками. Культура и искусство, не имея прежде, как говорилось, четких границ, начинают в последнее время вместе с усилившейся профессиональной разностью приобретать их в том, чему они каждый служат, — массовости во имя ее духовного нигилизма и разъединения или выстоявшим — во имя

их объединения и одухотворения. Массовая культура в ее нынешнем виде явно ведет к раскультуриванию масс. Это поселившаяся в дому муз публичная девка, на чей талант сбежалось общество искусствоведов особого рода.

Можно лишь диву даваться, с какой быстроногостью едва ли не во всех формах жизни кинулись мы перенимать чужую наживь. Будто и не было у нас ни собственной истории, должной оставлять отпечаток на собственном лице, ни тысячелетней культуры, взросшей на всеобщее исцеление... Будто не было ни общественных институтов, ни крепости, ни союзного духа... Ни самобытности, ни традиций, ни характера, ни сил, ни идеалов — не было, а явились мы сбродом невесть откуда и должны искать, под чье покровительство отдаться, чтобы уцелеть в незнакомом мире.

Идеологическое общественное мнение, способное создать террор, о котором в случае с Богровым говорил Солженицын, снова обретает монополию на взгляды и вкусы и диктует условия. И сегодня на всякого, кто пытается напомнить об отечественных корнях или, не дай Бог, о святоотеческих началах, немедленно набрасываются как на опричника Ивана Грозного или Сталина, стоящего на культовых или клерикальных позициях и не имеющего ни биологического, ни гражданского права существовать в эпоху демократических перемен. Инакомыслием в собственной стране стало рассуждение, даже с оговорками, о ее самостоятельности; невежеством и косностью — обращение к вечным ценностям нравственности и культуры. Дальше, дальше, дальше — от народной укорененности и эстетической троицы в искусстве — от Истины, Красоты и Добра. Ломать — не строить, выкорчевывать — не сеять, обогащаться — не обогащать. Идеалы, конечные цели? Что-нибудь потом придумается, а пока — дальше!

Еще в 1877 году Достоевский в «Дневнике писателя» рассуждал по поводу нашего преклонения перед иностранным:

«И чего же мы достигли! Результатов странных: главное, все на нас в Европе смотрят с насмешкой, а на лучших и бесспорно умных русских в Европе смотрят с высокомерным снисхождением. Не спасала их от этого высокомерного снисхождения даже и самая эмиграция из России, то есть уже политическая эмиграция и полнейшее от России отречение. Не хотели европейцы нас почесть за своих ни за что, ни за какие жертвы и ни в коем случае: grattez, дескать, le russe et vous verrez le tartare (поскоблите русского, и вы увидите татарина — фр.), и так доселе. Мы у них в пословицу вошли. И чем больше мы им в угоду презирали нашу национальность, тем более они презирали нас самих. Мы виляли перед ними, мы подобострастно исповедовали им наши «европейские» взгляды и убеждения, а они снова нас не слушали и обыкновенно прибавляли с учтивой усмешкой, как бы желая поскорее отвязаться, что мы это все у них «не так поняли». Они именно удивлялись тому, как это мы, будучи такими татарами, никак не можем стать русскими; мы же никогда не могли растолковать им, что хотим быть не русскими, а общечеловеками...

А между тем нам от Европы никак нельзя отказаться. Европа нам второе отечество — я первый страстно исповедую это и всегда исповедовал. Европа нам почти так же дорога, как Россия; в ней все Афетово племя, а наша идея — объединение всех наций этого племени, и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама. Как же быть?

Стать русскими во-первых и прежде всего. Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу все изменится. Стать русским — значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать. И действительно: чем сильнее и самостоятельнее развились бы мы в национальном духе нашем, тем сильнее и ближе отозвались бы европейской душе и, породнившись с нею, стали бы тотчас ей понятнее. Тогда не отвертывались бы от нас высокомерно, а выслушивали нас. Мы и на вид тогда станем совсем другие. Став самими собой, мы получим наконец облик человеческий, а не обезьяний».

Получим ли? И готовы ли получить? — вот вопросы, которые возникают сегодня куда с большей остротой, чем при Достоевском.

СМЫСЛ ДАВНЕГО ПРОШЛОГО

РЕЛИГИОЗНЫЙ РАСКОЛ В РОССИИ

Революция во Франции не есть частное зло, а только восполнение тех подкопов, которые подведены под всю землю, особливо Европейскую, яко хранительницу просвещения духовного и мирского. Теперь страшен уже не раскол, а общее европейское безбожие. Времена язычников едва ли не оканчиваются... ...Если восторжествует свободная Европа и сломит последний оплот — Россию, то чего нам ожидать, судите сами. Я не смею угадывать, но только прошу премилосердного Бога, да не узрит душа моя грядущего царства тьмы.

Игумен Черменецкого монастыря Антоний (Бочков)

Религиозный раскол, который потряс Россию, подобно землетрясению, в XVII веке и продолжался до века XX, сам по себе явление настолько же русское, насколько и общечеловеческое. Он возник на русской почве, произошел из русского характера и, в свою очередь, повлиял на развитие этого характера, протекал так, как нигде больше, ни в каком другом народе не мог протекать. Но выражал он собой такие общие понятия и причины, какими руководится при движении и тормозится духовная цивилизация. То же самое произошло в европейской Реформации и возникших вслед за нею многочисленных сектах. Время от времени в мире случаются и будут, вероятно, случаться вместе с социальными революциями и потрясения вероучительных основ, возникающие, казалось бы, из недоразумений, из пустяков, но имеющие под собой глубокие и непримиримые противоречия. Когда утверждали русские старообрядцы, что «православным должно умирать за единую букву аз», когда настаивали они на неукоснительном соблюдении утвердившихся, пусть и в результате невольных ошибок, обрядовых установлений, для них это были только средства для отстаивания целей. Дело заключалось куда как не в азе, а в том, в какую сторону склонялось исповедание с лишним или недостающим азом. Можно вспомнить, что и патриарх Никон, заваривший кашу с исправлениями книг и круто ее замесивший расправой над своими противниками, что и он в доверительном разговоре с Иваном Нероновым, одним из самых страстных поначалу раскоплоучителей, согласившимся затем с исправлениями, говорит, имея в виду книги: «И те и другие добры, все равно, по каким хочешь, по тем и служишь». В этих словах Никона так и слышится усталое вразумление: если бы споры шли только об исправлениях — как-нибудь бы договорились. Буквенная и обрядовая стороны, коих противники держались как единственно спасительных столпов, были только упорами, к которым крепились разные для России направления.

Если социальные революции — это бунт недовольной плоти за свое благополучие против верховности существующего права, то расхождения внутри духа, раскол учения — это факт того, что дух ослаб или заблудился. Не однажды на протяжении человеческой истории служители духа должны были прийти в отчаяние от той очевидности, что человек улучшается мало, что, не избавляясь от старой греховности, вовлекается он в новую. С нравственного небосвода как бы нисходят сумерки, в которых плохо различимы добро и зло, любовь и забвение, красота и уродство. Это заставляло вероучителей искать способов более действенного и очистительного воздействия на паству, заставляло, считаясь с психическим и эстетическим настроением народа, менять положения веры, приспосабливать к ней обрядность.

Печальную повесть о русском расколе нужно начинать с XV века, когда им еще и не пахло, когда, напротив, православие обрело в России утешительное царство. В 1439 году, как известно, Византия подписала Флорентийскую унию, войдя в альянс с католической церковью, а всего лишь через 14 лет Константинополь, старая столица православия, перешел к туркам, что не могло быть воспринято в Москве иначе как возмездие за измену. Тогда и явилась на свет знаменитая по своей уверенности и чеканности концепция: «Москва — третий Рим, а четвертому не быти», которая, с одной стороны, выражала историческую ситуацию, а с другой — давала клятву непорушимой и вечной верности православию. Быть может, звучал в ней, в этой формуле Москвы как третьего Рима, и мотив монополии на христианскую истину, но допускался он в укрепительных целях. Похоже, что предчувствие раскола появилось в России задолго до раскола, по крайней мере предчувствие готовящихся испытаний, и апокалипсическое число Зверя 666, прибавленное к тысячелетней истории христианского единства, неспуста предрекалось концом света. Спасение виделось в неизменности веры, в необходимости следовать благочестию, святости и установлениям предков и не допускать никакой ереси со стороны. Средневековая Русь жила замкнуто, в застывших, мало меняющихся формах народного, государственного и церковного устроения и не выказывала охоты его менять. Протопоп Аввакум, вождь раскола, говорил: «Все, святыми отцами церкви преданное, свято и непорочно», «до нас положено, лежи оно так во веки веков» — и этот дух постоянства утвердился не за одно поколение. Слова «Святая Русь» имели не просто благозвучие, не просто красивое название, а выражали сущность народной жизни и претендовали на богоизбранность, заслуженную страданиями, молениями, праведностью. Позднее Тютчев уловил и сложил в слова то, что издавна носилось разрозненными звуками: «Удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя».

Разночтения в церковных книгах и разница в обрядах замечались и до Максима Грека, приглашенного в XVI веке с Афона ученого монаха. Но убеждение, что свое и должно остаться своим, что не нам ходить занимать ума, побеждало. Победило оно и в созванном в 1551 году московском Стоглавом соборе, обсуждавшем эти вопросы. Собор освятил произошедшие за века изменения. Однако победа ревнителей старины должна была вызвать в них предчувствие и опасение, что впредь духовно-национальное целомудрие удерживать будет все труднее и труднее, что где-то вдалеке натягиваются тучи и несут влагу для нежелательных всходов. Боярство и духовенство уже и Бориса Годунова обвиняло в потворстве иноземному влиянию и грозило за то земными и небесными карами. Самая страшная из них — предсказание о возможности для России разделить судьбу Византии едва не сбылось, когда на московский престол в Смутное время был выдвинут иноземец — польский королевич Владислав. Любопытно, что, соглашаясь на католического царя в православном государстве, боярство пытается в договоре с королем Казимиром спасти от преследования не только веру, но и русскую самобытность, специальными пунктами настаивая, чтобы, во-первых, «московских княжеских и боярских родов приезжими иноземцами в отечестве и в чести не теснить и не понижать» (договор от 17 августа 1610 г.) и, во-вторых, отказывая московским людям в праве выезжать для наук в другие христианские страны, дабы не набрались они там не подобающих для отечества мыслей. Вот это и есть — снявши голову, плакать по волосам: государство валилось вместе с верой, трон терял национальные устои, когда в него водружалась чужая задница, которая, само собой, соглашалась с боярскими условиями для водружения, но не для правления, а московская знать суетилась над чистотой русского поклона.

От позора и порабощения русскую землю спасли тогда здоровые национальные и религиозные силы в лице нижегородского ополчения. Первого царя новой династии избрали при невиданном демократизме — сначала земским собором, а затем народным подтверждением на местах. Земство как институт народной организации жизни тогда было в силе, и те, кто считает русского человека холопом и рабом по происхождению, всегда искавшим, под чью деспотию отдаться, должны не забывать и о средневековом общественном устроении народа, который вовсе не был бессловесной и покорной скотиной. Но это особый разговор.

Интерес к расколу появляется сейчас не из археологического любопытства, на него начинают смотреть как на событие, способное повториться, и потому требующее внимательного изучения. Он может вернуться — в других, разумеется, формах и принципах, в другой организации и порыве, под другими лозунгами, но на

схожих основаниях, близких к тому, что староверы в отношении к себе называли «остальцами отеческого благочестия». Как знать, не предстоит ли нам в новых условиях испытать Смутное время и то, что за ним воспоследовало, — споры теперь уже за политическую обрядность, соборы, исключающие постановления каждого предыдущего как невежественные, боярство, берущее подписку с государя не ущемлять их интересов, тайная жизнь изверившегося народа, разложение нравов, бродяжничество, хозяйственная разруха, и как итог — битье челом за спасением руганым-переруганым иноземцам, национальное унижение и поспешное перелицовывание идеалов. А присмотреться — так и ныне замечается немало из того, что происходило. Николай Лосский называет старообрядчество одним из главных свойств характера русского народа и в доказательство, кроме церковного раскола, приводит раскол интеллигенции накануне революции. А распадение России в результате революции, исход из страны культуро- и вероносительного слоя?! Нетрудно проследить, что консерватизм и болезненное приятие отеческих начал, считающиеся основанием старообрядчества, всякий раз вызывались противоположной крайностью — поношением их и вытеснением. А найти золотую середину, совместить к общей пользе то и другое никак в России без опасности для национального сознания не удается.

Историк В. О. Ключевский об обстановке накануне раскола пишет: «В XVI веке в русском обществе сложился даже взгляд на объединительницу русской земли Москву как на центр и оплот всего православия. Теперь было совсем не то: прорывавшаяся во всем несамостоятельность существующего порядка и неудача попыток его исправления привели к мысли о недоброкачественности самых оснований этого порядка, заставляли многих думать, что истощился запас творческих сил народа и доморощенного разумения, что старина не даст пригодных уроков для настоящего и потому у нее нечему больше учиться, за нее не для чего больше держаться. Тогда и начался глубокий перелом в умах: в московской правительственной среде и в обществе появляются люди, которых гнетет сомнение, завещала ли старина всю полноту средств, достаточных для дальнейшего благополучного существования; они теряют прежнее национальное самодовольство и начинают оглядываться по сторонам, искать указаний и уроков у чужих людей, на Западе, все более убеждаясь в его превосходстве и в своей собственной отсталости. Так на место падающей веры в родную старину и в силы народные является уныние, недоверие к своим силам, которое широко растворяет двери иноземному влиянию».

Принято считать, что это влияние началось с Петра I. Но Немецкая слобода возникла в Москве еще при Годунове. В Смутное время она была разорена, но уже при первом Романове возрождается снова, а при Алексее Михайловиче достигает небывалого расцвета. Иностранцы приглашаются для реорганизации армии и литья пушек и ядер, для строительства мануфактур и горных заводов, приглашаются и торговцы, аптекари, музыканты, артисты, всевозможные советчики. Петр, как преобразователь России, не мог явиться из ничего, его явление нужно было подготовить. Но если до Петра еще пытались согласить заимствование и самородство, шведские пищали и немецкий строй с русским зипуном, то Петр все отмел — и зипуны, и бороды, и ветхозаветность, расправляясь с русской косностью и отсталостью слишком по-русски — надругательством и искоренением.

Одно обстоятельство мало учитывают, когда перечисляют причины раскола, — невиданный к середине XVII века разврат и высших и низших слоев. Курение табака к разврату сейчас не пристегнешь. Но тогда курение только прививалось, против него принимались царские указы, которые, как всегда при попытках наложить державную руку на гибкую нравственную фигуру, результата не давали. Народ курил. Он пьянствовал, да так, как никогда дотоле не водилось, а превзойдено было только через три века. Процветали воровство, бродяжничество, сквернословие. Все запретные плоды по какому-то непонятному закону темного изобилия вкушались жадно и ненасытно. Как перед концом света. Третий Рим превращался в Вавилон. «Грубый русский человек когда уже увлекался потоком своих плотских наклонностей и предавался разгулу грубых материальных сил, то позволял себе все, не стесняясь ни стыдом, ни нравственным законом», — замечает Щапов, один из первых исследователей раскола. Но со Щаповым трудно согласиться, когда он и выводит раскол из грубости и невежества, из распущенности и дикости народа; судя по

всему, было наоборот: раскол в своем общем протесте предъявлял счет и за растление нравов, которое связывал с засильем иностранцев. Сваливать собственные грехи на посторонние силы тоже закоснело у нас в привычку, но и искать всякий раз причины экономического и образовательного отставания только в несамостоятельности и неспособности русского человека к творчеству и передовым формам жизни, как это исстари повелось, — чересчур грубо и унизительно для народа. Такой взгляд, во-первых, расколом же и опровергается, а во-вторых, достаточно обратиться к современному обществу, где русский человек уже не составляет большинства, а картина меняется мало, по-прежнему представляя собой механизм качелей от решительного застоя до решительного и крайнего обновления, от самодурства до саморазрушения, от взлетов до падений — как может явиться сомнение, насколько национальные черты повинны в непроизводительности человека, если он связан по рукам и ногам. История ничему нас не может научить, снова и снова представляя как неизбежный закон отклонения, что вслед за одной крайностью наступает крайность противоположная, за анархией деспотия, за преувеличением принижение, за заемностью самостийность. И если бы не дергать человека, как заведено в России, из стороны в сторону, не дразнить его удобствами свободы после неудобств рабства, а дать самому выбрать выгодное направление, не было бы в нем и недоверия к очередным спасительным путям, как привезенным из благополучного мира, так и сваренным внутри, не было бы и столь заметных крайностей в его характере. Беда в том, что ему никогда не давали достаточно времени и свободы, чтобы направиться. Если бы существовал кто-то, кто мог наблюдать жизнь и историю России с высоты, он наверняка пришел бы к выводу, что эта страна сознательно ищет заблуждений, чтобы замысловатей нарисовать свою судьбу.

Надо ли удивляться, что разгул низменных страстей в XVII столетии показался части народа предвестием конца света. Не ограждая ее, эту часть, от невежества, свойственного, с нашей точки зрения, всему средневековью, решительно оградим от распущенности как одного из истоков раскола. Это — с больной головы на здоровую. Протест раскола — не от загрязнения и шаткости, а против них, его тревога — за чистоту веры. Не одна лишь дикость, но и отчаяние заставило староверов искать космогонических объяснений того, что происходит и может произойти: «Яко по тысяще лет Рим отпаде, яко же книга о вере глаголет, а по 600 летех Малая Русь отпаде, а по 60 летех и Великая Русь превратися в разные нечестие и пестроты многи». Удивительно, что трагические предсказания староверов, если относить их к судьбе раскола, частью исполнялись: в 1666 году, назначенном на приход апокалипсического Зверя, состоялся церковный собор, проклявший и отлучивший раскол от церкви, освятивший против них войну и казни. Конец света не наступил, но для раскола настали страшные времена. Для конца света расколоучителями была сделана поправка: прибавлять «звериное» число 666 вместе с тысячью не к дате рождения, а к дате смерти Христа — и с началом нового века Петр начал свои решительные операции по искоренению старобытности, изменив в том числе и календарь.

Собором 1666 — 1667 годов и петровскими реформами раскол был оформлен окончательно и доведен до грани, от которой примирения не предвиделось.

Это была трагедия народа, но в то же время она повлекла за собой необычайный подъем, твердость, жертвенность, соединение и братство отделившихся, готовых за веру и убеждения претерпеть все, что придумано человеком для унижения и мучения человека. Если бы даже их фанатизм происходил лишь из дикости и фанатизма, и в этом случае он достоин удивления и уважения. В трудное, исчервленное пороками и брожением время часть народа, собравшись по человеку, явила силу и убежденность, какой никогда ни до, ни после в России не бывало, показав и способность к организации, и нравственное здоровье, и духовную мощь. Восхищение ими способно доходить до ужасания, и ужасание до восхищения. Они подняли человека в его физических и духовных возможностях на такую высоту, какой он в себе не подозревал. Невольно является предположение: а что, если бы не десятая, не пятая часть народа, а вполовину и за половину происходил он из тех же качеств, веками не давал бы себя замусорить всевозможными передовыми идейками и изобретениями сомнительной необходимости, какими обогатилась за последующие столетия цивилизация, — что стало бы с этим народом?! Ведь ясно же теперь, что двуперстие при наложении креста, сугубая аллилуйя, хождение вокруг аналоя посо-

лонь, Исус с одним «и» и прочие мелкие расхождения в обряде и букве не имели для веры решающего значения, что никакими еретиками староверы не были, что раскол состоялся по границе, по которой внешние несогласия разводили страну по разные стороны от предначертанной ей судьбы.

Русский философ отец Сергий Булгаков, писавший работу о психологии раскола, говорит: «Нет, это — явление страшное, это — явление грозное, удивительное явление нашей истории. Если на всемирном суде русские будут когда-нибудь спрошены, от чего вы никогда не отреклись, чему всем пожертвовали? — быть может, очень смутясь, попробовав указать на реформу Петра, на «просвещение», на то и другое еще, они найдутся в конце концов указать на раскол: вот некоторая часть нас верила, не предала, пожертвовала».

Старая Россия, сломленная и проклятая, оборванная на полуслове, не исполнившая своих заветов, осталась с расколом, новая, наследниками которой мы являемся, пошла за Петром, а та, которая могла явиться из самостоятельного пути, не хватавшаяся за передовое насилием, а производившая его естественным ходом развития, так и не явилась на свет. А то, что она могла явиться, что в народе было для этого творческое и духовное обеспечение, больше всего расколом и доказывается.

В 1668 году взбунтовался против нововведений церкви Соловецкий монастырь. Осада его правительственными войсками длилась восемь лет, после чего последовала расправа. С 1675 года начинаются массовые самосожжения староверов, предпочитавших смерть подчинению и унижению. В иных огнях разом сжигалось до тысячи человек и больше, есть свидетельство о 2,5 тысячи. Многие тысячи бросились от преследования в Польшу, Молдавию и Валахию, в северные и сибирские леса, организуясь в скиты, пустыни, общины, слободы и яростно пропагандируя то, что они считали спасением. Неповиновение церкви скоро перешло в гражданское неповиновение. Вероятно, раскол можно было еще при правильной политике приостановить и приглушить, сделать его уделом одних фанатиков, но явился Петр, взявшийся крушить старину, и двинул в раскол новые массы. По мнению народному, это был антихрист, начавший новое нечестивое царство. Еще Аввакум, сожженный в Пустозерске, вздыхал яростно: «Ох, бедная Русь, чего-то тебе захотелось латинских обычаев и немецких поступков». Взбунтовавшиеся стрельцы прежде всего пошли брать Немецкую слободу, протестуя против исходящих из нее нововведений. Вздыбив Русь, Петр переодел ее в чужое платье и объязычил на чужой манер, но не в его власти было переменить характер и душу. Под немецким платьем, путаясь в немецких словах, душа, надорванная сомнениями, лишь калечилась, но не улучшалась. Не случайно из всех реформ Петра сохранилось лишь то, что нужно было России, — преобразованная армия, остальное засосалось со временем и поглотилось российской неповоротливостью и бюрократией. Но решительное грубое заимствование Петром западных порядков можно считать лишь цветочками в сравнении с тем, что стало насаждаться вскоре после его смерти. Петр считался антихристом, но из своих, и молнии метал, и бури сеял он по-русски, в в эпоху временщиков, при Минихе, Остермане и Бироне, началось методическое, уже подхваченное воспитанным на новый манер отечественным слоем вытеснение и осмеяние национальной народной культуры, гонение на все, что подозревалось в русском происхождении. Парадокс правления временщиков заключался в том, что страна отказалась и от собственного просвещения, и отпала от западного, с трудом удерживая приобретенное Петром, но в ней насаждалась западная мелочность и внешность. В известном смысле можно сказать, что, расплевавшись с родным староверием, Россия оказалась втянута в староверие чужое. По отзыву архимандрита Флоринского, ректора Славяно-Греко-Латинской академии, воцарилось «лаяние» российского благочестия. «И сим лаянием, — продолжает он, — толико любителей мира сего в бесстрашие и сластолюбие привели, что мнози в епикурейские мнения впадали: яждь, пий, веселися, по смерти же никакого утешения несть. И которые так бредили, таковые-то у врагов наших в милости были, таковые в чины производились. А которые истинные чада церкви и истинные Христовы наследницы, таких прелестников не слушали, право веру непорочную от Христа, от апостола, от св. отец проповеданную и утвержденную кои хранили, колики им ругания, поношения враги благочестия чинили! мужиками, грубиянами называли. Кто посты хранил, о том говорили: ханжа; кто в молитве с Богом беседует — пустосвят; кто язык от пустословия удерживает — глуп, говорить

не умеет; кто милостыню любве ради по Христу подает неоскудно, тот, говорили, не умеет, куда имения своего употребить, не к рукам досталося; кто в церкви часто ходит, в том пути не будет».

Если история имеет поступательное движение, то нравственное развитие общества, похоже, ходит кругами, которые накладываются друг за другом с какой-то последовательной закономерностью, — так, что однотипные положения выстраиваются как бы в затылок, в границах проходящего через круги коридора. Ныне, через два с половиной века от нарисованной архимандритом Флоринским картины, при всех разностях, происходящих от времени, мы соединились с нею в той же обстановке низвержения истин, нравственного переворота, когда правила хорошего тона диктует далекое от благочестия собрание.

Но вернемся в XVIII век. Из Европы в Россию перекочевывали полчища уже не высокознатцев, а гувернеров, парикмахеров, портных, лакеев, всевозможных, по слову писателя, вральманов, а Русь от новых порядков бежала в леса. При Бироне это было третье после Алексея Михайловича и Петра массовое укрывательство в пустынной и таежной глухомани. «Зверопаственные места населялись и вместо дерев умножались люди». Менее чем за столетие число раскольников в одной лишь Сибири возросло, по подсчетам, до ста тысяч. В действительности их было больше, учесть можно было ссыльных, но не беглых. Чем глуше край, чем дальше от надзора, тем населеннее «мирские согласия». Это была колонизация, имевшая для российских окраин не меньшее значение, чем Столыпинская реформа, но, в отличие от последней, она составлялась отборным народом. Словно потерянный рай, искал и утверждал он свою старую родину, приносил в новую обительность ее цельность в народном устройстве и обычаях, во всем родовом облачении. Отверженный и гонимый, добровольно вставший на путь мученической доли, вынужденный искать спасения в гибельных местах, но уверенный в своей правде, так близко поставивший эту правду к смерти безоговорочным выбором «или — или» — или правда, или смерть, старовер тем самым вызвал в себе такие силы, физические и духовные, какие до него не вмещало тело. Правда, надо признать, что, презрев сомнения и страдания, укрепив себя так, чтобы быть выше страдания, раскольник душевно пострадал. Не духовно, это спорный для нас, а не для него вопрос, а душевно. Упрочив себя нравственно до незыблемых правил, до кости — там, где должно быть чувство, он возвел в себе крепостные стены, отгораживаясь от обмирщения, и лишил себя свободы. Отказавшись от выбора в вопросах совести и веры, раз и навсегда взяв железные уставы, он лишил себя многих душевных движений, которые стали ему ненужными, и внутренне застыл. Едва ли найдена до сих пор та форма человеческой жизни, которая привела бы к полному расцвету всех его возможностей, непременно от увеличения одного понижается что-то другое.

Раскол дал удивительные результаты своего союзничества и братства в организационной и хозяйственной деятельности. В невольной соревновательности с государственной системой, пользующейся, казалось бы, передовой структурой, раскол не открывал америк, не искал чужедальнего опыта, а взял за основу институт земства с его практикой советов, сходов, выборного самоуправления, принципами общинного пользования капиталом — и во всей этой старозаветной общественной и хозяйственной сбруе выехал из лесов на большую дорогу экономики. Петр обложил раскольничество двойным подушным налогом — оно, казалось, даже не охнуло и, окрепшее к той поре, во всяком значительном движении соединенное, сумело и это утеснение использовать к собственной выгоде, поскольку — вот парадокс! — с одной стороны, безжалостно воюя с расколом, Петр, с другой, нуждался в деньгах и был заинтересован в нем, а потому не препятствовал набору в школы мирских детей. Зажиточность и здравобытность согласий не могли, кроме того, не привлекать в них новые партии откола от государственного мира.

Братство и общинность раскола, свободно складывающиеся и свободно развивающиеся, обязательная взаимоподдержка, спаянность и культ труда привели к неожиданному повороту, когда в рыхлой и плохо управляемой стране — в стране, которая отринула во имя обновления и благополучия отсталую часть народа, эта часть народа повела хозяйство и быт лучше, чище и выгодней. С 80-х годов XVIII столетия капиталы и торгово-промышленная доля староверов получают перевес над «передовой» российской оборотистостью, еще раз подтвердив тем самым истину, что за

всяком деле нет ничего передовей народного настроения. Среди староверов больше грамотных, хотя и учат они почти исключительно по церковно-славянским книгам; они открывают свои печатальни, первыми в стране заводят книжные лавки. Последователи раскола существуют во всех слоях общества, число их умножается (в 1853 г. считалось 9 миллионов, но цифра эта опять-таки условная, в действительности она должна быть больше), что свидетельствует о живой народной организации.

Что привлекало людей в раскол, почему в продолжение двух с половиной веков он не отмер, как положено отмирать всему отжившему и случайному? Надо полагать, привлекало прежде всего то, что и положено в основание человека, — самостоятельность, духовное первенство, нравственная чистота. И в основание народа — национальное лицо и национальная память, крепость и объединенность, необходимость претерпеть во имя цели, жажда очистительного порыва. Народ развивается во времена испытаний и дряхлеет среди благополучия: раскол невольно соединил в себе и то и другое и устранил между ними противоречие.

Старовер не курил, не пил вина, а в Сибири и чай пил лишь из трав и кореньев, строго соблюдал посты и моральные уставы и лишь в одном не знал воздержания — в работе. Это был тот же человек, что и рядом с ним в обычной православной деревне, и все же далеко не тот: по-другому живущий и верующий, по-другому смотрящий на мир — все основательно, весомо, тяжеловато. Отлученный от ортодоксальной церкви и судорожного общественного развития, он и их отлучил от себя, обвиняя в греховности и несамостоятельности, в пляске под чужую дудку. Со временем он выделился в особый тип русского человека, который, вопреки всем бедам и обстоятельствам, упрямо хранил в себе каждую косточку и каждый звук старой национальной фигуры, в тип, несущий живое воспоминание о той поре, когда человек мог быть крепостью, а не лавкой, торгующей вразнос.

Губернатор Трескин, правивший Восточно-Сибирским краем в начале XIX века, после первой же инспекционной поездки по своим владениям, которые, разумеется, оставили в нем тягостное впечатление, о староверах отзывается: «Они и камень сделали плодородным».

В 90-х годах прошлого века известный в Сибири ученый-этнограф Ю. Д. Талько-Грынцевич проводил исследования среди «семейских» (так называются здесь сосланные при Екатерине в Сибирь семьями старообрядцы). И «нашел в них выдающуюся по чистоте типа и сохранению народного культа отрасль великорусского племени». Естественный прирост «семейских» сел в Забайкалье был в пять раз больше общего прироста этого края. Исследователя поразила «удивительная плодовитость женщин», рожавших от 10 до 24 детей. Сравнительные характеристики показали, что «семейские» выше ростом, среди них в десятки раз меньше болезней.

Шли, оказывается, десятки и сотни лет шли к тому, что теперь, считаем, свалилось неожиданно и что называется на тарабарском языке будущего синдромом приобретенного иммунодефицита.

Другой знаток старообрядчества — М. И. Орфанов пишет: «Мало того, что красивых между ними очень много, они к тому же весьма крупный, сильный народ. Старики же бывают такие красивые, сановитые, что прямо просятся на полотно. Они могли бы послужить отличными натурщиками для библейских сюжетов».

В Сибири бытование старообрядчества имело особое значение. Вплоть до отмены крепостного права в Российском государстве Сибирь приселялась в основном вольноохочим людом, бежавшим от притеснений власти или сыска закона, сословным или духовным казачеством, охотниками до приключений и наживы. Кроме того, с самого начала присоединения восточных территорий они стали местом, куда сваливали преступность, больше всего, разумеется, уголовную. Нравственности она не могла способствовать. Во многих районах Сибири так называемый ссыльный элемент возобладал над местным жителем. В этих условиях раннее появление здесь раскольничьих сел с их культом семьи, образом жизни и почти поголовной грамотностью было явлением отрадным. Отдельные районы Забайкалья и Горного Алтая, освоенные русской старобытностью, превратились в острова изобилия и строгонравственности; в них нечего было делать ни исправнику, ни уряднику. Уже в наше время остатки старообрядчества из последних сил держались своих традиций, и даже в эпоху застоя и запоя в колхозах и совхозах, возникших на земле раскольничьих общин, коровы недоеными не оставались и хлеба под снег не уходили. Что лишний

раз доказывает, что нигде и никогда дух не может иметь прикладного значения.

Не следует, разумеется, идеализировать старообрядчество. Отделившись от общего народного организма, уйдя во внутреннюю эмиграцию (внешняя была немногочисленной), отказавшись от христианских заветов любви и терпения ко всякому ближнему, оно не могло не пострадать и пострадало. Немало со временем наросло в нем и темного, и косного, и неуклюжего вместе с упрямством, фанатизмом и гордыней. Не говоря уже о крайнем сектантстве, которое выродилось в уродливые формы, губительные для человеческой природы. Тот чертеж раскола, который дается здесь, далеко, разумеется, не полный, имел целью показать закономерность его происхождения и причины долгожительности. Всякое сектантство имеет короткий век, что произошло и с болезненными ответвлениями от старообрядческого древа, но само оно, питавшееся национальными соками, усохло лишь вместе с пострадавшей под ним глубоко почвой.

Идеализировать раскол не следует, но нельзя и не испытывать к нему родства и благодарности. Неизвестно, чем бы была сегодня Россия, когда бы не живое и предостерегающее напоминание о силах, способных во имя ее утверждения на безоглядный и всемогущий порыв. Не раз, надо думать, в течение прошедших после раскола веков, когда устроители единого человеческого лица склонялись к очередной пластической операции, чтобы из русской курносой рожи устроить римский или какой-нибудь иной профиль, их останавливала память о событиях XVII—XVIII веков. Тень этих трагических и грозных событий до сих пор стоит над Россией — как урок и завет; дымы костров, в которых насильственно и добровольно сжигались десятки тысяч тех, кто предпочел физическую смерть национальному и нравственному умерщвлению, и сейчас носит над ее полями и лесами.

Мы должны быть благодарны старообрядчеству за то, в первую очередь, что на добрых три столетия оно продлило Русь в ее обычаях, верованиях, обрядах, песне, характере, устоях и лице. Эта служба, быть может, не меньше, чем защита отечества на поле брани.

«Что хотела завещать нам старая Русь расколом?» — на разные лады спрашивают его исследователи. Например, у Щапова: «Что дорогого, святого было для огромной массы народа в старой России, когда она в расколе возвела до святыни, до апофеозы старину?»...

Вопрос ставится так, что он будет звучать сильнее любого ответа. Что завещала Русь? Саму себя и завещала — себя, собранную предками по черточке, по капельке, по клеточке, по слову и шагу. Свою самобытность и самостоятельность, свое достоинство, трезвость и творческие возможности. Сейчас, когда ни за понюх табаку все это вновь продается на всех ярмарках как изъеденное молью, ни к чему не годное старое, мешающее красивой и веселой жизни, — невольно является продолжение вопроса: а осталось ли в нас хоть что-нибудь от этих заветов, способное остановить повальную распродажу, и готовы ли мы оставить заветы от себя?

ИЗ ГЛУБИН В ГЛУБИНЫ

1000-летие крещения Руси — дата настолько великая и многозначная и несет она в себе так много всего, что относится не к одной лишь религии, что составляет историю, искусство, народное мировоззрение и чувствование, народный характер и душу, уклад жизни, традиции, язык наконец, мораль, духовное звучание мира... Выбор, сделанный тысячу лет назад князем Владимиром Святославичем, имел для нашей Родины столь огромные последствия, что у нас сегодня нет возможности приблизиться к их полному осознанию. Это можно сравнить с тем, что, имея землю, Русь получила небо, а славянин, имея тело, получил душу.

Тысячу лет прошло... Срок этот кажется археологическим. Но стоит примерить к нему свои лета, он приблизится настолько, что впору отводить глаза. В сравнении с моими пятьюдесятью это всего в двадцать раз больше. Рядом. В сравнении с возрастом молодого человека больше всего в 40—50 раз. Все равно рядом. Из сегодня вымеряется еще, что Русь крещена была как раз на половине от начала христианства к концу первого тысячелетия, и в этой равнозначности двух эпох, выпавших на наше время, есть что-то и волнующее, и пугающее, и обнадеживающее. Волнующее избранностью нашего поколения, именно мы пришлись на эту да-

ту, нам дано почувствовать и понять смысл не только происходящего сегодня, но и происшедшего за тысячелетие. Сможем ли, сумеем ли, осталось ли у нас для столь огромной работы чувство, сохранились ли меры для измерения духовных перемен? — пугающее этой ответственностью и неуверенностью в себе. Пугающее, кроме того, исполненностью сроков, в которые не осчастливился и не утешился человек. В великих датах всегда чудится что-то от затмения, когда, заканчивая круг, конец сходится с началом и поступательное движение до того, как определиться новому кольцу, приостанавливается, свет меркнет. Но больше всего в этом событии обнадеживающего. Оно, обнадеживающее, происходит из той же любви и того же тепла к человеку, на которых возникло христианство. Должен быть и у России свой покровитель. Вспоминается, что, когда праздновала она пять веков от своего крещения, состоялось полное освобождение от татаро-монгольского 250-летнего ига. Что-то величественное и судьбоносное невольно ожидается и теперь. И хотя считается, что откровение посещает человека в часы страдания, а народ — в годину испытаний, — так ведь настрадались и напечалевались с избытком, по мере страдания Россия должна быть избранницей неба и не без оснований рассчитывать на искупление.

В «Повести временных лет», одном из самых древних письменных памятников Руси, есть рассказ о том, как князь Владимир устраивал испытание религий. Свои услуги Руси предлагал ислам — от волжско-камских булгар, предлагал со стороны хазар иудаизм, были послы и от римского папства. Владимир Святославич, ставший крестителем, избрал византийскую ветвь христианства. Неверно было бы делать предположение, что выбор зависел от него и что при другом ходе событий мы могли оказаться магометанами или иудаистами. Владимиру ничего другого и не оставалось, как склонить голову перед православием, это предопределено было склонностью народного характера, степенью его отзывчивости на тот или иной призыв. Сосудистая система славянина подходила для учения Христа, другие учения вызвали бы в нем болезненные, а вероятней всего, губительные последствия, при которых народ оказался бы жертвой и мог исчезнуть, как это произошло с хазарами. Энгельс сказал: «Ислам — это религия, приспособленная для жителей Востока». Так и христианство в том его направлении, центр которого находился в Византии, было приспособлено для Руси и не случайно нашло потом в России главную опору. Как руководительная идеологическая сила, религия слишком влияет на духовные черты своей паствы, но до того, как влиять на нее и менять ее, религия должна иметь с нею родство, какой-то природный магнетизм должен их притягивать друг к другу. Тут, грубо говоря, дело в сорте веры, с одной стороны, и в душевных залогах народа — с другой.

Христианство стало утверждаться в Киевской Руси с переходом ее в феодальные формы государства. «Чтобы освятить их», — говорят историки. И их освятить, это само собой, религия заинтересована в крепком государстве, поскольку она становится частью государственного организма, но самое главное — чтобы освятить человека, привести его жизнь в соответствие с моральными законами, вдохнуть в него вечность, дать внутреннее зрение, показать не поле в его душе, которое требует возделывания с не меньшей старательностью, чем поле хлебное, и постоянно засевать его любовью. Любовь — первое слово и дело православия, его знамя. Житель Древней Руси не был таким варваром, как по прошествии тысячи лет с позиций варварства просвещенного нам представляется сегодня, но и он не знал, как не знаем мы этого сейчас снова, как воспользоваться собой, не видел ясно цели своего прихода в жизнь. «Родила козявка козявку, козявка поползала и умерла» — нет, с этим человек никогда не согласится. И если он не найдет цели, он скорее уничтожит себя, чем станет жить с хаосом в душе и обходиться прожиточным минимумом духовного суррогата.

Не забудем: став господствующей идеологией и борясь с язычеством, христианство на Руси тем не менее отнеслось к нему терпимо, это было не выкорчевывание древних верований, а оттеснение их своим авторитетом и приспособление для своих нужд. И если мы до сих пор несем в себе языческие отголоски, так потому именно, что предкам нашим было оставлено для них место, что учение, пришедшее на смену предыдущему, составленному, казалось бы, из одних предрассудков, нашло нужным считаться с его природной укорененностью. Когда передовое приходит на смену устаревшему, если оно действительно передовое, оно не способно начинать с решительного уничтожения прежнего верования. Только не уверенная в себе сила, только сила, не имеющая иных аргументов, способна на насилие. По нравственному закону, существующему в мире единым итогом, независимо от учений, всякое насилие в конце концов наказуемо, хотя наказание и может растянуться на поколения.

Два направления христианства с центрами в Риме и Константинополе за одно и то же дело по строительству человека принялись как бы с разных концов. И ни там, ни там не закончили его, увлекшись своей правотой и своей стороной строительства. К тому же русское православие пошло в своих отличиях дальше византийского, оно было свободней, терпимей, идеалистичней. Русский человек за века православия развился в фигуру неопределенно-мечтательную, чувственную, менее практическую, чем человек Запада. В западном человеке первенствовало внешнее устройство жизни, в нашем — душеустроение, чувство родства с другими народами. Для одного важней была форма, для другого содержание. Будучи сыновьями одной матери, они происходили как бы от разных отцов и могли считаться сводными братьями. Когда бы удалось свести достоинства друг друга, получилась бы, вероятно, личность, которая устроила бы ее без трагического разлада с собой. Любое дело православный начинал с чувства, с молитвы, с грез, католик — с чертежа, с формулы, с уверенности в его успешном окончании. Один — дитя цивилизации, со всем лучшим и худшим, что несет в себе это понятие, другой — дитя представлений и иллюзий, также со всем тем, что есть в них противоречивого, бросающийся торопливо за материальной цивилизацией всякий раз, когда выяснялось, что мир избрал путь, мало согласующийся с его представлениями. Для одного причиной радости бывал успех, другой умел радоваться без всяких внешних поводов, только потому, что существует радость. Точно так же для одного страданием было нарушение его планов, какой-либо разрыв в увязанном им воедино мире, другой полюбил страдание за то, что оно дает возможность уйти в себя еще глубже, чем при радости. Только в России могло явиться поклонение страданию и привычка к нему. Полярность, обрывистость, противоречивость русского характера, трагические его изломы нужно объяснять, вероятно, прежде всего тем, что ход вещей не отвечал его верованиям и надеждам. В Европе и религиозное чувство имеет свое вычисление и объяснение, у нас же, как сказано Достоевским, «сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения не подходит; тут что-то не то, тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеисты». На Западе скажут точно, в России много вот этого «как-то, что-то, почему-то», происходящего не от недодуманности, а от обращения к тому, что и нельзя додумать, что относится к миру надчеловеческому.

У нас науку души, преподаваемую церковью, восприняли всерьез, она стала основанием святоотеческих начал и распространилась далеко. Она родила у нас в прошлом совсем особую литературу, ни на какую другую не похожую, и если вы хотите знать, чем был русский человек в 19-м веке, ищите его самого и душу его в книгах Гоголя, Лескова, Достоевского, Толстого, Фета и Тютчева. Вершинные творения духа — это и есть направление нации; среднеарифметический русский тип был, разумеется, иным, но он должен был чувствовать свою попутность этому направлению, оставалось продолжить движение. Величие русской литературы — в высоте ее взгляда; вероятно, в законах физического зрения и оптики не существует такого соотношения, что, чем выше поднимаешься, чем дальше отстоишь, тем глубже и лучше видишь. Для этого требуется духовное видение, когда писатель достигает пределов, в которых ему передается зрение истины. Великие мастера есть всюду, во всякой большой литературе, во всяком развитом искусстве. Русская литература прошлого века выделилась не одной лишь талантливостью, талант — это возможности художника, талант может быть и разрушительным, она выделилась больше всего своей духовной буквой, поисками в человеке ростков, из которых могут взойти искупительные действия, поисками того, что нового появилось в нем в результате духовной эволюции. Несмотря на свою горячность, неистовость и разоблачительность, она писалась словом питательным, словно бы пропущенным через какой-то особый состав, который способен восстанавливать силы.

Не забудем: школа старчества в русской церкви, в которой до сих пор светят живоносные имена Серафима Саровского, Иоанна Кронштадского, Тихона Задонского, оптинских старцев Амвросия и Нектария, была школой и русской литературы.

Совершенно отличной (и в смысле отличительности, и в смысле превосходности), происходящей из православия и славянской почвы, была в конце прошлого — начале нынешнего века русская философская мысль. Она созрела к этому времени до небывалых урожаев, которыми нынче мы, к несчастью, почти не пользуемся. Леонтьев, Соловьев, Федоров, Федотов, Розанов, Шестов, Бердяев, Флоренский, Булгаков, Трубецкой, Франк и другие привели ее к Ренессансу в философии, к невиданному взлету. Главное отличие ее было не в открытиях ума, не в формальных и отвлеченных построениях, не в архитектуре мысли, заведенной на спор и доказательства, а в пластичности, удобности, красивости, объятельности мысли, в которой ум руководится душой, а духовное и мирское сходятся в человеке без всяких усилий. Похороненная наполовину в родной земле, наполовину в зарубежье, в нашей стране она не имела почти продолжения. Не стану утверждать, что мы самый нравственный народ в мире, особенно теперь, когда и нравственность из образа перешла в звук, но русская мысль тогда в вопросах духовно-нравственного бытия человека сказала так много, что могла бы считаться катехизисом новейшего времени. Предреволюционному обществу нужно было заткнуть уши, чтобы не услышать ее предупреждений и отделаться бранью.

Изящные искусства и вообще повсюду должны быть искусством богоделания. Под богоделанием надо понимать любвестроительство, возведение единого храма красоты и братства. Все, что не отвечает этому требованию, не есть искусство, и чем лучше в таком случае исполнено произведение, чем ближе оно к искусству подобием его, тем вредней. Оно есть строительство соблазна, есть разрушение человека. Века и века в великих муках шел человек к себе, шел как бы и боясь себя — того, к которому надобно стремиться, по тому же самому необъяснимому закону, по которому сказано: «Конец приблизится, когда евангелие будет проповедано везде». И неблизко еще, надо думать, было ему до себя, впереди высматривались труды и труды, и когда соблазн стал истекать из всех пор, в том числе и из искусства, когда принялись в голос со всех сторон говорить ему, что не туда он идет, что спасение не там, а гораздо ближе, — надо ли удивляться, что не удержался человек на избранном пути?

Соблазн одного человека — это ошибка; соблазн общества — это «прогресс».

Не только литература, не только философия, но и музыка, живопись, архитектура достигли в России к концу прошлого века вершинной отметки — слово оттуда, с высоты, прощаясь навсегда с искусством, которое, переродившись, примется

скоро уничтожать свои же собственные идеалы и проповедовать духовное «ню».

Лев Шестов, философ, пытаясь разгадать Достоевского, делает одно удивительное, в духе русской мысли, предположение: «...в одной мудрой древней книге... рассказано, что ангел смерти, слетающий к человеку, чтобы разлучить его душу с телом, весь сплошь покрыт глазами. Почему так, зачем понадобилось ангелу столько глаз — ему, который все видел на небе и которому на земле и разглядывать нечего? И вот, я думаю, что это глаза у него не для себя. Бывает так, что ангел смерти, явившись за душой, убеждается, что он пришел слишком рано, что не наступил еще человеку срок покинуть землю. Он не трогает его души, даже не показывается ей, но прежде чем удалиться, незаметно оставляет человеку еще два глаза из бесчисленных собственных глаз. И тогда человек внезапно начинает видеть сверх того, что видят все и что он сам видит своими старыми глазами, что-то совсем новое».

Кажется, только этим зрением и можно объяснить у Достоевского «Легенду о Великом Инквизиторе», словно бы не вымышленную, а считанную глазами ангела с текста, составленного помимо человека. В ней, в «Легенде», и воспоминание, и объяснение, и прорицание, далеко выходящие за опыт одной жизни. Эти мысли, эти образы, эти горькие истины могут, кажется, лишь протекать через русло избранника, считающегося их создателем. Вопросы соответствия природы человека его христианскому назначению, то есть вопросы возможностей и целей, практики и идеалов, земности и небесности человека, — без них при всяком серьезном размышлении о наших судьбах не обойтись. Великий Инквизитор в «Легенде» вопрошает у Христа, которого по его приказу взяли: «Так ли создана природа человеческая, чтобы отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь со свободным решением сердца? О, ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес... Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: «Сойди со креста, и уверуем, что это ты». Ты не сошел потому, что, опять-таки, не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз и навсегда его ужаснувшим. Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди, вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого ты вознес до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал — и это кто же — тот, который возлюбил его более самого себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его».

Этим словам Великого Инквизитора нельзя не ужаснуться. От них веет холодом, в который оказалась погружена истина. Они верны, но той правдой, что выпадает в осадок. «Менее бы потребовал — легче была бы ноша». Но результаты бывают при тяжести ноши, от человека ждали результатов, и требовалось от него ровно столько, чтобы быть человеком. Меньше — получался недорост, искривленность позвоночника, уродливость фигуры от несоответствия, несогласованности между внешним и внутренним.

Так оно в конце концов и случилось. Человек не выдержал своего предназначения. Он себя не выдержал, своих противоречий, которые хотелось скорей примирить, и примирять их он взялся необременительным способом «поверх добра и зла». Так было проще, чем побеждать в себе зло. Оно так долго не побеждалось, что он счел себя уставшим и свободным от борьбы.

Можно ли говорить сегодня об этом как о чем-то уже состоявшемся, что человек окончательно сдался, что начертанные ему заветы уже никогда не будут исполнены? Чей язык повернется, чтобы произнести подобный приговор, ведь жизнь продолжается, продолжается и борьба, немало пришлось бы перечислять и старых духовных крепостей, и новых общин, в которых возвращается ныне память к заветам отцов, и все же в сравнении с тем, чем был человек хоть и сто лет назад, теперешняя его фигура и пути, которыми он руководится, заставляют и надежды высказывать неопределенно и робко.

Конечно, это произошло не вдруг, не так, что взял и отказался человек от авторитета веры и пошел искать авторитет силы; вместо того, чтобы вести борьбу за себя, кинулся в борьбу за переустройство мира; не справившись с собственной свободой, не став братом ближнему, потребовал всемирного братства и освобождения всех. Еще в 1848 году поэт Ф. И. Тютчев, размышляя о европейской революции, уверен был: «Тысячелетние предчувствия не могут обманывать, Россия, страна верующая, не ощутит недостатка веры в решительную минуту. Она не устрашится величия своего призвания и не отступит перед своим назначением». Но пройдет всего несколько десятилетий, и соблазн чуда, соблазн скорого и окончательного устроения людского счастья охватит русское общество. Великий Инквизитор предрекал, что во имя хлебов земных пойдет человек на любое преклонение, что «нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее то, перед чем преклониться».

Русская церковь и свою вину должна чувствовать в том, что, уверившись в истинности и незыблемости своего учения, исходя из принципа свободной веры, она оказалась безвлиятельной, когда началось общее смятение жизни в идеалах, запросах, а со смятением в огне, который все раскаляли и раскаляли новые вероучители, началось кипение социальных страстей. Но ведь и вера — это не только утешение, но и обуза. С развитием наук, с появлением открытий в технике, экономике, обещающих легкие хлебы земные, с появлением морали, издевающейся над грехом, философии, отрицающей старые истины, при всеобщем бунте ввиду близкого и манящего рая — это был не просто соблазн, это был экстаз, спасительный исход, торжество человеческой природы. Христианские лозунги: свобода, равенство, братство! — перенесены были на иные полотна и наполнены иным смыслом. Герцен обронил, кажется, в отношении к Европе: «Свобода! Равенство! Братство — или смерть!» Русский философ К. Леонтьев, считающийся реакционным, не без досады заметил: «В социальном строе» один везет, а девятеро лодырничают... И думается: «социальный вопрос» не есть ли вопрос о девяти дармоедах из десяти, а вовсе не о том, чтоб у немногих отнять и поделить между всеми. Ибо после дележа будет четырнадцать на шее одного трудолюбца, и окончательно задавят его. Упразднить же себя и даже принудительно поставить на работу они никак не дадут, потому что у них большинство голосов да и просто кулак огромнее».

Это уж совсем про наши дни. Еще опаснее ныне, чем «большинство голосов и кулак огромнее» при добывании хлеба, подобное же преимущество при добывании истины. Но тут разница вдесятеро больше. Образование (я говорю не об одном лишь нашем образовании, весь мир свернул на приобретение знаний двигательного свойства), образование занято тем, чтобы увести человека от главных законов бытия и снабдить его усовершенствованной системой и технологией пробежки от рождения до смерти. Малограмотная деревенская старуха сейчас к истине ближе, чем профессор, читающий общественные науки. Близко к тому, чтобы сказать: ученье — тьма... «Хлеба и зрелищ!» — стало смыслом жизни. Всякий, кто пытается напомнить о душе, о совести, о назначении человека, о смысле его жизни, вынужден сталкиваться с тем, что понятия эти из руководительной духовной династичности переведены в обслуживающий персонал и набиты чепухой. Если же начинаешь допытываться до старых их смыслов, говорить о вечности, о ценностях души, о единственно спасительных путях — неминуемо попадаешь в разряд ретроградов, реакционеров и обскурантистов. Ловкость прогрессистов, умеющих предавать дружной анафеме любого, кто пытается пользоваться памятью, а не запоминательством, словами истины, а не построений, чувствами глубинных заповедей, а не выносом времени, — ловкость эта удивительна и всесильна. Не всегда это, вероятно, злоумышленники, но что из того нам, если заблудители и заблужденные соединяются, растут, если многое делается по неведению и темноте души?!

Посмотрите, чем занято общество: химизация, политехнизация, научная организация, сейчас компьютеризация. И только одним оно не занято — гуманизацией, еще не отмененной окончательно, но задвинутой в такой угол, откуда шепот ее почти не слышен. Только духовностью пренебрегает общество, сочтя ее устаревшей, подобно технологиям. Едва ли надо сомневаться, что в результате предпринимаемых сейчас усилий хлебом земным мы сможем накормить человека, но это произойдет по правде Великого Инквизитора, по которой человек принадлежит только долу. Все это опять-таки будут средства жизни, средства, накладываемые на средства, средства, продолжающие средства, а как быть с вопросом: во имя чего наша жизнь? — с вопросом, который начинает глодать нас не меньше, чем потребность в хлебе.

«Плоть рождает плоть, дух рождает дух», — сказано Христом. Из плоти дух не родится. Но если человек все еще человек, если не опустился он до подобия человеку, он не сможет согласиться с одной лишь плотью. И востребует он: «Дух! Дайте мне дух! — или я откажусь от своих учителей, прокляну новые божества, лишившие меня духа!» И произойдет это тем скорей, чем скорей человек будет накормлен. Религия потребительства, пытающаяся встать над всеми религиями мира, которой пока все еще соблазняется человек, не может иметь будущего, ибо ею удовлетвориться нельзя.

Уныние, отчаяние, неверие признаются, как известно, христианством за грех. Не будем же и мы предаваться отчаянию. Выход, если мы захотим им воспользоваться, есть, он известен давно. Он — в нравственном перерождении человека, в самостроительстве, в самовоспитании из тех духовных начал, которые мы продолжаем в себе носить, в опамятовании и высветлении разума...

И сегодня, празднуя великую дату русского христианства, дату, которая сама по себе не может не явиться огромным соборным действием, призванием всего лучшего, что осталось в нации, под единые знамена, — празднуя, не забудем...

...Не забудем, что, во многом благодаря соединительному духу церкви, народ наш выстоял в века иноземного порабощения...

...что воспитался он в один из самых отзывчивых народов мира...

...напитал в недалеком прошлом великое искусство и великую мысль, образцы великомученичества во славу души и истины...

...Не забудем, что в последнюю войну русская церковь под колокольный звон всей верующей России отправила на фронт танковую дивизию, что верующие воевали не хуже, а может быть, лучше в общем строю...

А коль не забудем, коль подхватим память сознанием, а сознание подхватим действием, значит — живы.

В журнал пришло множество писем с благодарностью за публикацию статьи И. Шафаревича «Русофобия» (1989, № 6). В то же время читатели упрекают нас за сделанные купюры. Они правы — в пору гласности тексты, тем более уже получившие известность, следует печатать полностью. Выполняя пожелание читателей, публикуем ранее выпущенные главы. Мы понимаем, что они вызовут неоднозначную реакцию. Быть может, еще раз всплывет вздорное обвинение в антисемитизме, прозвучавшее недавно с высокой трибуны. Однако, на наш взгляд, ликвидация «белых пятен» в межнациональных отношениях — залог установления в обществе атмосферы взаимного доверия и благожелательности.

Игорь ШАФАРЕВИЧ

РУСОФОБИЯ

7. БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Но ЕСЛИ И ПРИНЯТЬ, что обостренный русофобский характер литературы «Малого Народа» объясняется влиянием каких-то еврейских националистических течений, то все же остается вопрос: почему некое течение еврейского национализма может быть проникнуто таким раздражением, чтобы не сказать — ненавистью к России, русской истории и вообще русским? Ответ будет очевидным, если обратить внимание на ту проблему, с которой так или иначе соприкасается почти каждое произведение русофобской литературы: КАКОЕ ВЛИЯНИЕ НА СУДЬБУ ЭТОЙ СТРАНЫ ОКАЗАЛ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ПРИЛИВ ЕВРЕЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИЛ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ — КАК РАЗ В ЭПОХУ ВЕЛИЧАЙШЕГО КРИЗИСА В ЕЕ ИСТОРИИ? Вопрос этот должен быть очень болезненным для еврейского националистического сознания. Действительно, вряд ли был в Истории другой случай, когда на жизнь какой-либо страны выходцы из еврейской части ее населения оказали бы такое громадное влияние. Поэтому при любом обсуждении роли евреев в любой стране опыт России очень долго будет одним из основных аргументов. И прежде всего в нашей стране, где мы еще долго обречены распутывать узелки, затянутые в ту эпоху. С другой стороны, этот вопрос становится все более актуальным во всем мире, особенно в Америке, где как раз теперь «лобби» еврейского национализма достигло такого необъяснимого влияния: когда в основных вопросах политики (например, отношения с СССР или нефтедобывающими странами) на решения влияют интересы численно небольшой группы населения или когда конгрессмены и сенаторы упрекают президента в том, что его действия могут ослабить государство Израиль — и президент, вместо того чтобы напомнить им, что они должны руководствоваться американскими, а не израильскими интересами, извиняется и доказывает, что никакого урона Израиль не понесет. В такой ситуации естественно может возникнуть желание познакомиться с тем, к каким последствиям подобное же влияние привело в судьбе другой страны.

Эта проблема никогда еще, насколько мне известно, не поднималась русской стороной (здесь, а не в эмиграции). Но другую сторону она явно беспокоит и все время всплывает в литературе «Малого Народа» и в произведениях новейшей эмиграции. Проблема часто хоть и называется, но либо формулируется так, что нелепость, неуместность самого вопроса становится совершенно очевидной, либо тут же закрывается при помощи первого попавшегося аргумента. Например, «революцию делали не одни евреи», утверждает один аноним, блистательно опровергая взгляд, что «революцию делали одни евреи» (который, впрочем, никаким разумным человеком и не мог быть высказан). Другой автор в «Континенте» признает участие евреев в революции на 14 процентов (?!) — «вот за эти 14 процентов и будем отвечать»! Вот еще пример: пьеса «Утомленное солнце» (вообще замечательная клокочущей ненавистью к русским), напечатанная в издающемся на русском языке в Тель-Авиве журнале. Автор — Нина Воронель, недавний эмигрант из СССР (может быть, пьеса здесь и писалась?). В пьесе трус и негодяй Астров спорит с чистым, принципиальным Веней. Астров кричит: «...ответственности вы не несете, но устраиваете нам революции, отменяете нашего бога, разрушаете церкви». — «Да чего вы стоите, если вам можно революцию устраивать!» — парирует Веня. Многие авторы отвергают мысль о сильном еврейском влиянии на русскую историю как оскорбительную для русского народа, хотя это единственный пункт, в котором они готовы проявить к русским такую деликатность. В недавней работе Померанц так и кружит над этим «проклятым вопросом». То он спрашивает, были ли евреи, участвующие в революционном движении, на самом деле евреями? — и признает вопрос неразрешимым: «А кто такой Врангель? (то есть немец ли?), Троцкий? Это зависит от ваших политических взглядов, читатель». То открывает универсальную закономерность русской жизни — что в ней всегда ведущую роль играли нерусские. «Даже в романах русских писателей какие фамилии носят деловые, энергичные люди? Костанжогло, Инсаров, Штольц... Тут уже заранее было приготовлено место для Левинсона». Ставится даже такой «мысленный эксперимент»: если бы опричника Федьку Басманова перенести в наш век и сделать наркомом железнодорожного транспорта, то у него, утверждает автор, поезда непременно сходили бы с рельсов, а вот «у мерзавца Кагановича поезда ходили по расписанию (как раньше у Клейнмихеля)» — хотя должен был бы автор помнить тот первозданный хаос, который царил на железных дорогах, когда ими распоряжался «железный нарком»! И наконец намекает, что если и было что-то там, ну... не совсем гуманное, то в этом виноваты сами русские, такая у них страна: «Блюмкин, спьяну составляющий список на расстрел, немыслим в Израиле: нет ни пьянства, ни расстрелов». (За исключением разве расстрелов арабских крестьян, как в деревне Дейр-Ясин? — И. Ш.) Последнее рассуждение сквозит подтекстом и во всей русофобской литературе: если что и было, во всем виноваты сами русские, у них жестокость в крови, такова вся их история. Именно этот лейтмотив и придает такой яркий антирусский оттенок идеологии современного нам «Малого Народа», именно потому возникает необходимость снова и снова доказывать жестокость и варварство русских.

Впрочем, в такой реакции нет ничего специфически еврейского: в прошлом каждого человека и каждого народа есть эпизоды, о которых вспоминать не хочется, куда легче внушить себе, что вспоминать не о чем. По-человечески удивляться надо скорее тому, что были честные и мужественные попытки разобраться в том, что произошло. Такой попыткой был сборник «Россия и евреи», изданный в Берлине в 1923 году. Были и другие подобные попытки. Они вселяют надежду, что отношения между народами могли бы определяться не эгоизмом и взаимной ненавистью, а раскаянием и доброжелательностью. Они приводят к важному вопросу: нужно ли нам размышлять о роли евреев в нашей истории, неужели не достаточно у нас своих грехов, ошибок и проблем? Не плодотворнее ли путь раскаяния каждого народа в своих ошибках? Безусловно это — высшая точка зрения, и от сознания своих исторических грехов не уйти никуда, как это ни трудно, особенно перед лицом злобных и недобросовестных нападок, подобных тем, которые мы в большом числе приводили. Но совершенно очевидно, что человечество далеко еще не созрело для того, чтобы ограничиваться лишь этим путем. Если перед нами болезненная проблема, от понимания которой зависит, быть может, судьба нашего народа, то чувство национального самосохранения не допускает, чтобы мы от нее отворачивались, запрещали о ней себе думать в надежде, что другие за нас ее разрешат. Тем более что надежда эта очень хрупкая. Ведь и те попытки анализа взаимоотношений евреев с другими народами, о которых мы говорили, сколько-нибудь широкого отклика не вызвали. Авторы сборника «Россия и евреи» очень ярко описывают враждебное отношение, которое они встретили в эмигрантской еврейской среде, о них писали: «отбросы еврейской общественности...» И так же дело обстоит и сейчас, например, А. Суконик, напечатавший в «Континенте» рассказ, где выведен несимпатичный еврей, немедленно был обвинен в «антисемитизме».

Да всем этим можно было бы еще пренебречь, если бы речь шла о судьбах каждого из нас индивидуально, но ведь ответственны же мы и перед своим народом, так что как эта проблема ни болезненна, уклониться от нее невозможно.

А обсуждать ее нелегко. Жизнь в стране, где сталкивается столько национальностей и национальные чувства обострены до предела, вырабатывает, часто даже неосознанную, привычку осторожно обходить национальные проблемы, не делать их предметом обсуждения. Чтобы высказаться по этому вопросу, надо преодолеть некоторое внутреннее сопротивление. Однако выбор уже сделан — теми авторами, взгляды и высказывания которых мы привели. Нельзя же в самом деле предположить, чтобы один народ, особенности его истории, национального характера и религиозных взглядов — обсуждался (часто, как мы видели, крайне злобно и бесцеремонно), а обсуждение других было бы недопустимо.

Но здесь нам монолитной глыбой перегораживает путь глубоко укорененный, внушенный запрет, делающий почти безнадежной всякую попытку разобраться в этом вопросе. Он заключается в том, что всякая мысль, будто когда-нибудь или где-нибудь действия каких-то евреев принесли вред другим народам, да даже всякое объективное исследование, не исключающее с самого начала возможность такого вывода, — объявляется реакционным, неинтеллигентным, нечистоплотным.

Взаимоотношения между любыми нациями: немцами и французами, англичанами и ирландцами или персами и курдами можно свободно обсуждать и объективно указывать на случаи, когда одна сторона пострадала от другой. Можно говорить об эгоистической позиции дворянства, о погоне буржуазии за прибылями или о закоренелом консерватизме крестьянства. Но по отношению к евреям подобные суждения, независимо от того, оправданы они или нет, с этой точки зрения — в принципе запрещены. Такой, нигде явно не высказанный и не записанный запрет, строго соблюдается всем современным циви-

лизованным человечеством, и это тем больше бросается в глаза, чем более свободным, «открытым» претендует быть общество, а разительнее всего — в Соединенных Штатах.

Яркий пример обнаженного применения этого положения — в недавней статье Померанца. В одной статье он обнаруживает фразу: «аппарат ЧК изобиловал латышами, поляками, евреями, мадьярами, китайцами», и по этому поводу пишет:

«Он перечисляет, безо всякого лицеприятия, латышей, поляков, евреев, мадьяр и китайцев. О п а с н о е слово засунуто посредине так, чтобы его и выдернуть нельзя было для цитирования».

Слово «опасное» выделено мною. Очень хотелось бы понять, как Померанц объясняет, что опасно именно это, «засунутое в середину» слово, а не то, например, которое стоит в конце, хотя китайцев в мире раз в пятьдесят больше, чем евреев. И никак уж не опасно было ему назвать русских «недоделками» и «холуями». Очень характерно, что Померанц отнюдь не оспаривает самого факта, он даже иронизирует над осторожностью автора:

«Однако позвольте, разве евреи действительно играли третьестепенную роль в русской революции! Поменьше поляков, побольше мадьяр! Современники смотрели на эти вещи иначе...»

Он просто предупреждает, что автор подходит к границе, переступать которую — недопустимо.

И в этом Померанц прав — «слово» действительно опасное! На каждого осмелившегося нарушить вышеуказанный запрет обрушивается обвинение в «антисемитизме». Откровенный Янов этим грозит особенно неприкрыто. Упоминая о «националистах», он говорит:

«...возразят они мне, что антисемитизм — атомная бомба в арсенале их оппонентов. Но если так, то почему бы не лишить своих оппонентов их главного оружия, публично отрекшись...» и т. д.

Это «главное оружие» неуточненных Яновым «противников национализма» действительно является «оружием устрашения», сравнимым с атомной бомбой. Недаром в наше время опасную тему обходят самые принципиальные мыслители, здесь умолкают самые смелые люди.

Что же представляет собой эта «атомная бомба»? Всем известно, что антисемитизм грязен, некультурен, что это позор XX века (как, впрочем, и всех других веков). Его объясняли дикостью, неразвитостью капиталистических отношений — или, наоборот, загниванием капитализма, или еще — завистью менее талантливых наций к более талантливой. Бебель считал его особой разновидностью социализма: «социализмом дураков», Сталин — «пережитками каннибализма», Фрейд объяснял антипатией, вызываемой обрезанными у необрезанных (у которых обрезание подсознательно ассоциируется с неприятной идеей кастрации). Другие считали его пережитком маркионитской ереси, осужденной во II веке церковью, или хулой на Богоматерь. Но никто никогда не разъяснил то, с чего, казалось бы, надо было начать, — что это такое, антисемитизм, что подразумевается под этим словом? По сути-то речь идет о том самом запрете: не допустить даже как предположение, что действия каких-то еврейских групп, течений, личностей могли иметь отрицательные последствия для других. Но так открыто его формулировать, конечно, нельзя. Поэтому и напрасно добиваться ответа, его дано не будет, ибо тут и заключается взрывная мощь этой атомной бомбы: в том, что вопрос уводится из сферы разума в область эмоций и внушений. Мы имеем дело с символом, знаком, функция которого — мобилизовать иррациональные эмоции, вызвать по сигналу прилив раздражения, возмущения и ненависти. Такие символы или штампы, являющиеся сигналом для спонтанной реакции, — хорошо известный элемент управления массовым сознанием.

И применяют обычно штамп «антисемитизма» именно как средство воздействия на эмоции, сознательно игнорируя логику, стремясь увести от всякого с ней соприкосновения. Яркие примеры можно встретить у автора, вообще весьма озабоченного этой темой, А. Синявского. В уже цитированной нами статье в № 1 журнала «Континент» он пишет:

«Здесь уместно сказать несколько слов в защиту антисемитизма в России. То есть: что хорошее скрыто в психологическом смысле в русском недружелюбии выразиться так — помягче — к евреям».

И разъясняет, что сколько бы бед русский человек ни натворил, он просто не в силах постичь, что все это получилось от его же собственных действий, и валит грех на каких-то «вредителей» — в частности на евреев. Но дальше, подымаясь до пафоса, автор по поводу еврейской эмиграции (до которой, конечно, евреев довели русские), восклицает: «Россия — Мать, Россия — Сука, ты ответишь и за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное на помойку (?) дитя».

Видите, автор даже берет русских под защиту, старается, сколько возможно, извинить их антисемитизм, найти в нем что-то и «хорошее», ибо ведь они не ведают, что творят, а в более современной терминологии — невменяемы (хотя Россия — Сука все же ответит и за это и за что-то еще...). И уж от такого защитника читатель принимает на веру, без единого доказательства, утверждение о том, что «недружелюбие» русских к евреям как нации действительно существует, и не задумывается, всегда ли евреи «дружелюбны» к русским?

В каком другом вопросе такой трюк сошел бы с рук? А тут эти мысли признаются столь важными, что в английском переводе сообщаются американскому читателю.

В более поздней статье того же автора приводится несколько высказываний «писателя Н. Н.» вроде того, что еврейские погромы были и при Мономахе или что сейчас в Московской организации Союза писателей евреев — 80 процентов. Не пытаясь ни оценить правильность этой цифры, ни то, какое влияние подобное положение вещей могло бы оказать на развитие рус-

ской литературы, автор утверждает, что Н. Н. призывает «приступить к погромам, опоясавшись Мономахом» и даже что «мы имеем дело (...) с православным фашизмом». Видно, что цель — увести читателя с неуютной для автора почвы фактов и размышлений. Вместо этого внушается образ русских — почти невменяемых недоумков, а любые неприятные высказывания перекрашивают под призывы к погрому. В русофобской литературе мы встречали такие уверенные обвинения русских в отсутствии уважения к чужому мнению! Авторы так часто прокламировали «плюрализм» и «толерантность», что мы, казалось бы, могли рассчитывать встретить эти черты у них самих. Однако когда они сталкиваются с болезненными для них вопросами, то не только не проявляют терпимости и уважения к чужому мнению, но без обиняков объявляют своих оппонентов фашистами и чуть ли не убийцами. А ведь как раз в трудных, болезненных ситуациях только и проверяются и «плюрализм» и «толерантность». Если пытаться на этой модели понять, что же подразумевают авторы под свободой мысли и слова, то ведь может показаться, что они понимают ее как свободу с в о е й мысли и свободу слова лишь для е е выражения!

Более рационально, аргументированно тот же запрет высказывается в такой форме: неоправданно любое суждение о целом народе, этим отрицается автономность человеческой индивидуальности, одни люди становятся ответственными за действия других. Но приняв такую точку зрения, мы должны бы вообще отказаться от применения в истории общих категорий: сословие, класс, нация, государство. Впрочем, подобных возражений почему-то не вызывают ни такие мысли, что «Россией привнесено в мир больше зла, чем любой другой страной», ни раздающиеся в последнее время в США требования (еврейских авторов) больше освещать вклад (разумеется, положительный) евреев в американскую культуру (тоже ведь — суждение о целой нации!).

Главное же, никакого отрицания индивидуальности здесь не происходит. Мы, например, привели выше аргументы в пользу того, что разбираемая нами русофобская литература находится под сильным влиянием еврейских националистических чувств. Но ведь не все же евреи принимают в этой литературе участие! Есть и такие, которые против нее возражают (некоторых из них мы называли выше). Так что здесь вполне остается свобода проявления своей индивидуальности и ни на кого не возлагается ответственность за действия, им не совершенные.

Раз уж мы произнесли слово «ответственность», то позволим себе еще одно разъяснение. В этой работе мы вообще отказываемся от всяких «оценочных суждений», от постановки вопроса «кто виноват?» (и насколько). Дальше мы попытаемся лишь понять: что же происходило? Как отразилась на истории нашей страны та роль, которую некоторые слои еврейства играли в течение «революционного века» — от середины XIX до середины XX века?

8. ЕВРЕЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ В «РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВЕК»

В конце XIX века устойчивая, замкнутая жизнь религиозных общин, объединяющих почти всех живших в России евреев, стала быстро распадаться. Молодежь покидала религиозные школы и патриархальный кров и вливалась в русскую жизнь — экономику, культуру, политику, — все больше влияя на нее. К началу XX века это влияние достигло такого масштаба, что стало весомым фактором русской истории. Если оно было велико и в экономике, то особенно бросалось в глаза во всех течениях, враждебных тогдашнему жизненному укладу. В либерально-обличительной прессе, в левых партиях и террористических группах евреи, как по их числу, так и по их руководящей роли, занимали положение, совершенно несопоставимое с их численной долей в населении.

«...Факт безусловный, который надлежит объяснить, но бессмысленно и бесцельно отрицать», — писали об этом объективные еврейские наблюдатели (цитированный выше сборник «Россия и евреи»).

Естественно, что весь процесс обострился, когда разразилась революция. В том же сборнике читаем:

«Теперь еврей — во всех углах, на всех ступенях власти. Русский человек видит его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе армии, совершеннейшего механизма самоистребления. Он видит, что проспект св. Владимира носит славное имя Нахимсона, исторический Литейный проспект переименован в проспект Володарского, а Павловск — в Слуцк. Русский человек видит теперь еврея и судьей и палачом...»

Тем не менее мысль, что «революцию делали одни евреи», — бессмыслица, выдуманная, вероятно, лишь затем, чтобы ее было проще опровергнуть. Более того, я не вижу никаких аргументов в пользу того, что евреи вообще «сделали» русскую революцию, то есть были ее инициаторами, хотя бы в виде руководящего меньшинства.

Если начинать историю революции с Бакунина, Герцена и Чернышевского, то в их окружении не было никаких евреев, а Бакунин вообще относился к евреям с антипатией. Когда возникли первые революционные прокламации («К молодой России» и др.), в период «хождения в народ» и когда после его неудачи произошел поворот к террору, евреи в революционном движении были редким исключением. В самом конце 70-х годов в руководстве «Народной воли» было несколько евреев (Гольденберг, Дейч, Зунделевич, Геся Гельфман), что после убийства Александра II привело ко взрывам народного возмущения, направленного против евреев. Но как слабо было влияние евреев в руководстве организации, показывает то, что «Листок «Народной воли» ОДОБРИЛ эти беспорядки, объяснив их возмущением народа против евреев-эксплуататоров. К концу 80-х годов положение несколько изменилось. Согласно сводке, составленной

министерством внутренних дел, среди известных ему политических эмигрантов евреи составляли немного более трети — 51 из 145. Только после создания партии эсеров евреи образовали прочное большинство в руководстве этого движения. Вот, например, краткая история Боевой организации эсеров: ее создал и ею с 1901-го по 1903-й руководил Гершуни, с 1903-го по 1906-й — Азев[1], с 1906-го по 1907-й — Зильберберг. После этого во главе встал Никитенко, но через два месяца был арестован, а в 1908 году она была распущена (когда выяснилась роль Азева). Обильный материал в этом отношении дают донесения Азева, позже опубликованные. В одном из них он перечисляет членов заграничного комитета: Гоц, Чернов, Шишко, супруги Левиты, жена Гоца, Миноры, Гуревич и жена Чернова, а в другом — «узкий круг руководителей партии»: Мендель, Виттенберг, Левин, Левит и Азев. Аналогичную эволюцию мы видим и в социал-демократии. Идея, что не крестьяне, а рабочие могут стать главной революционной силой, была высказана применительно к России не евреями, а Якубовичем и особенно Плехановым, который начал пересадку марксизма на русскую почву. В социал-демократии сначала гораздо больше евреев было среди меньшевиков, чем среди большевиков (в заметке о V съезде РСДРП Сталин писал, что в меньшевистской фракции подавляющее большинство составляли евреи, а в большевистской — русские, и приводил известную «шутку», что неплохо бы устроить в русской социал-демократии небольшой еврейский погром), к большевикам еврейские силы стали приливать только перед самым октябрьским переворотом и особенно вслед за ним — от меньшевиков, из Бунда (многие руководители Бунда перешли в большевистскую партию), из беспартийных. После переворота несколько дней главой государства был Каменев, потом до своей смерти — Свердлов. Во главе армии стоял Троцкий, во главе Петрограда — Зиновьев, Москвы — Каменев, Коминтерн возглавлял Зиновьев, Профинтерн — А. Лозовский (Соломон Дризо), во главе комсомола стоял Оскар Рывкин, вначале — несколько месяцев — Ефим Цетлин и т. д.

Положение в 30-е годы можно представить себе, например, по спискам, приведенным в книге Дикого. Если в самом верховном руководстве число еврейских имен уменьшается, то в инстанциях пониже влияние расширяется, уходит вглубь. В ответственных наркоматах (ОГПУ, иностранных дел, тяжелой промышленности) в руководящей верхушке (наркомы, их заместители, члены коллегии) евреи занимали доминирующее положение, составляли заведомо больше половины. В некоторых же областях руководство почти сплошь состояло из евреев.

Но это все лишь количественные оценки. Каков же был **характер того влияния**, которое оказало на ту эпоху столь значительная роль радикального еврейства? Бросается в глаза особенно большая концентрация еврейских имен в самые болезненные моменты среди руководителей и исполнителей акций, которые особенно резко перекраивали жизнь, способствовали разрыву исторических традиций, разрушению исторических корней.

Например, из большинства мемуаров времен гражданской войны возникает странная картина: когда упоминаются деятели ЧК, поразительно часто всплывают еврейские фамилии — идет ли речь о Киеве, Харькове, Петрограде, Вятке или Туркестане. И это в то время, когда евреи составляли всего 1—2 процента населения Советской России! Так, Шульгин приводит список сотрудников Киевской ЧК: в нем почти исключительно еврейские фамилии. И рассказывает о таком примере ее деятельности: в Киеве до революции был «Союз русских националистов» — его членов расстреливали по спискам.

Особенно же ярко эта черта выступает в связи с расстрелом Николая II и его семьи. Ведь речь шла не об устранении претендентом на престол своего предшественника — вроде убийства Петра III или Павла I. Николай II был расстрелян именно **как царь**, этим ритуальным актом подводилась черта под многовековой эпохой русской истории, так что сравнивать это можно лишь с казнью Карла I в Англии или Людовика XVI во Франции. Казалось бы, от такого болезненного, оставляющего след во всей истории действия представители незначительного этнического меньшинства должны были бы держаться как можно дальше. А какие имена мы встречаем? Лично руководил расстрелом и стрелял в царя Яков Юровский, председателем местного Совета был Белобородов (Вайсбарт), а общее руководство в Екатеринбурге осуществлял Шая Голощекин. Картина дополняется тем, что на стене комнаты, где происходил расстрел, было обнаружено написанное (по-немецки) двустишие из стихотворения Гейне о царе Валтасаре, оскорбившем Иегову и убитым за это[2]. Или вот другая эпоха: состав верхушки ОГПУ в период раскулачивания и Беломорканала, в переломный момент нашей истории — когда решалась судьба крестьянства (он приведен в книге одного английского исследователя, вовсе не желающего подчеркнуть национальный аспект): председатель Ягода (Игуда), заместители — Агранов, Трилиссер, позже Фриновский; начальник оперотдела — Валович, позже Паукер; начальник ГУЛАГа — Матвей Берман, потом Френкель; политотдела — Ляшков; хозяйственный отдел — Миронов; спецотдел — Гай, иностранный отдел — начальник Слуцкий, заместитель — Борис Берман и Шпилгельгласс; транспортный отдел — Шанин. А когда Ягоду сменил Ежов, его заместителями были Берман и Фриновский. Или, наконец, уничтожение Православной Церкви: в 20-е годы им руководил Троцкий (при ближайшем помощнике — Шпицберге), а в 30-е Емельян Ярославский (Миней Израилевич Губельман). Тот период, когда кампания приняла уже грандиозный размах, освещается в самиздатском письме покойного украинского академика Белецкого. Он, например, приводит список основных авторов атеистической (то есть почти исключительно антиправославной) литературы: Емельян Ярославский (Губельман), Румянцев (Шнайдер), Кандидов (Фридман), Захаров (Эдельштейн), Ранович, Шахнович, Скворцов-Степанов, а в более позднее время — Ленцман и Менкман.

Самая же роковая черта всего этого века, которую можно отнести за счет все увеличивающегося еврейского влияния, заключалась в том, что часто либеральная, западническая или интернационалистическая фразеология прикрывала антинациональные тенденции. (Конечно, вовлеченными в это оказались и многие русские, украинцы, грузины.) Тут — кардинальное отличие от французской революции, в которой евреи не играли никакой роли. Там «патриот» — был термин, обозначающий революционера, у нас — контрреволюционера, его можно было встретить и в смертном приговоре: расстреляли как заговорщик, монархист и патриот. И в России эта черта появилась не сразу. В мышлении Бакунина были какие-то национальные элементы, он мечтал о федерации анархически-свободных славянских народов. Та приманка, которая заманивала большинство молодежи в революцию, была любовь и сострадание к народу, то есть тогда — к крестьянству. Но рано началась и обратная тенденция. Так, Л. Тихомиров рассказывает о В. А. Зайцеве (мы уже цитировали его в § 4, например, что «рабство в крови русских»): «Еврей, интеллигентный революционер, он с какой-то бешеной злобой ненавидел Россию и буквально проклинал ее, так что противно было читать. Он писал, например: «сгинь, проклятая». О Плеханове Тихомиров пишет, что он «носил в груди неистребимый русский патриотизм». И вот, вернувшись после февральской революции в Россию, он обнаружил, что его былое влияние испарилось. У Плеханова просто не повернулся бы язык воскликнуть, как Троцкий: «Будь проклят патриотизм!» Это «антипатриотическое» настроение господствовало в 20-е и 30-е годы. Зиновьев призывал тогда «подсекать головку нашего русского шовинизма», «каленым железом прижечь всюду, где есть хотя бы намек на великодержавный шовинизм»; Яковлев (Эпштейн) сетовал, что «через аппарат проникает подлый великодержавный русский шовинизм».

Что же понималось под «великодержавным шовинизмом» и что означала борьба с ним? Бухарин разъяснял: «... мы в качестве бывшей великодержавной нации должны (...) поставить себя в неравное положение в смысле еще больших уступок национальным течениям». Он требовал поставить русских «в положение более низкое по сравнению с другими...». Сталин же раз за разом, начиная с X съезда и кончая XVI, декларировал, что «великодержавный шовинизм» является главной опасностью в области национальной политики. Тогда термин «РУСОПЯТ» был вполне официальным, его можно было встретить во многих речах тогдашних деятелей. «Антипатриотическое» настроение пропитало и литературу. Безыменский мечтал:

О, скоро ли рукою жестной
Расеюшку с пути столкнут?!

Эта тема варьировалась до бесконечности:

Русь! Сгнила? Умерла? Подохла?
Что же! Вечная память тебе.

Или:

Я предлагаю Минина расплавить,
Пожарского.
Зачем им пьедестал?
Довольно нам
Двух лавочников славить —
Их за прилавками
Октябрь застал.
Случайно им
Мы не свернули шею.
Я знаю, это было бы под стать,
Подумаешь,
Они спасли Расею!
А может, лучше было б не спасать?

Занятие русской историей включало в себя как обязательную часть выливание помоев на всех, кто играл какую-то роль в судьбах России — даже за счет противоречия с убеждениями самих исследователей: ибо был ли, например, Петр Великий сифилитиком или гомосексуалистом, это ведь не оказывало никакого влияния на «торговый капитал», «выразителем интересов которого он являлся». Через литературу и школу это настроение проникло и в души нынешних поколений — и вот, например, Л. Плющ называет Кутузова «реакционным деятелем»!

Здесь уместно рассмотреть часто выдвигаемое возражение: евреи, принимавшие участие в этом течении, принадлежали к еврейству лишь по крови, но по духу они были интернационалистами; то, что они были евреями, никак не влияло на их деятельность. Но ведь Сталина, например, те же авторы объявляют «продолжателем политики русского царизма», хотя в своих речах он неустанно обличал «великодержавный шовинизм». Если они не верят на слово Сталину, то почему же верят Троцкому и считают его чистым интернационалистом? Именно эту точку зрения имеет, конечно, в виду Померанц, когда пишет, что если считать Троцкого евреем, то Врангеля надо считать немцем. Кем же они в действительности были? «Этот вопрос кажется мне неразрешимым», — говорит Померанц. В то же время, по крайней мере в отношении Троцкого, положение не представляется

---

[1] Кажется, его фамилию надо произносить Азев, а не Азѐф.

[2] Довольно откровенной попыткой затемнить именно этот аспект екатеринбургской трагедии является недавняя книга двух английских журналистов. Но по другому поводу мы узнаем из нее, что на стенах дома, где произошел расстрел царской семьи, были обнаружены надписи на идиш!

столь безнадежным. Например, в одной из его биографий читаем:

«Судя по всему, рационалистический подход к еврейскому вопросу, которого требовал от него исповедуемый им марксизм, никак не выражал его подлинных чувств. Кажется даже, он был «одержим» по-своему этим вопросом; он писал о нем чуть ли не больше, чем любой другой революционер».

Как раз сравнение с Врангелем поучительно: заместителем Троцкого был Эфраим Склянский, а Врангеля — генерал Шатилов, отнюдь не немец. И неизвестно признаков какой-либо особой симпатии к Врангелю, стремления его реабилитировать со стороны немецких публицистов, в то время как с Троцким дело обстоит не так: например, тот же Померанц сравнивает трудармии Троцкого с современной посылкой студентов на картошку! Тогда как сам Троцкий пользовался совсем другим сравнением — с *крепостным правом*, которое он объявлял вполне прогрессивным для своего времени. Или В. Гроссман в романе «Все течет», развенчивая и Сталина и Ленина, пишет: «блестящий», «бурный», великолепный», «почти гениальный Троцкий» [3].

Не только этот пример Померанца неудачен, но можно привести много примеров того, что как либеральные, так и революционные деятели еврейского происхождения находились под воздействием мощных националистических чувств. (Конечно, из этого не следует, что так было со всеми.) Например, Винавер — один из самых влиятельных руководителей конституционно-демократической («кадетской») партии, после революции превратился в активнейшего сиониста. Или возьмем момент, когда создавалась партия эсеров. В воспоминаниях один из руководящих деятелей того времени (позже — один из вождей Французской компартии) Шарль Раппопорт пишет:

«Хаим Житловский, который вместе со мной основал в Берне «Союз русских социалистов-революционеров», из которого выросла в дальнейшем партия эсеров [4]... Этот пламенный и искренний патриот убеждал меня дружески: будь кем хочешь — социалистом, коммунистом, анархистом и так далее, но в первую очередь будь евреем, работай среди евреев, еврейская интеллигенция должна принадлежать еврейскому народу».

Взгляды самого Раппопорта таковы: «Еврейский народ — носитель всех великих идей единства и человеческой общности в истории... Исчезновение еврейского народа будет обозначать гибель человечества, окончательное превращение человека в дикого зверя».

Очень трудно представить себе, чтобы деятельность таких политиков (в качестве ли кадетов, эсеров или французских коммунистов) не отражала их национальных чувств. Следы этого можно действительно увидеть, например, в истории партии эсеров. Так, два самых знаменитых террористических акта, потребовавших наибольшего напряжения сил Боевой организации, были направлены против Плеве и великого князя Сергея Александровича, которых молва обвиняла в антисемитизме. (Плеве считался ответственным за Кишиневский погром; ходила даже легенда, что он хотел выселить евреев в гетто; вел. кн. Сергей Александрович, будучи московским генерал-губернатором, восстановил некоторые ограничения на проживание евреев в Московской губернии, отмененные раньше). Зубатов вспоминал, что в разговоре с ним Азев «трясся от злобы и ненависти, говоря о Плеве, которого он считал ответственным за Кишиневский погром» [5].

О том же свидетельствует и Ратаев. Один из руководителей партии эсеров — Слетов — рассказывает в своих воспоминаниях, как реагировали вожди партии в Женеве на весть об убийстве Плеве:

«Несколько минут стояло столпотворение. Некоторые мужчины и женщины впали в истерику. Большинство присутствующих обнимались. Со всех сторон раздавались крики радости. Я, как сейчас, вижу Н., стоявшего немного в стороне: он разбил стакан с водой об пол, заскрежетал зубами и вскричал: «Это за Кишинев!»

Вот другой пример. Советский историк М. Н. Покровский рассказывает:

«... я знал, что еще в 1907 году кадетская газета «Новь» в Москве субсидировалась некоторого рода синдикатом еврейской буржуазии, которая больше всего заботилась о национальной стороне дела и, находя, что газета недостаточно защищает интересы евреев, приходила к нашему большевистскому публицисту М. Г. Лунцу и предлагала ему стать редактором газеты. Он был крайне изумлен, говоря: Как же — ведь газета кадетская, а я большевик. Ему говорят: Это все равно. Мы думаем, что ваше отношение к национальному вопросу более четко».

Мысль, что политический переворот может быть инструментом для достижения национальных целей, не чужда еврейскому сознанию. Так, Витте рассказывает, что, когда он в 1905 году вел в Америке переговоры о заключении мирного договора с Японией, к нему пришла «делегация еврейских тузов», в том числе Яков Шифф, «глава еврейского финансового мира в Америке». Их волновал вопрос о положении евреев в России. Слова Витте, что «предоставление сразу равноправия принесет больше вреда, чем пользы», «вызвали со стороны Шиффа резкое возражение». Шульгин приводит, со ссылкой на первоисточник, версию одного из еврейских участников этой встречи о том, в чем заключалось «возражение» Шиффа. По его словам, Шифф сказал: «... в таком случае революция воздвигнет республику, при помощи которой права будут получены».

В качестве продолжения этой истории можно привести другую, имевшую место в 1911—1912 гг. В эти годы в Америке разыгралась бурная кампания протеста против того, что, согласно тогдашним русским законам, *въезд* американских евреев в Россию был ограничен. Требовали разрыва русско-американского торгового договора 1832 года. (Договор и был расторгнут, совершенно так же, как в наши дни торговый договор не был подписан из-за того, что был ограничен *выезд* евреев из СССР в США.) Выступая на митинге, министр продовольствия Герман Леб (вышеупомянутый Шифф был главным директором банка Кун, Леб и К°) сказал, что расторжение договора — это хорошо, но еще лучше — переправить в Россию контрабандой оружие и послать сотню инструкторов:

«Пусть они обучат наших ребят, пусть научат их убивать угнетателей, как собак. Трусливая Россия вынуждена была уступить маленьким японцам. Она уступит и Избранному Богом Народу... Деньги помогут нам добиться этого».

Таких примеров можно привести гораздо больше, они недостаточны, конечно, для того, чтобы понять, как именно влияли национальные чувства на политических деятелей-евреев, но показывают, что такое влияние во многих случаях несомненно существовало.

9. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Почему случилось так, что именно выходцы из еврейской среды оказались ядром того «Малого Народа», которому выпала роковая роль в кризисную эпоху нашей истории? Мы не будем пытаться вскрыть глубинный смысл этого явления. Вероятно, основы — религиозные, связанные с верой в «Избранный Народ» и в предназначенную ему власть над миром. Какой другой народ воспитывался из поколения в поколение на таких заветах?

«...Введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил.

И с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, и с виноградниками и маслинами, которых ты не садил...»

(Второзаконие, VI, 6—11)

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их — служить тебе; ибо во гневе Моем Я поражал тебя, но в благоволении Моему буду милостив к тебе.

И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их.

Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе,— погибнут, и такие народы совершенно истребятся».

(Исаия, 60, 10—12)

«И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши; и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями».

(Исаия, 61, 5)

«И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими; лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих...»

(Исаия, 49, 23)

У кого можно встретить подобные чувства?

«О прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне, и все множество их Ты уподобил каплям, каплющим из сосуда».

(III кн. Ездры, 6, 56)

«Если для нас создан век сей, то почему не получаем мы наследия с веком? И доколе это?»

(III кн. Ездры, 6, 59) [6].

Именно это мировоззрение «Избранного Народа» явилось прототипом идеологии «Малого Народа» во всех его исторических воплощениях (что особенно ясно видно на примере пуритан, пользовавшихся даже той же терминологией — из новейших авторов ею пользуется Померанц).

Однако здесь я укажу только на самую очевидную причину — почти двухтысячелетнюю изоляцию и подозрительное, враждебное отношение к окружающему миру. Конечно, встает также вопрос о причинах и смысле этой изоляции. Например, такой тщательный и объективный исследователь, как Макс Вебер, считает, что изоляция еврейства была не вынужденной, а добровольно избранной, задолго до разрушения Храма. В этом с ним соглашается и советский историк С. Лурье в работе «Антисемитизм в древнем мире». Он

---

[3] В. С. Гроссман — советский писатель и публицист. Вместе с Эренбургом и Заславским был руководящим пропагандистом сталинского времени. Одновременно втайне написал несколько книг, которые были опубликованы после его смерти. В одной из них, «Все течет», он, сурово развенчивая Сталина и Ленина, очень сочувственно отзывается о Троцком (оттуда и взяты приведенные выше цитаты). В той же книге он утверждает, что вся русская история — это история рабства, что русская душа — тысячелетняя раба, извратившая занесенные с Запада свободолюбивые идеи (хотя в своей официальной публицистике военного времени он говорил совсем другим языком: в русской душе он видел «неистребимую, неистовую силу», «железную аввакумовскую силу, которую нельзя ни согнуть, ни сломить» и т. п.). Таким образом, В. Гроссмана можно рассматривать как предшественника того течения, которое является предметом рассмотрения настоящей работы.

[4] Автор несколько преувеличивает: партия эсеров образовалась из слияния нескольких организаций, в числе которых был и вышеупомянутый «Союз».

[5] В судьбе Азева вообще много загадочного. Почему после разоблачения он не был убит, в то время как партия казнила за гораздо меньшие проступки, только попытки предательства (например, Гапона)? Считалось, что он скрывается, но Бурцев нашел его и взял у него интервью! Азев умер своей смертью в 1918 г. Трудно придумать иное объяснение, чем то, что руководство партии знало о его сотрудничестве с властями и санкционировало его на определенных условиях.

[6] III книга Ездры не входит в еврейский канон: она относится к течению еврейской апокалиптики. Считается, что начало и конец есть вставки христианского переписчика, а центральная часть (откуда взяты цитаты) воспроизводит первоначальный иудейский материал (см. напр. «Библейский словарь» Дж. Гастингса).

полагает, что в эпоху, предшествующую разрушению Храма, большинство евреев уже жило в диаспоре, а Иудея играла роль культового и национального центра (очевидно, несколько напоминая современное государство Израиль).

Но чтобы не углубляться в эту цепь загадок, мы примем за данное ее конечное звено — рассеяние и изоляцию. Двадцать веков было прожито среди чужих народов в полной изоляции от всех влияний внешнего мира, воспринимаемого как «трефа», источник заразы и греха. Хорошо известны высказывания Талмуда и комментариев к нему, в которых с разных точек зрения разъясняется, что иноверца (акума) нельзя рассматривать как человека: по этой причине не следует бояться осквернить их могилы; в случае смерти слуги-акума не следует обращаться с утешением к его господину, но выразить надежду, что Бог возместит его убыток — как в случае падежа скота; по той же причине брак с акумом не имеет силы, его семя — все равно что семя скота, акумы — это животные с человеческими лицами и т. д. и т. п. Тысячи лет каждый год в праздник Пурим праздновалось умерщвление евреями 75 000 их врагов, включая женщин и детей, как это описано в книге Эсфири. И празднуется до сих пор — в Израиле по этому поводу происходит веселый карнавал! Для сравнения представим себе, что католики ежегодно праздновали бы ночь св. Варфоломея! Сошлюсь, наконец, на источник, который уж никак нельзя заподозрить во враждебности к евреям: известный сионист, друг и душеприказчик Кафки, Макс Брод в своей книге о Рейхлине сообщает об известной ему еврейской молитве против иноверцев с призывами к Богу лишить их надежды, разметать, низринуть, *истребить в одно мгновенье* и «в наши дни». Можно представить себе, какой неизгладимый след должно было оставить в душе такое воспитание, начинавшееся с детства, и жизнь, прожитая по таким канонам, и так из поколения в поколение — 20 веков!

Какое отношение к окружающему населению могло возникать на этой почве, можно попытаться восстановить по мелким черточкам, разбросанным во многих источниках. Например, в своем дневнике молодой Лассаль, не раз негодуя по поводу угнетенного положения евреев, говорит, что мечтал бы встать во главе их с оружием в руках. В связи со слухами о ритуальных убийствах он пишет:

«Тот факт, что во всех уголках мира выступают с подобными обвинениями, мне кажется, предвещает, что скоро наступит время, когда мы действительно освободимся пролитием христианской крови. Игра началась, и дело за игроками».

Если еще принять во внимание злобность и злопамятность, которые видны на каждой странице этого дневника, то легко представить себе, что такие переживания должны были оставить след на всю жизнь.

Или Мартов (Цедербаум), вспоминая страх, испытанный в трехлетнем возрасте при ожидании погрома (толпа была разогнана казаками еще до того, как дошла до дома Цедербаумов), задумывается: «Был бы я тем, чем стал, если бы на пластической юной душе российская действительность не поспешила запечатлеть своих грубых перстов и под покровом всколыхнутой в детском сердце жалости заботливо схоронить семена спасительной ненависти?»

Более явные свидетельства можно найти в литературе. Например, «спасительная ненависть» широко разлита в стихах еврейского поэта, жившего в России, — Х. Бялика:

Пусть сочится как кровь неотмщенная в ад,
И да роет во тьме и да точит как яд,
Разъедая столпы мирозданья.
«Да станет наша скорбь,
как кость у злого пса,
В гортани мира ненасытной;
И небо напоит, и всю земную гладь,
И степь, и лес отравой жгучей,
И будет с нами жить, и цвесть,
и увядать, —
И расцветать еще могучей»;
«Я для того замкнул в твоей гортани,
О человек, стенание твое;
Не оскверни, как те, водой рыданий
Святую боль святых твоих страданий,
Но береги нетронутой ее.
Лелей ее, храни дороже клада
И замок ей построй в твоей груди,
Построй оплот из ненависти ада —
И не давай ей пищи кроме яда
Твоих обид и ран твоих и жди,
И возрастет взлелеянное семя,
И жгучий даст и полный яду плод —
И в грозный день,
когда свершится время,
Сорви его — и брось его в народ!»
«Из бездны Авадонна вознесите песнь
о Разгроме,
Что, как дух ваш, черна от пожара,
И рассыпьтесь в народах,
и все в проклятом их доме
Отравите удушьем угара;
И каждый да сеет по нивам их семя распада
Повсюду, где ступит и станет.
Если только коснется чистейшей
из лилий их сада,
Почернеет она и завянет;
И если ваш взор упадет на мрамор
их статуй —
Треснут, разбиты надвое;
И смех захватите с собою,
горький проклятый,
Чтоб умерщвлять все живое».

Презрение и брезгливость к русским, украинцам, полякам, как к существам низшего типа, недочеловекам, ощущается почти в каждом рассказе «Конармии» И. Бабеля. Полноценный человек, вызывающий у автора уважение и сочувствие, встречается там только в образе еврея. С нескрытым отвращением описывается, как русский отец режет сына, а потом второй сын — отца («Письмо»), как украинец признается, что не любит убивать, расстреливая, а предпочитает затаптывать насмерть ногами («Жизнеописание Павличенко, Матвея Родионыча»). Но особенно характерен рассказ «Сын Рабби». Автор едет в поезде вместе с отступающей армией.

«И чудовищная Россия, неправдоподобная, как стадо платяных вшей, затопала лаптями по обе стороны вагонов. Тифозное мужичье катило перед собой привычный гроб солдатской смерти. Оно прыгало на подножки нашего поезда и отваливалось, сбитое прикладами».

Но тут автор видит знакомое лицо: «И я узнал Илью, сына житомирского рабби». (Автор заходил к раввину в вечер перед субботой — хоть и политработник Красной Армии — и отметил «юношу с лицом Спинозы» — рассказ «Гедали».) Его, конечно, сразу приняли в вагон редакции. Он был болен тифом, при последнем издыхании и там же, в поезде, умер. «Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий и портянок. Мы похоронили его на забытой станции. И я — едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения,— я принял последний вздох моего брата».

Холодное отстранение от окружающего народа часто передают стихи Э. Багрицкого, в стихотворении же «Февраль» прорывается крайняя ненависть. Герой становится после революции помощником комиссара:

Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая до отказа...
Я много дал бы, чтобы мой пращур
В длиннополом халате и лисьей шапке,
Из-под которой седой спиралью
Спадали пейсы и перхоть тучей
Взлетает над бородой квадратной...
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне
Над летящими фарами и штыками
Грузовика, потрясшего полночь.

Однажды во время налета на подозрительный дом автор узнает девушку, которую он видел еще до революции, она была гимназисткой, часто проходила мимо него, а он вздыхал, не смея к ней подойти. Однажды попытался заговорить, но она его прогнала... Сейчас она стала проституткой...

Я — Ну, что! узнали?
Тишина.
— Сколько дать вам за сеанс?
И тихо,
Не раздвинув губ, она сказала:
— Пожалей меня! Не надо денег...
Я швырнул ей деньги,
Я ввалился,
Не стянув сапог, не сняв кобуры,
Не расстегнув гимнастерки.
Я беру тебя за то, что робок
Был мой век, за то, что я застенчив,
За позор моих бездомных предков,
За случайной птицы щебетанье!
Я беру тебя как мщенье миру,
Из которого не мог я выйти!
Принимай меня в пустые недра,
Где трава не может завязаться,
Может быть, мое ночное семя
Оплодотворит твою пустыню.

Мне кажется, пора бы пересмотреть и традиционную точку зрения на романы Ильфа и Петрова. Это отнюдь не забавное высмеивание пошлости эпохи нэпа. В мягкой, но четкой форме в них развивается концепция, составляющая, на мой взгляд, их основное содержание. Действие их как бы протекает среди обломков старой русской жизни, в романах фигурируют дворяне, священники, интеллигенты — все они изображены как какие-то нелепые, нечистоплотные животные, вызывающие брезгливость и отвращение. Им даже не приписывается каких-то черт, за которые можно было бы осудить человека. На них вместо этого ставится штамп, имеющий целью именно уменьшить, если не уничтожить, чувство общности с ними как с людьми, оттолкнуть от них чисто физиологически: одного изображают голым, с толстым отвисшим животом, покрытым рыжими волосами; про другого рассказывается, что его секут за то, что он не гасит свет в уборной... Такие существа не вызывают сострадания, истребление их — нечто вроде веселой охоты, где дышится полной грудью, лицо горит и ничто не омрачает удовольствия.

Эти чувства, пронесенные еще одним поколением, дожили до наших дней и часто прорываются в песнях бардов, стихах, романах и мемуарах. Бурный взрыв тех же эмоций можно наблюдать в произведениях недавних эмигрантов. Вот, например, стихотворение недавно эмигрировавшего Д. Маркиша, напечатанное уже в Израиле в журнале «Сион»:

Я говорю о нас, сынах Синая,
О нас, чей взгляд иным теплом согрет.
Пусть русский люд ведет тропа иная,
До их славянских дел нам дела нет.
Мы ели хлеб их, но платили кровью.
Счета сохранены, но не подведены.
Мы отомстим — цветами в изголовье
Их северной страны.
Когда сотрется лаковая проба,
Когда заглохнет красных криков гул,
Мы станем у березового гроба
В почетный караул...

В статье, опубликованной в другом израильском журнале, читаем:

«Народу «богоносцу» мало огромной конформированной страны, ему нужна также жемчужина, т. е. Святая Земля... Ему хочется этой недоступной ему святости, и хотя он сам — погрязший в презрении к самому себе и ко всем остальным, даже не знает, что ему с этой святостью делать, потому что в его языческих-христианском представлении святость не живая и не может освятить мир, он все ждет своего часа самодура-палача. И в его темном инстинкте это вызывало и вызывает чудовищные порывы ненависти к Израилю — носителю святости живой»[7].

Под конец приведем выдержку из жур-

[7] Автор, по-видимому, совершенно не чувствует иронии того, что он обвиняет в «порывах ненависти» кого-то другого, хотя его самого в этом вряд ли можно превзойти.

нала, издающегося на русском языке в Торонто:

«Не премолчи, Господи, вступись за избранных твоих, не ради нас, ради клятвы твоей отцам нашим — Аврааму, Исааку и Якову. Напусти на них Китайца, чтобы славили они Мао и работали на него, как мы на них. Господи, да разрушит Китаец все русские школы и разграбит их, да будут русские насильно китаизированы, да забудут они свой язык и письменность. Да организует он им в Гималаях Русский национальный округ».

Часто приходится слышать такой аргумент: многие поступки и чувства евреев можно понять, если вспомнить, сколько они испытали. Например, некоторые стихи Бялика написаны под впечатлением погромов, у Д. Маркиша отец расстрелян при Сталине по «процессу сионистов», другие помнят черту оседлости, процентную норму или какие-то более поздние обиды. Здесь надо еще раз подчеркнуть, что мы не собираемся в этой работе никого судить, обвинять или оправдывать. Сама постановка такого вопроса вряд ли имеет смысл: оправдывает ли унижение немцев по Версальскому миру национал-социализм? Мы хотели бы только представить себе, что происходило в нашей стране, какие социальные и национальные факторы и как на ее историю влияли.

Начиная с пореформенных 60-х годов в России у всех на устах появилось слово «революция». Это был явный признак приближающегося кризиса. И как другой его признак—стал формироваться «Малый Народ» со всеми присущими ему чертами. Создавался новый тип людей, вроде молодого человека (о нем рассказывает Тихомиров), с гордостью произносившего: «Я отщепенец», или Ишутинского кружке «Ад», в программе которого стояло: «Личные радости заменить ненавистью и злом — и с этим научиться жить». Но можно понять, какая это была мучительная операция, как трудно было отрывать человека от его корней, как бы выворачивать наизнанку, как для этого надо было осторожно, шаг за шагом посвящать его в новое учение, подавлять силой авторитетов. И насколько проще все было с массой еврейской молодежи, не только не связанной общими корнями с этой страной и народом, но и воспринявшей с самого детства враждебность именно к этим корням; когда враждебная отчужденность от духовных основ окружающей жизни усваивалась не из книг и рефератов, а впитывалась с раннего детства, часто совершенно бессознательно, из интонаций в разговорах взрослых, из случайно услышанных и запомнившихся на всю жизнь замечаний! И хотя чувства, отразившиеся в приведенных выше отрывках, вероятно, испытывали далеко не все евреи, но именно то течение, которое было ими проникнуто, с неслыханной энергией вторгалось в жизнь и смогло оказать на нее особенно сильное и болезненное влияние.

Надо признать, что кризис нашей истории протекал в совершенно уникальный момент. Если бы в то время, когда он разразился, евреи вели такой изолированный образ жизни, как, например, во Франции во время Великой революции, то они и не оказали бы заметного влияния на его течение. С другой стороны, если бы жизнь местечковых общин стала разрушаться гораздо раньше, то, возможно, успели бы окрепнуть какие-то связи между евреями и остальным населением, отчужденность, вызванная двухтысячелетней изоляцией, не была бы так сильна. Кто знает, сколько поколений нужно, чтобы стерлись следы двадцативековой традиции? — но нам практически не было дано ни одного, прилив евреев в террористическое движение почти точно совпал с «эмансипацией», началом распада еврейских общин, выходом из изоляции. Пинхус Аксельрод, Геся Гельфман и многие другие руководители террористов происходили из таких слоев еврейства, где вообще нельзя было услышать русскую речь. С узелком за плечами отправлялись они изучать «гойскую науку» и скоро оказались среди руководителей движения. Совпадение д в у х кризисов оказало решающее воздействие на харвктер той эпохи. Вот как это виделось еврейским наблюдателям (все по той же книге «Россия и евреи»):

«И, конечно, не случайно то, что евреи, так склонные к рационалистическому мышлению, не связанные в своем большинстве никакими традициями с окружающим их миром, часто в этих традициях видевшие не только бесполезный, но и вредный для развития человечества хлам, оказались в такой близости к этим революционным идеям».

И как закономерное следствие:

«Поражало нас то, чего мы всего менее ожидали встретить в еврейской среде: жестокость, садизм, насильничание, казалось, чуждые народу, далекому от физической воинственной жизни, вчера еще не умевшие владеть ружьем, сегодня оказались среди начальствующих головорезов».

Эта примечательная книга кончается словами:

«Одно из двух: либо иностранцы без политических прав, либо русское гражданство, основанное на любви к родине. Третьей возможности нет».

Но нашлось течение, выбравшее именно третий, «невозможный», с точки зрения авторе, путь. Не только нелюбовь к родине, а полная отчужденность, активная враждебность ее духовным началам и не только не отказ от политических прав, но напряжение всей воли и сил для воздействия на жизнь страны. Такое соединение оказалось поразительно эффективно; оно создало «Малый Народ», который по своей действенности превзошел все другие варианты этого явления, возникшие в Истории.

О гранинском «Зубре» журнал писал не раз. В полемику втянулись многие издания. Реальная судьба главного героя повести вызывала разноречивые оценки. И вот наконец наступил день, когда можно подвести итог жарких споров — широкому читателю становятся известны результаты официального, объективного расследования по делу М. Тимофеева-Ресовского.

Д. ИЛЬИН, В. ПРОВОТОРОВ, генерал-майор юстиции, старший помощник главного военного прокурора; заслуженный юрист РСФСР

КТО ВЫ, ДОКТОР ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ?

Пустили слух, что в Германии он работал ка гитлеровцев...
Д. Гранин (повесть «Зубр»).

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ директора Берлинского научно-исследовательского института мозга профессора О. Фогта и по решению Наркомздрава Н. Тимофеев-Ресовский, бывший в 1925 году сотрудником Московского института экспериментальной биологии, выехал вместе с женой и сыном в командировку в Германию. Там до 1937 года он работал научным сотрудником отдела генетики и биофизики.

В 1937 году, после ухода профессора Фогта в отставку, отдел генетики и биофизики отделился от института мозга и был преобразован в самостоятельное научно-исследовательское учреждение — Отдел (или согласно некоторым документам и показаниям — институт) генетики, который возглавил Н. Тимофеев-Ресовский.

В этой должности он работал в интересах Германии до мая 1945 года. В сентябре 1945 г. ученый был задержан в Берлине, этапирован в Москву, арестован и Военной коллегией Верховного суда СССР осужден (4 июля 1946 г.) за измену Родине к 10 годам лишения свободы, поражением прав сроком на 5 лет и конфискацией имущества (ст. 58-1 «а» УК РСФСР).

С 1947 года Тимофеев-Ресовский работает в закрытом учреждении над проблемой биологической защиты в рамках программы создания атомной бомбы.

12 марта 1955 года Президиум Верховного Совета СССР снял с Н. Тимофеева-Ресовского судимость и поражение в правах.

В 1981 году в возрасте 81 года ученый умер в г. Обнинске.

Вот такая сухая сводка цифр и фактов. Но даже в ней, в этой бесстрастной сводке, угадывается вещь до удивления абсурдная, вызывающая тревожное беспокойство, растерянность, — словом, неясные, смешанные чувства. Да, впрочем, какие иные чувства может вызвать такая биография у любого человека, в той или иной степени опаленного войной? Вдуматься только: идет война, Отчизна истекает кровью, тотальное зверство фашистов буквально затмило прошлые грехи человечества, гибнут народы, целые нации, море слез и потерь... А в это время в логове врага под тихую, умиротворяющую музыку творческого вдохновения трудится на благо фашистской Германии советский ученый, получающий за свой вдохновенный труд деньги из окровавленных рук.

Один только этот вопиющий аморализм сам по себе неприемлем для любого совестливого человека. Здесь не требуются ни пояснения, ни хитроумная словесная эквилибристика, — словом, ничего, что могло бы поколебать мужественное и честное сознание: Родина — это то, что не продается, не покупается, не дробится в душе по частям: этой части верен, а этой — нет; Родина — это то, что, как святая любовь, пронизывает всю человеческую душу раз и навсегда. Полностью, без остатка. Без оговорок. Без лукавых разноцветных истин, тайно обольщенных эгоизмом и заурядными страстями. В лихолетье Родину можно только защищать...

Кажется, как просто, не правда ли? Увы, это только кажется. Нынешнему «новому мышлению», так оперативно оприходованному «демократической» печатью, как-то особенно по душе пришелся так называемый «плюрализм». Издевательством над здравым смыслом можно назвать этот «плюрализм» на практике, когда вся «демократическая» печать, что называется, изощряется в групповом монологе и с помощью «плюрализма» ревизует и растаскивает по кастовым интересам святые, б е з о г о в о р о ч н ы е понятия, традиции, предания. Их вакуум заполняют и н т е р е с ы и ц е л и. Политические. Национальные. Кастовые.

Еще не создан «социалистический рынок», но нравственность уже становится товаром.

И в этом смысле история с Н. Тимофеевым-Ресовским оказалась весьма поучительной.

Так вот представьте себе, читатель, совсем иной, более предприимчивый взгляд на эту биографию: ученый с мировым име-

нем всю войну работает в тылу врага. Ну чем не сенсация?! А ну как у м е л о п о д а т ь этот материалец! И сделать вот что: отодвинуть, приглушить, а то и вовсе схоронить суть происходящего, поменять и подменить факты, понятия, вложить в уста свидетелей то, что хочется услышать, нагородить со слов самого героя такие словесные эвересты, которые весьма надежно схоронят от читательского внимания все самое главное и непристойное, и все это окропить ароматизированной водицей лирики, пощипывающей душу сентиментального обывателя.

Так, не мудрствуя особо, и поступил писатель Д. Гранин, сочинив теперь уже ставшую популярной повесть «Зубр». Да, расчет его оправдался: читатель «клюнул», а вскоре отозвались и авгуры-критики. «Зубр» на год-полтора стал одной из основных шестеренок в приводе механизма по перекройке патриотического сознания. И явилась вдруг мысль, что Родина — понятие условное, что при известных обстоятельствах претензии к ней могут превысить весомый смысл ее и что, оказывается, вообще можно объяснить, понять и, наконец, оправдать любой аморализм, если примерить к нему «новое, нестандартное» мышление (раздел «полемики» в «Литературной газете», о которой пойдет речь ниже и в которой судьбу Зубра возносят до небес, так и называется: «Примерьтесь!», словно речь идет о новом модном платье).

Писать о том, как неумело кроил этот «кафтан» автор, — значит еще раз высказаться о беллетристических возможностях Героя Социалистического Труда писателя Даниила Гранина. Однако об этом уже говорилось подробно (см. статью «Неприкасаемая литература». — «Наш современник», 1989, № 6).

И речь сейчас о другом.

О самом герое повести — о Н. Тимофееве-Ресовском.

Если внимательно приглядеться к «плюралистическому» буму по поводу «Зубра», то глаз невольно замечает какую-то повышенную, близкую к эйфории бойкость, так характерную для всех форм одевания «голого короля». Не покидает ощущение, что громкость и ее масштаб становятся как бы самоцелью. А это происходит всегда и везде там, где с помощью расчетливой суматохи хотят что-то скрыть, спрятать, утаить.

А утаивать надо многое. Очень многое!..

Поразительный феномен! Всем «адвокатам» Н. Тимофеева-Ресовского хорошо известно, что он работал в Германии; они, без сомнения, знают, что такое фашистская Германия, а тем более воюющая; не секрет для них и факт осуждения ученого в 1946 году. Следовательно, — должны знать они, — существует в судебных анналах его *подлинная, документальная, фактическая биография*, с которой они, как минимум, обязаны были ознакомиться, прежде чем затевать грандиозный публичный спектакль. А коль скоро время не приспело для ознакомления — следовало терпеливо ждать его. Готовые решения по поводу любой криминальной истории абсурдны без правовой ее оценки, а между тем ныне стало чуть не правилом — сенсацией опережать факты.

Но что нашим «плюралистам» факты, документы, неопровержимые свидетельства! Напротив! Именно активная забота об их отсутствии с одновременным ураганом страстей вокруг иных, целевых для «плюралистов» предметов и составляют суть понимаемой ими гласности. Для них нет, например, жесточайшего неоправданного н е с т а л и н с к о г о террора в 20-х, но есть только 37-й год; для них нет высочайшей духовной русской истории, но есть только Иван Грозный; для них нет зажиточной крестьянской России, но есть только нищая и лапотная... Многое они запамятовали и жаждут ввергнуть нас в это вожделенное состояние. Надолго. Навсегда...

Надо ли удивляться, что при таком беспамятстве имя Сталина, чья вина чудовищна и неоспорима, оказалось удобной сточной канавой, в которую «плюралисты» спускают все фекалии истории. И заметьте, какое при этом создается шикарное алиби для сонмища палачей!

Но уж коль скоро Сталин во всем виноват, то есть за всех в ответе, то все суть агнцы божии, особенно те, чья подмоченная репутация позарез нужна в расчетливой дискредитации высших традиционных ценностей.

Так и был создан «святой лик» Н. Тимофеева-Ресовского. Была сконструирована, иными словами, д р у г а я, кому-то очень нужная в таком виде биография ученого. В ней почти нет фактов, т е х ф а к т о в, зато сколько эмоций и словословий!

У нас есть возможность сравнить две биографии ученого: фактическую и сделанную (раньше говорили — сфабрикованную). Такое сопоставление дает возможность читателю обозреть не только частную модель манипуляции массовым сознанием, но и понять, как нам думается, общие принципы такой манипуляции.

(Коротко об уточняющих обстоятельствах. 8 августа 1987 г. сын Н. Тимофеева-Ресовского — А. Н. Тимофеев подал в Верховный суд СССР заявление с просьбой о реабилитации отца. Одновременно поступили аналогичные заявления из НИИ и учебных заведений с подписями должностных лиц: академиков Дубинина Н. П., Вонсовского С. В., Газенко О. Г., Бочкова Н. П., членов-корреспондентов АН Свердлова Е. Д., Иванова В. И., Валькенштейна М. В., Фейнберга Е. Л., Яблокова А. В., профессоров Воронцова Н. Н., Корогодина В. И., режиссера студии «Центрнаучфильм» Сакаяна Е. С. и др. В заявлениях перечисляются заслуги ученого, однако каких-либо доказательств невиновности Н. Тимофеева-Ресовского в измене Родине не приводится. В связи с этим Главной военной прокуратурой было возбуждено «производство по вновь открывшимся обстоятельствам» по уголовному делу в отношении Тимофеева-Ресовского Н. В.

Фактическая биография, таким образом, была дополнена новыми фактами и свидетельствами.)

«Целевая» биография «сшита» как бы из двух кусков — повести «Зубр» и публичной «адвокатуры» Зубра в виде статей, выступлений, дискуссий. Апогеем «адвокатского надзора» стал «круглый стол» в «Литературной газете» (№ 27, 1988 г.) с лукаво-предприимчивой хозяйкой «стола» — сотрудницей газеты И. Ришиной. В этой встрече приняли участие семнадцать человек: «писатель А. Адамович, кандидат технических наук В. Геодакян, кандидат биологических наук Ю. Григорович, доктор физико-математических наук В. Иванов, член-корреспондент АМН СССР Вл. Иванов, доктор филологических наук Вяч. В. Иванов, писатель Ю. Карякин, доктор биологических наук В. Корогодин, доктор технических наук В. Налимов, участник берлинского подполья Н. Нумеров, кандидат биологических наук И. Полетаева, искусствовед М. Реформатская, режиссер «Центрнаучфильма» Е. Сакаян, главный редактор журнала «Вопросы истории естествознания и техники» Б. Юдин, доктор биологических наук А. Ярилин, корреспондент отдела науки «ЛГ» Л. Загальский, сотрудник газеты И. Ришина». Все семнадцать человек как один вдохновенно слагали портрет «святого» и все как один разносили не приглашенных к «столу» оппонентов, желавших очень немногого — всестороннего подхода к этой тонкой и деликатной проблеме. А называлась в газете эта хоровая мистерия так, как называется сегодня все, на что существует монополия, выдаваемая за «плюрализм», — «п о л е м и к а», другими словами, с п о р, предполагающий столкновение р а з н ы х точек зрения.

1. Невозвращенец

В 1937 году Н. Тимофеев-Ресовский отказался вернуться на Родину.

Дополнительное расследование, проходившее в 1988—1989 гг., то есть в период демократизации общества, и таким образом избавленное от субъективистского произвола, восстановило правовую справедливость: невозвращение Н. Тимофеева-Ресовского в тех конкретных обстоятельствах не может быть квалифицировано как измена Родине.

При таком существенном повороте дела уместно было бы и ограничиться правовой его стороной, кабы не жгучая потребность наших «плюралистов» обелить Зубра за счет предельного очернения Родины. И обойти молчанием такую лихость решительно невозможно. Ведь правовая оценка — это еще не моральный счет.

Да, сегодня мы по-другому воспринимаем эмиграцию. Добрее. Отзывчивее. Милосерднее. Не каждый покинувший Родину враг ей...

Но не каждый из них и друг.

Можно ли умиляться сегодняшними визитерами, этими «бывшими», что не так уж и давно топтали пороги ОВИРа, а теперь рядятся в тогу страстотерпцев, которых «лишили» Родины? Можно ли без содрогания слышать вопли ополоумевших дикарей: «Россия-сука! Ты ответишь и за это»? Да и не только слышать, но и читать нынче их откровения в российском журнале?! Можно ли когда-нибудь смириться с мыслью, что чувство патриотизма устарело, обветшало, вышло в тираж и что его так просто превратить в «понятие», которым легко спекулировать?

«А почему я должен ехать (то есть возвращаться на Родину. — *Д. И., В. П.*), — ерничает в «полемике» «Литгазеты» писатель А. Адамович. — Ну как? Ты патриот? — Патриот. — Возвращайся, мы отрубим тебе голову как патриоту...».

37-й год был, без сомнения, трагическим. И можно только порадоваться, что крупный ученый не попал в репрессивную мясорубку. Но наши «полемисты», умные и отчаянно храбрые задним числом, откровенно блефуют. Дело в том, что Н. Тимофеев-Ресовский остался в Германии вовсе не потому, что опасался репрессий. Нет никаких доказательств того, что он знал или догадывался об этом.

Судите сами.

От своего учителя Кольцова и зарубежных коллег Зубр, согласно повести, знает только о тревожных событиях в советской биологии. Сам Кольцов, уволенный из университета, не пугает Зубра апокалипсисом, а уверяет: жди, «пока страсти не улягутся», «скоро все образуется». Более того, «примерно в это же время», читаем мы в повести, Зубр получает заманчивые предложения с Родины и всерьез обдумывает возвращение.

Так что не ерничайте, «полемисты», не сотрясайте воздух в негодовании: сознанием Зубра в 1937 г. владели совсем иные страсти — комфортного душевного самоустройства. И, увы, даже не возникла элементарная совестливая озабоченность: тяжко приходится любимому учителю, друзьям-ученым, коллегам, корифею Вавилову, советской науке, наконец. Тут уж сам бог велел, пользуясь к тому времени широкой международной репутацией, о которой нам твердят неустанно, ехать в Москву. Просто к своим (черт с ней, с родиной, которая для Зубра равна хаму-чиновнику из посольства)! К своим — на помощь! Быть с ними рядом и использовать, как выдающийся ученый и патриот Петр Капица, весь свой признанный авторитет, добиваться справедливости и бороться, как это делает Зубр по повести якобы всегда и везде.

Увы... Читаем в повести: «его самого удерживал разворот лабораторных исследований!» Ах, вот оно что! Ну конечно, конечно. Какая уж там, смешно сказать, родина, учителя, друзья! Тут, извините, исследовательский разворот... «Не вернулся — и точка, и з а б ы л (разрядка наша. — *Д. И., В. П.*), и окунулся в свою биологическую немецкую буховскую жизнь», — подытоживает повесть. Вот так, словно копеечку потерял, — развел руками и забыл. Одно слово — мелочь жизни.

Из материалов следствия по поводу невозвращения: «занимал хорошее положение и был доволен своей работой, т. к. именно в 1937 г. стал возглавлять Отдел генетики института мозга Кайзера Вильгельма в г. Берлин-Бухе» (из протокола допроса сотрудника отдела Борна, т. 1, л. д. 284. — Здесь и далее дается ссылка на номера томов и листов уголовного дела в отношении Тимофеева-Ресовского Н. В.).

Почему мы с такой расточительностью, как бы притормаживая разбег мысли, оглядываем частные детали, когда впереди нас ждут решающие откровения? Дело в том, что здесь, в классической проблеме «выбора», уже обозначилась суть всей дра-

мы Н. Тимофеева-Ресовского, затем лишь развившейся с неизбежной логикой. Необходимо, следовательно, со всей основательностью проанализировать нравственно-психологические причины невозвращения ученого, чтобы понять: путь к предательству был не случаен, но в высшей степени предопределен.

Заметим: разные причины влияли на невозвращение, но определяющим аргументом, без сомнения, был личный научный интерес ученого. Профессиональная одержимость, талант, преданность науке — всё то, что с таким азартом обыгрывается «адвокатами» Зубра (учеными по преимуществу) и что, по сути, составляет лишь деловые качества человека, — всё это не только не «покрывает» аморальных прорех, но, напротив, при известных обстоятельствах входит в вопиющее противоречие с этикой.

По мере развития науки, научных знаний все более отчетливо в мировой социальной жизни стала выделяться особая каста избранных — жрецов науки. Трагически разорванное сознание XX века стимулировала особость, самодостаточность этой касты, до полной изолированности ее от целостности общественного бытия с его долгом, ответственностью, этической взаимосвязью. Этому в немалой степени способствовало и то обстоятельство, что наука и техника по сути своей являются *этически нейтральными* сферами человеческого деяния, ибо только фиксируют законы материального мира, например, что дважды два — четыре.

Такое служебное, казалось бы, равное среди прочих, ремесло вырабатывает тем не менее в XX веке, опрокинувшем вообще все понятия естественного бытия, особую психологию избранности, внерасположенности по отношению к миру ценностей. Жрецам науки начинает казаться, что ученая осведомленность, поиск еще не опознанных связей в материальном мире и составляет суть человеческого бытия. Внедрилась в жизнь и стала модной даже целая философия такого мироустройства, так называемый «сциентизм».

«Все ученые, — читаем мы в повести Д. Гранина, — связаны между собой... У них действует некое международное сообщество, братство, система оповещения к взаимовыручки».

Как же попадают в эту касту, то есть, простите, в братство?

Ученый, целеустремленно зрящий за горизонты прогресса, прежде всего огораживает свой талант от общественных вериг. Он — демиург, талант, избранный. Он утверждает себя, ибо единственным и жгучим стимулом его саморазвития является личный интерес и любознательность.

Это романтическая стадия становления ученого.

А далее — всё для *дела*, для *своего дела*, для *своего становления*, для выхода на уровень. Эгоистическая устремленность в сочетании с крупным талантом рождают одержимость, рождают цель, ради которой все средства хороши, ибо этически оценивать эти средства ученый уже не в состоянии.

Эта стадия иногда называется *аполитичностью*. Более точно — аморализмом, ибо она, эта стадия, рождает фактически сверхчеловека, который уже неизбежно — без Бога в душе — живет по принципу «всё дозволено».

Ученый, изначально ориентированный на самоутверждение в науке, лишенный чувства общественного сопричастия и глубоких традиционных отечественных корней, — словом, всего того, что побуждает человека оценивать содеянное, — такой ученый неизбежно выпадает из сферы нравственных категорий и при драматических обстоятельствах может быть способен на все.

Нам думается, судьба Н. Тимофеева-Ресовского — яркий тому пример.

Взглянем только на одну сторону его «аполитичности» — на отношение к Родине, к Советской власти, за которую он, как явствует из повести, даже воевал на гражданской. Д. Гранин, отдав щедрую дань *аполитичности героя* (аполитичность — важнейший аргумент оправдания Зубра в повести), бог весть по какой логике при этом неустанно повторяет о его патриотизме, тоске по Родине, о том, что ученый оставался советским при всех искусах судьбы. Для иллюстрации этого испепеляющего чувства Зубра нам понадобилось бы процитировать добрую четверть повести.

Иного мнения на этот счет держался сам Н. Тимофеев-Ресовский, заявивший в суде на основании неопровержимых доказательств: «Я не был стопроцентным советским человеком...» (т. 1, л. д. 320).

Допрошенный по делу Царапкин М. Р., сотрудник института мозга в Берлин-Бухе, показал, что Тимофеев-Ресовский по своим убеждениям имел «правые» настроения и представлял собою человека с антисоветскими взглядами. Имел связи с белоэмигрантами и другими лицами, враждебно настроенными к СССР (т. 1, л. д. 200—207, 218—227).

Директор института мозга О. Фогт, рекомендовавший в 1925 году Тимофеева-Ресовского для работы в отделении генетики, утверждал, что последний и его жена «являются противниками коммунизма» (т. 5, л. д. 110—111).

В письме (от 13 июля 1938 г). политкомиссара Общества содействия наук им. Кайзера Вильгельма Грауэ на имя профессора Ландта дается характеристика Тимофеева-Ресовского как ярко выраженного противника коммунизма, который в июле 1935 г. вступил в «Немецкий рабочий фронт» (фашистская профсоюзная организация) (т. 5, л. д. 252—255).

При изучении переписки Тимофеева-Ресовского следствие обратило внимание на такой факт: вместо обычной протокольной фразы, *принятой в то время среди немецких ученых*, он еще в 1936 г., являясь гражданином СССР, подписал свое письмо президенту Общества им. Кайзера Вильгельма Максу Планку нацистским приветствием «Хайль Гитлер» (т. 5, л. д. 159, 160. 163).

Свидетельница Ш. Треттин, работавшая в Отделе генетики, показала, что Тимофеев-Ресовский принимал участие в нацистской демонстрации (т. 9, л. д. 180).

Профессор Цейсс 18 ноября 1933 г. писал: «Через доктора Рабля мне известно, что работающий в институте в Бухе в качестве ассистента Тимофеев является не большевиком, а белогвардейцем» (т. 5, л. д. 126—127).

Штандартенфюрер СС Сиверс в письме от 4 декабря 1944 г. на имя штурмбаннфюрера СС Шефера говорит об уважении к большим заслугам и признанию, которыми пользовался Н. Тимофеев-Ресовский в нацистской Германии (т. 10, л. д. 51—55).

Любопытна в этом смысле судьба директора института мозга (куда входил до 1937 г. Отдел генетики) Оскара Фогта — его основателя, инициатора приглашения Тимофеева-Ресовского в Германию. Несмотря на принятую им в 1934 г. присягу на верность фюреру, он был уволен со своего поста в 1937 г. за просоветские симпатии, а в тот же период Отдел генетики стал возглавлять Тимофеев — советский гражданин (а между тем конфронтация СССР и Германии в то время — в период испанских событий — достигла апогея).

Из документа, поступившего в марте 1942 г. на имя Тимофеева-Ресовского из имперского управления экономического строительства, следует, что он имел соответствующий допуск на право ознакомления с секретными документами «третьего рейха», к которым имели доступ только *благонадежные и проверенные лица* (т. 5, л. д. 18—19).

В 1945 г. по поручению начальника Берлинского института мозга подполковника Г. Шпатца, являвшегося одновременно уполномоченным абвера, Тимофеев-Ресовский выделил для ведения контрразведывательной работы своего сотрудника нациста Г. Борна, который периодически информировал Тимофеева-Ресовского о «подозрительных» связях сотрудников.

Из показаний Г. Борна: «С начала 1944 г. и по 1945 г. мною были установлены случаи общения двух учениц института (немок)... с французскими военнопленными. Об этом я донес Тимофееву-Ресовскому. Последний имел с этими лицами разговор и предупредил, чтобы они прекратили связи с французскими военнопленными» (т. 1, л. д. 284—285).

Любопытный факт, не правда ли, свидетельствующий о косвенном сотрудничестве ученого с абвером? Это обстоятельство вменялось ему в вину в ходе следствия 1945 г. Любопытно и другое: сам Тимофеев-Ресовский среди прочих был объектом наблюдения другого уполномоченного абвера в Отделе генетики — В. Пютца. Вот что тот показал при допросе: «Тимофеев считался политически благонадежным к существующему строю в Германии» (т. 10, л. д. 88—89).

В докладной записке на имя начальника отдела здравоохранения СВА генерал-майора Кузнецова А. Я. научные сотрудники Отдела генетики Варшавский С. Н., Крылова К. Т. и Лукьянченко И. И. в январе 1946 г. писали: «Профессор Тимофеев был назначен Военным советом Первого Белорусского фронта директором института с обязательством сохранить штат сотрудников и оборудование института и полностью развернуть научно-исследовательские работы» (т. 5, л. д. 64—65).

Как же выполнил указание Советской власти советский гражданин-патриот, по Д. Гранину, с терпеливым упорством дожидающийся своих, родных — победителей?

В повести вот как (со слов О. Цингера): «Первая задача была оградить институт от всяких грабежей и порчи оборудования. Для этого был послан Селинов с группой плакатов, написанных мною, чтобы он развесил эти плакаты на территории. По-русски было написано, что это научный институт, запрещается ломать, портить, брать... Первое время плакаты не помогали».

Текст Д. Гранина: «В институте хранились запасы метилового спирта. Зубр приказал уничтожить его, чтобы избежать несчастных случаев. Ночью сотрудники спустили весь спирт в канализацию».

Впечатление, что Д. Гранин даже не подозревает, как унизительна для армии-освободительницы вся эта «развесистая клюква». Не забудем, ведь это же 1945 г. — год избавления Европы от фашистской чумы. При чем здесь порча оборудования, даже если такие эпизоды и были? Можно ли сопоставлять, сращивать несопоставимые события? Ведь читательское внимание не в вакууме пребывает. Оно же к этому времени «настрадалось» (по замыслу Д. Гранина). Правда, не от ужасов кровавой войны, но от «тоски» Зубра по родине, от его мифической антифашистской борьбы. И каково теперь иссохшемуся от сострадания читателю воспринимать, как сотрудники Буха грудью закрывают «амбразуры» в храме науки? И от кого? От «дикарей», которые все-таки ломают. Читатель, надо полагать, невольно сочувствует Зубру и его команде.

Все правильно и логично в этой системе ценностей, Зубр изменой Родине сберегает себя для науки, а затем сохраняет научное оборудование от армии-победительницы.

Неужели все-таки сохраняет?

Да. Сохраняет.

Но не так, как в этих баснях. А совсем с иным, зловещим смыслом.

Вот бесстрастный протокольный отчет, как выполнял Зубр указание столь им долгожданной Советской власти. Выписка из акта комиссии от 11 октября 1945 г.: «Ввиду явного желания ответственных работников института укрыть от демонтажа ценные предметы оборудования комиссия произвела обыск не только помещений института, но также и зданий, прилегающих к институту. При этом было обнаружено в подвале дома, в котором живут руководящие сотрудники института, много ценного оборудования для лабораторий института».

Из показаний секретаря канцелярии Отдела генетики В. Пютца: «...боясь, что оборудование института при занятии войсками Красной Армии поселка Бух будет вывезено в СССР, Тимофеев-Ресовский и доктор Циммер спрятали часть наиболее ценного оборудования института» (т. 3, л. д. 250).

На основании вышеизложенного «комиссия констатировала организованный сабо-

таж приказаний командования Красной Армии со стороны руководства института» (т. 3, л. д. 242—245).

Вот так решалась проблема с оборудованием в Бухе, а не с помощью плакатов, призванных отпугнуть «дикарей-освободителей».

Четыре года разоряли и грабили фашисты нашу страну. За счет этого награбленного богатства и богатства порабощенной Европы содержался весь военный и научный потенциал Германии, включая, разумеется, и учреждения Буха. А теперь все еще прикованный цепью сознания к бывшим хозяевам, которые кормили, Зубр с таким рвением сберегал хозяйские ценности, призванные, по законам войны, хоть в самой минимальной степени компенсировать наши чудовищные потери.

Так что «аполитичность» на поверку оказывается просто скрытым самообманом в претензиях крупного таланта, который всегда и везде может самозабвенно служить любой системе, способной удовлетворить его тщеславие.

«Антисоветскую настроенность» легко сегодня, когда речь заходит о 30-х годах, перевести (даже беспричинно) в разряд «антисталинизма», то есть в позицию заведомо выигрышную. Именно так и желают поступить «плюралисты» по отношению к Зубру. И хотя мы старались показать всю бесплодность их попыток, главное видится нам в другом.

Не «антисоветская настроенность» играла решающую роль в поступках Зубра. Она была неизбежна и вытекала из чего-то другого. Первичного. И мы, говоря об этом, имеем в виду *моральную неразборчивость* так называемых «аполитичных», которая рано или поздно (но непременно!) бросает их в объятия всех, кто платит и «заказывает музыку».

История с сокрытием оборудования убедительно свидетельствует о том, что желания работать на Родине в ее интересах Тимофеев-Ресовский вовсе не испытывал. Поэтому все разговоры Д. Гранина, вмиг подхваченные «адвокатами», об отказе Зубра эмигрировать в конце войны в Америку лишены всякого основания.

Вновь обратимся к повести. В ней есть свидетельства очевидцев о «смутном времени» апреля 1945 г. Но никто (обратите внимание — никто!), кроме Зубра, не высказывается по поводу уговоров западных эмиссаров. А это значит, что версия о возможности эмиграции списана со слов самого Зубра (или придумана Д. Граниным). Кстати сказать, остается только удивляться той «святой наивности», с которой «адвокаты» Зубра верят не фактам, а словам Зубра. Так, «полемист» «Литгазеты» кинорежиссер Е. Саканян, уже снявшая одну часть фильма о Зубре, предлагает оппоненту в качестве самого убийственного аргумента послушать запись выступления Зубра в МГУ, где он прямо отвечал «на поставленный вопрос о его участии в атомном проекте». *Кстати сказать, со слов Зубра написаны и многие страницы повести.*

Какова же цена исповедальных слов Зубра?

Тимофеев-Ресовский на следствии отрицал, например, работу на военную машину Германии. Дополнительное расследование убедительно доказало обратное. Поэтому магнитофонные записи его слов, по-человечески, впрочем, понятные, есть не более как запоздало желаемая самооценка для душевного успокоения.

Кстати о фильме «Рядом с Зубром», снятом Е. Саканян и промелькнувшем на экранах спустя два года после опубликования повести. Говорить о нем пространно и бессмысленно, и неинтересно. Ибо это вторичный вариант одной и той же фабулы, иная форма утилизации сенсации, не нужная, но назойливая, как любая запоздалая информация. И если Д. Гранин по крайней мере нашел правильный тон повествования — уравновешенное размышление по поводу истории сверх всякой меры необычной, — то второй вариант фабулы,— как бы в счет компенсации вторичности, — это уже истерический изобразительный ряд с готовыми, чеканными формулами, навязываемыми зрителю кабально и с менторской категоричностью, как в те, сталинские времена, по злой иронии разоблачаемые в фильме.

Мысль фильма о том, что Н. Вавилов и Н. Тимофеев-Ресовский являют собой два полюса одной беды, и лживая, и безнравственная. Н. Вавилов Родины не предавал — это во-первых. Во-вторых, Зубр уехал за границу аж в 25-м году, то есть тогда, когда как раз до зарезу нужно было помочь становлению молодой отечественной науки. Уехал на год на стажировку — остался на 20 лет. Уехал «на ловлю счастья и чинов».

Жажда сенсации в искусстве — это всегда палочка о двух концах.

Есть в фильме ключевой, ударный видеоряд. Концентрационный нацистский лагерь, колючая проволока, несчастные люди. Голос диктора: «Расистская политика в фашистской Германии была направлена на истребление «неполноценных»... Многозначительная, наполненная задуманным смыслом пауза, за которой следует: «...А в нашей стране уничтожали полноценных».

Другими словами, *у них — «неполноценные», вроде бы полбеды; у нас — «полноценные», совсем беда.*

Диву даешься, на каком интеллектуальном уровне сочиняются сии «перлы»! Воистину наступает обморок ума, когда любой ценой ловят эффекты.

Вдумаемся внимательно в смысл сказанного. Основной нерв этой тирады — противопоставление понятий «неполноценные» — «полноценные». Их обыгрывание предполагает *факт признания* «неполноценных» в Германии. Только тогда и возникает столь желаемое для Е. Саканян запрограммированное ощущение более страшной беды у нас, где уничтожались «полноценные». Ну а «неполноценные», сами понимаете, — это, прежде всего, евреи, цыгане, славяне, негры и прочие... Вот так! Доигрались-договорились! Потому как очень хотелось попинать наше прошлое унизительным сравнением, ставшим ныне модным у «плюралистов». Но забыли одно: «неполноценные» — это термин нацистов, и, следовательно, сравнивая его с «полноценными», высекая тем самым искру эффекта «большей беды», вы невольно становитесь на их точку зрения.

И вот это не может не удивлять, не может не тревожить.

Плюралисты, либералы, демократы — ну хоть бы вполуха прислушались к оппонентам! Глухота друг к другу, хоть как-то объяснимая в полемике литературной, совершенно неприемлема в этой, криминальной истории. Да неужели уроки сталинского правосудия — морального и правового — не идут впрок?

Что ж, по всем приметам, история с Зубром — это какая-то серьезнейшая мировоззренческая установка. Иначе как объяснить такое резкое неприятие убийственных фактов другой стороны? Почерк везде один: свидетельствуют только те, кто льет воду на мельницу «святого лика». Всех остальных в лучшем случае не слушают, в худшем — шельмуют. Да как шельмуют! Вы только посмотрите, как оболгали профессора Г. Середу, работавшего с Зубром на Урале, с уважением относящегося к его научным заслугам, но неприемлющего его измены Родине. Вы только вчитайтесь в то, что ему помимо прочего (включая грязные бытовые сплетни, упоминание о которых вообще недостойно ученого) инкриминирует «полемист» Владимир Иванов: у Г. Середы, оказывается, и сегодня не вызывает возражений, сомнений, что Тимофеев-Ресовский после войны «был не реабилитирован, так как для этого не было оснований, а был прощен».

Читаем и глазам не верим: какой же уровень некомпетентности (или лукавства?) царит в стане «адвокатов»? Да неужели члену-корреспонденту АМН СССР просто как образованному человеку неведома разница между снятием судимости и реабилитацией? Воспринимать эту вакханалию тем более комично, что другой «полемист», Н. Нумеров, здесь же, в «Литгазете», выражает удивление по поводу того, что Зубр «до сих пор не реабилитирован юридически». То есть Г. Середа в своем суждении абсолютно прав. Как, однако, заигрались, аж друг друга не слышат.

Так почему же Тимофеев-Ресовский не эмигрировал в Америку? Судя по всем данным, причина предельно проста: стремительное наступление Красной Армии застало сотрудников Буха врасплох. В пользу этого говорят и обстоятельства, изложенные в повести: многие сотрудники института мозга, опасаясь расплаты, покончили жизнь самоубийством. Видимо, даже в той, хаотической ситуации весны 45-го не было возможности для побега или хотя бы для того, чтобы уничтожить следы злодеяний, подготовиться к встрече Красной Армии.

А Тимофеев-Ресовский к такой встрече с соотечественниками подготовился. Правда, своеобразным способом... Но об этом чуть ниже.

Вот мы и закончили далеко не полный перечень фактов и свидетельств, раскрывающих со всей полнотой истинную картину событий «невозвращения», точнее, его нравственно-психологический подтекст.

Такой размах всего лишь в фабульной завязке нашего разговора, повторимся, не случаен. Он, как нам кажется, дает возможность понять, с каким идейным багажом встретил Тимофеев-Ресовский войну и почему, вопреки повести, вводящей в заблуждение читателей, ученый с охотой и рвением работал на военную машину Германии.

Дефицит печатной площади (в уголовном деле 11 (!) томов) не позволяет пространно показать главный период пребывания ученого в Германии — войну. Мы ограничимся по возможности перечнем фактов из итогового документа Главной военной прокуратуры по материалам дополнительного расследования 1988—1989 гг. и опустим многие цитаты весьма любопытных и интригующих документов.

2. Работа на военную машину Германии в период Великой Отечественной войны

Д. Гранин в повести так комментирует осуждение Зубра в 1946 г.: «Указания были строгие, время горячее, вникать в научные заслуги и прочие тонкости и нюансы не стали, следователю все было ясно, чего мудрить».

Давайте вместе, Д. Гранин, порадуемся счастливой судьбе Зубра, тому, что следователь не вник в «прочие тонкости и нюансы», хотя и мог, и обязан был по службе сделать это — ну, хотя бы допросить всех сотрудников отдела о тематике его работ во время войны (это и было сделано, но несколько позже в Москве и по другому поводу). Да, Д. Гранин прав, время действительно было горячее, но оно же и спасло Зубра от последствий более печального свойства.

Дополнительное расследование 1988—1989 гг. установило, как сказано в итоговом документе, что сам Тимофеев-Ресовский и Отдел генетики, возглавляемый им, проводили во время войны *«исследования, связанные с совершенствованием военной мощи фашистской Германии, ведущей тотальную войну против Советского Союза». Юридически это означает, что Тимофеев-Ресовский «изменил Родине в форме перехода на сторону врага».*

Сразу же оговорим существеннейший момент этих обстоятельств. Тимофеев-Ресовский, который, по Д. Гранину, занимался всю войну исключительно «мушками», перед приходом Красной Армии, по словам свидетелей, «чувствуя неизбежную ответственность за участие в войне», дал указание уничтожить все секретные документы отдела, характеризующие его работу в этот период.

Это подтвердили руководящие сотрудники отдела: К. Циммер (т. 3, л. д. 297—284), Г. Борн (т. 1, л. д. 283—287), В. Пютц (т. 10, л. д. 88—89).

Факт уничтожения документов не отрицал и сам Тимофеев-Ресовский, правда, мотивируя такой шаг весьма сомнительной и прямо-таки наивной версией: указание на уничтожение документов им было дано В. Пютцу, «чтобы избежать возможных неприятностей со стороны местных немецких властей после оккупации Берлина войсками Красной Армии» (т. 3, л. д. 241). Дальнейшие комментарии, как говорится, излишни!

Так подготовился он к встрече с соотечественниками (о чем упоминалось выше)

в отличие от многих своих коллег по институту мозга, которые, опасаясь расплаты, покончили с собой.

Вот вам и аполитичность, и опыты с «мушками», и патриотизм, и «мировое братство»! Вот вам и групповые «полемические» игры!

Валерий Иванов, один из «полемистов» «Литгазеты», комментируя две статьи Тимофеева-Ресовского, напечатанные в 1941 и 1942 гг. в немецких журналах и резонно воспринимаемые сегодня многими как весомые аргументы против него, пишет: «Трудно представить, чтобы военный преступник не заметал следы свои черных деяний, а Тимофеев-Ресовский спокойно хранил статьи...». Так оттого и хранил, что главные-то следы давно уж заметены!

Но сохранилась масса иных материалов, а также свидетельских показаний, которые помогли восстановить целостную картину.

Вот выписка из итогового документа Главной военной прокуратуры—«Постановления о прекращении производства по вновь открывшимся обстоятельствам»:

«Из имеющихся в деле документов следует, что по в о е н н ы м з а к а з а м (разрядка наша. — *Д. И., В. П.*), поступившим из Имперского исследовательского совета, Министерства авиации и Верховного командования сухопутных сил, Отделом (институтом) генетики, возглавляемым Тимофеевым-Ресовским, проводились следующие разработки:

— исследование биологического действия лучей нейтрона;

— изменение длины и силы лучей нейтрона;

— методы выработки радиоактивных элементов;

— изобретение радия искусственным лабораторным путем;

— действие рентгеновских лучей на организм человека;

— изыскание краски для освещения приборов самолета;

— использование рентгеновских лучей как средства борьбы против «неприятельских самолетов»;

— влияние космических лучей на летчика при полетах на большой высоте;

— выработка способов предохранения работающих с радиолучами» (т. 11, л. д. 151—164).

Для краткости прокомментируем только один аспект этих работ — изучение лучей рентгена, радия и нейтрона.

«Полемиста» И. Ришину из «Литгазеты» эта проблема не смутила. Поразительно, на что уходит энергия у людей! Не на поиск истины, а на отыскание изощренных способов защиты своей монополии на истину. Один из способов таков: собрать сонмище имен и давить на сознание читателя одновременным звездопадом сановных имен, титулов, званий. Трюк состоит в подмене понятий. Гуртом да с «именами» хорошо обсуждать серьезные жизненные и научные проблемы. В криминальном же случае с Тимофеевым-Ресовским необходимо совсем иное — факты, одни только факты и ничего, кроме фактов. А их (за неимением) подменяют эмоциями, морем бессодержательных словес.

Вот, например, зачитывается в «полемике» «Литгазеты» письмо физика Е. Фейнберга в Главную военную прокуратуру по делу реабилитации Н. Тимофеева-Ресовского. Поразительно: физик оценивает работы подзащитного, идущие по разделу «Общая медицина»! Откуда же здесь взяться беспристрастному суждению? Каждая строчка этого письма — свидетельство смутного представления ученого о подлинных событиях тех лет. Но при этом со всей категоричностью Е. Фейнберг утверждает, что исследования Тимофеева-Ресовского по «биологическому воздействию корпускулярных излучений» не имели военного значения. Крайне просто показать зыбкость его аргументов, но дефицит печатной площади вынуждает прямо перейти к делу.

Материалы следствия убедительно доказывают, что Отдел генетики под руководством Тимофеева-Ресовского совместно с институтом биофизики под руководством Раевского занимались исследованием по разработке «оружия массового истребления людей, то есть войск противника путем применения лучей рентгена, радия, нейтрона» (т. 11, л. д. 151—164).

Свидетельством того, что работы Н. Тимофеева-Ресовского проводились в интересах военного ведомства фашистской Германии, являются имеющиеся в делах архивные документы, раскрывающие характер и направление проводимых научных исследований, организационно-штатную структуру Отдела генетики, его связь с государственными ведомствами, а также особенности комплектования Отдела научными сотрудниками и техническим персоналом.

Только все эти материалы и, разумеется, по совокупности, даже несмотря на то, что часть документов Тимофеев-Ресовский уничтожил в 1945 г., дают основание и, конечно, право судить о направленности работ Отдела генетики.

Так, в карточке Тимофеева-Ресовского по учету входящих и исходящих документов, изъятой из архива Имперского совета по исследованиям, содержатся сведения, свидетельствующие о том, что он сотрудничал с физиками-ядерщиками, работавшими над созданием для «третьего рейха» ядерного оружия (т. 9, л. д. 248—254).

На следствии Н. Тимофеев-Ресовский показал, что его сотрудники (Циммер и Борн) осуществляли на нейтронном генераторе, находящемся в Отделе генетики, расщепление урана по заданию фирмы АУЭР. Полученные таким образом «урановые блоки» поставлялись физикам-ядерщикам, работающим над «Урановым проектом» (т. 1, л. д 168—171).

Речь шла о создании атомной бомбы в институте физики в Берлин-Далеме. Энергетический материал для этих работ обеспечивала фирма АУЭР — основной поставщик урана.

Сегодня любой старшеклассник бойкой скороговоркой расскажет нам о смысле сказанного Н. Тимофеевым-Ресовским. Между тем любой следователь в 1946 году не мог иметь даже смутного представления обо всем этом.

Об участии Отдела генетики в страшном для нашей страны проекте свидетельствуют и теоретические разработки Отдела, связанные с проектом и обнаруженные в архивах института физики (т. 4, л. д. 175—225, 239—266).

В изданной в ФРГ в 1986 г. книге «Ухищрения в отношении населения...» один из ее авторов, Карл Гейнц Рот, со ссылкой на «Бундесархив» (ФРГ), пишет: «Институты биологии, биохимии и генетическое отделение в Берлин-Бухе были превращены в ц е н т р ы в о е н н о й н а у к и» (разрядка наша. — *Д. И., В. П.*) и более определенно: ученые Отдела генетики «все очевиднее действовали как радиологическая отрасль нацистской программы ядерного вооружения и нервно-паралитических газов» (т. 9, л. д. 1—15).

Перечень материалов, документов, фактов и свидетельских показаний, убедительно доказывающих факт работы Тимофеева-Ресовского в интересах воюющей с СССР Германии, можно продолжать и продолжать. Из-за недостатка площади приведем, пожалуй, самый весомый аргумент в этом обвинении.

Приказом президента Имперского исследовательского совета — рейхсминистра Геринга — от 4 августа 1944 г. создано Военно-исследовательское общество для концентрации научных сил Германии в целях успешного окончания тотальной войны (то есть успешного разгрома СССР!). В это общество по з а я в к е Тимофеева-Ресовского включен возглавляемый им Отдел генетики (т. 4, л. д. 73, 75, 76, 83—89, 157—169).

Нужно ли что-нибудь добавить к этой информации?

3. Расовая тема в научных исследованиях Тимофеева-Ресовского

Одна из интриг нашего сюжета такова, что сказанное как будто бы противоречит новой мысли по тому же поводу: ведь «мушками» Тимофеев-Ресовский все-таки занимался... Но дело все в том, что мы с Д. Граниным вкладываем разные понятия в эту работу.

В повести это выглядит так: 40-й год, вторая мировая война набирает обороты, а Зубр рассматривает в микроскоп мушек и препарирует «разных козявок» и вообще погружен «в какие-то исследования над мухами и птичками». Как видим, создается прямолинейный стереотип блаженного, этакого чудака не от мира сего, заоблачного, недоступного, порхающего в иных эмпиреях, душевно обнаженного перед ликом матери-природы. Словом, все тот же святой...

А между тем целомудренная работа Зубра с мушками носила чудовищный по своему смыслу характер. В период, когда расистская идеология Германии ставила практический вопрос о создании «чистой расы», Зубр занимался евгеникой — «наукой об улучшении человеческой породы». Этот интерес явился не вдруг, а имел увлекательнейшую предысторию.

Влечение к этой заманчивой для честолюбного ума теме зародилось у Зубра еще на Родине — в «школе» Н. Кольцова — его учителя, который был одним из пионеров советской евгеники. Как явствует из статьи А. Кузьмина («Наш современник» № 3, 1988), страсть к улучшению породы советского человека, который, к примеру, мог бы «выполнить пятилетку за два с половиной года», владела в 20-е годы многими биологами. Ставился даже вопрос об «искусственном осеменении». Однако вскоре этот, с душком расизма, горячечный жар в советской биологии стал спадать, пока и вовсе не был остужен.

Вот почему благодатная для расистской евгеники атмосфера в Германии наиболее полно раскрыла созвучный и готовый к сотрудничеству с ней талант Тимофеева-Ресовского.

И он энергично включился в эту рискованную игру.

Поразительно, но для специалистов-генетиков, знающих историю развития этой науки в фашистской Германии, активное занятие Тимофеевым-Ресовским «расовой гигиеной» является чуть ли не общим местом. Между тем некоторые наши ученые, ходатайствующие о реабилитации, считают, что он не был к этому причастен. А Д. Гранин — тот ничтоже сумняшеся утверждает: «Никаких публикаций по расистским проблемам у него н е б ы л о и б ы т ь н е м о г л о (разрядка наша. — *Д. И., В. П.*), потому что в лаборатории занимались только мухами».

Логика, скажем прямо, странная: не может быть, потому что быть не может никогда. С другой стороны, странно слышать это от писателя, который, создавая какую-никакую биографию ученого, должен хоть как-то представлять себе его научное поприще. Дело в том, что суждение «занимались только мухами» не опровергает обвинения, а, напротив, усиливает его, ибо речь идет об экспериментах на мухе-дрозофиле, на которые и опиралась тогда лабораторная евгеника.

Обратимся, однако, к материалам следствия.

В уже упомянутой книге «Ухищрения в отношении населения — действенность и постоянство нацистской демографической политики» автор К. Рот с опорой на архивные материалы, хранящиеся в ФРГ, пишет: «Тимофеев-Ресовский всегда был убежден в том, что неожиданные высокие нормы мутации у популяций плодовых мушек вызывали снижение жизнеспособности и регрессию признаков, и эти доли можно было повысить при эксперименте облучением. Об исчезновении растущего дегенеративного большинства должна была заботиться *«естественная селекция»* (здесь и далее курсив наш. — *Д. И., В. П.*). Это было кредо Тимофеева-Ресовского, которое благодаря многочисленным публикациям и выступлениям Тимофеева на конгрессах и перед научным обществом стало достижением «Третьего рейха»... Однако в «Третьем рейхе» редко оставались без последствия новые научные теории».

Далее Рот говорит, что Тимофеев-Ресовский в 1935 г. опубликовал в журнале «Ербарзт», «который был важнейшим журналом восходящей нацистской генетики человека», свою работу «Экспериментальные исследования наследственного груза популяций».

Он писал: «Для учения о человеческой наследственности, как и *для расовой гигиены*, особое значение имеет не только определение процента больных наследственными заболеваниями, но и постепенный анализ географического распределения и концентрации гетерозиготных носителей наследственности. Это поможет не только *продвинуть расово-гигиенический контроль*, но в облегчит прояснение некоторых трудных вопросов этиологической и генетической классификации определенных наследственных заболеваний...».

«Этим программным высказыванием, — комментирует Рот, — ведущий популяционный генетик мира *указал нацистской провинции на размеры неоевгеники. Политикам он обещал большую эффективность при социально-политической корректуре полностью вышедшей из равновесия «естественной селекции» у человека*, перед учеными он раскрыл обнадеживающие перспективы последнего обобщения их популяционно-генетической иллюзорной системы в отношении человеческого общества» (т. 9, л. д. 1—15).

В том же 1935 г. в вестнике (№ 11) научного общества в Гёттингене была опубликована статья Тимофеева-Ресовского «Выявление «жизненных мутаций» у мушек-дрозофил при облучении рентгеновскими лучами». В ней говорится: «Если такие *«маленькие физиологические мутации», которые в большей или меньшей степени снижают «жизненность», будут особенно часто случаться у человека, то они должны рассматриваться как особенно нежелательные с расово-гигиенической точки зрения»* (т. 9, л. д. 195, 210).

В 1941 г. Тимофеев-Ресовский опубликовал в книге «Руководство по здравоохранению: цель и путь» свою работу «Мутации как материал образования рас и видов». В ней он писал: «У человека, у которого естественный отбор, особенно у цивилизованных народов, значительно менее интенсивен, условия для сохранения и увеличения даже сильно патологических мутаций еще более благоприятны. Этим объясняется, что человеческий вид носит груз целого ряда доминирующих наследственных заболеваний».

«Такое высказывание ученого, — подчеркивает Рот, — *лило воду на мельницу нацистской биологии человека.* У Тимофеева-Ресовского спросили о новых аргументах, и он с готовностью их дал. Существующий подход к больным наследственными заболеваниями он считал недостаточным и заявил о том, что нераспознанные гетерозиготные носители признаков должны быть взяты под наблюдение При этом должна быть совместная работа *социалтехников и исследователей наследственности, так как их интересы взаимно обусловлены».*

В заключение Карл Гейнц Рот пишет: «Утверждение 1935 г. осталось неопровергнутым: мутации, снижающие относительную жизнеспособность или даже вызывающие морфологические дефекты, могут *«обозначаться как наследственные заболевания. Они подлежат негативной селекции и должны искореняться»* (выдержка из работы Тимофеева-Ресовского «Экспериментальные исследования...». — *Д. И., В. П.*). ...Высказывания популяционных генетиков очень быстро проникли в нацистскую теорию «наследственной патологии» и «расовой гигиены». Началось новое развитие, использовались новые сведения и работы генетиков (в том числе советского генетика С. П. Царапкина) при исследовании однояйцовых близнецов» (т. 9, л. д. 1—15).

В материалах 7-го международного конгресса, проходившего в Берлине в 1986 г., в разделе «Человеческая и медицинская генетика в Германии до 1945 г.» кратко суммируется значение генетических исследований как теоретической базы социальной политики «третьего рейха». В ней говорится: «Роль Германии в развитии генетики представляет особый интерес и требует обсуждения. Среди многих сторонников евгеники в Германии эти идеи переплелись с мистическими концепциями расы и нордического превосходства... С приходом к власти Гитлера в 1933 г. эти представления были возведены в ранг государственной политики. Первым шагом стали законы о принудительной стерилизации, принятые в начале 30-х годов, так как считалось, что многие болезни имеют генетическую природу, включая слабоумие, шизофрению, эпилепсию, слепоту, алкоголизм, наркоманию и серьезные физические пороки» (т. 2, л. д. 71).

Эти выводы целиком относятся к деятельности Тимофеева-Ресовского и руководимому им Отделу генетики, свидетельством чего является доклад генетика, куратора института мозга Г. Меллера, с которым он выступил 6 июля 1933 г. на заседании совета кураторов в помещении названного института.

Г. Меллер сказал: «Не могу упустить этого случая, чтобы как генетик не высказать похвалы в адрес Отдела генетики этого института... Основную работу Отдела генетики можно разделить на 3 группы. Первая — экспериментальное изучение явления генетических проявлений в целом... Вторая группа феногенетических исследований относится к экспериментальному анализу географических рас (видов). Эти исследования дают нам необходимую основу для познания принципов вариации различных генетических различий, что нам важно, потому что и у человека есть такие различия... Это будет экспериментальная эмпирическая основа изучения проблемы популяционной статистики в отношении наследственных психических особенностей и психических заболеваний у человека.. *Третья группа работ состоит в разработке вариационно-статистических методов чисто фенотипического определения генетически чистых видов. Эта работа может быть прямо применена к человеку...* (Речь идет о разработке научных методов определения людей «чистой нордической расы». — *Д. И., В. П.*). Мы должны найти пути, которые позволили бы в известных пределах погрешности классифицировать феногенетический тип человека как можно более точно, генетически чисто и в пригодной для применения форме. Эта работа требует создания нового биометрического метода и опирается на результаты экспериментальной генетики и расового (видового) анализа, которые подтвердят его надежность..

Я полагаю, — заявил в конце доклада Меллер, — что продолжение работ в выбранном направлении, которые так успешно провел этот институт, следует приветствовать и что надо ожидать дальнейшего *непосредственного применения результатов этих работ на людях»* (т. 5, л. д. 265—274).

Многое после знакомства со следственными материалами перестает быть загадкой в повести. Теперь, например, становится ясна фраза героя повести И. Паншина: «...С каким восхищением Меллер отзывался о Тимофееве». Теперь уже не секрет, почему восхищался самый значительный апологет евгеники — автор более 200 работ по расистской генетике Г. Меллер.

Знал Д. Гранин — не знал об этом, — особый разговор. И все же его как-то можно понять: он не специалист в генетике. А вот мнение члена-корреспондента АМН СССР Владимира Иванова, «полемиста» из «Литгазеты», по поводу евгеники: «У Николая Владимировича нет ни одной работы, которую можно было привести как пример этого направления».

Остается только развести руками от умиления...

К сказанному можно добавить следующее. В первом номере журнала «Наш современник» за 1989 г. было опубликовано письмо профессора Г. Середы, имя которого мы уже упоминали. Приведем небольшую выдержку из этого письма.

«Любопытную оценку повести Д. Гранина «Зубр» дает известный ученый, генетик из института генетики в г. Кельне (ФРГ), профессор Б. Мюллер-Хилл. В своей рецензии на повесть Д. Гранина, написанной для журнала «Нейча» («Природа»), под заголовком «Генетик как святой», он пишет: «...Но ведь была расовая гигиена, другими словами — евгеника при нацистах в Германии? Что Тимофеев-Ресовский публиковал и делал в этом направлении? Гранин абсолютно молчит об этих вопросах... В 1935 году он опубликовал статью в отношении мутационной нагрузки на дрозофил. В ней он комментировал, что такой тип анализа очень поможет в «контроле» человеческой популяции в части расовой гигиены (см. журнал «Ербарзт», 1935, № 8, с. 117—118). В октябре 1938 г. он участвовал в симпозиуме «Наука и мировоззрение», организованном главарями нацистской партии. Он приветствовал участников симпозиума в своем институте и докладывал о мутационных исследованиях... *В аду даже сверхученый должен подчеркнуть свое уважение к дьяволу».*

К тому, что написал профессор Б. Мюллер-Хилл... я могу добавить, что спустя полмесяца после симпозиума (10 ноября 1938 г.) нацисты организовали гигантский всеимперский еврейский погром под названием «имперская хрустальная ночь». Это были практические выводы из расистского «симпозиума», — пишет Г. Середа.

В материалах дела имеется текст видеоинтервью с Мюллером-Хиллом, снятого Кельнским телевидением. Его передала следственным органам Е. Саканян. Судя по многоточиям в тексте, он усечен, в корректней, видимо, говорить о выдержках из интервью. В этом тексте есть пассаж, в котором Мюллер-Хилл отрицает причастие Тимофеева-Ресовского к делам в Бухе, которые он квалифицирует как преступления (т. 2, л. д. 155).

Заявление это ничуть не противоречит публикации Г. Середы. Под преступлениями Мюллер-Хилл, без сомнения, подразумевает м а с с о в ы е опыты на людях, которые, судя по всему, проводились в институте мозга и к которым Тимофеев-Ресовский и впрямь не имел отношения. Евгеника же проходила (на том этапе, во всяком случае) по разряду иных деяний — прежде всего научного обеспечения идеологической расовой доктрины фашистской Германии.

Маленькая деталь. В 1970 г. вышла книга Н. Тимофеева-Ресовского в соавторстве с Н. Воронцовым и А. Яблоковым «Краткий очерк теории эволюции», где в общем списке литературы приведен список его работ с 1927 по 1941 год. Разумеется, там нет никакого упоминания о его статьях по расовым проблемам, как нет и работ, опубликованных во время войны. Не надо особой проницательности, чтобы понять: список составлен Тимофеевым-Ресовским с большим пониманием того, что о нем должны знать все, включая друзей и коллег.

Не на этот ли список работ опирается Владимир Иванов, когда отрицает наличие у Зубра работ по евгенике? И не слишком ли это слабое основание для категорических суждений?

Еще одна маленькая деталь. Профессор В. И. Иванов, ходатайствуя о реабилитации Н. Тимофеева-Ресовского, прислал в Главную военную прокуратуру полученные из ГДР копии документов, создающих, несомненно, благоприятное представление о Тимофееве-Ресовском. Но профессор прислал и копию п е р е ч н я документов, в котором числится еще один — увы, в прокуратуру от В. И. Иванова не поступивший. Это публикации К. Рота (т. 2, л. д. 108—138).

Мы не будем давать оценку «забывчивости» профессора, а предложим читателю еще раз прочитать цитируемые выше тезисы К. Рота. И последняя деталь. Отнюдь не маленькая и способная, как нам кажется, поставить окончательную точку в этой проблеме.

22 июля 1942 г. д-р Бертер — сотрудник отделения германской службы академических обменов — послал записку посольству Германии в Риме относительно сотрудничества с итальянскими генетиками. Вот что он, в частности, писал: «Без сомнения, в области биологии германские ученые сделали большой рывок, и итальянская сторона признает необходимость учиться у Германии. Особенно желательным является развитие итальянской биологии из-за того, что соответствующее влияние немецкой биологии дает возможность направить ее на изучение р а с о в ы х (в и д о в ы х) п р о б л е м (разрядка наша.— *Д. И., В. П.*). Дискуссии о расовых (видовых) проблемах могут оказаться бессвязными в основном из-за того, что у них отсутствует биологическая база».

Это, так сказать, общая стратегия сотрудничества. Далее следует перечень конкретных мероприятий, связанных с организацией летней биологической школы для итальянских биологов на биостанции Лунц (в нижнем русле Дуная). И, наконец, следует перечень лиц, осуществляющих сотрудничество в исследовании расовых проблем:

«В рамках сотрудничества немецких и итальянских биологов, о котором уже сообщалось, как нас сегодня информировал д-р Марко де Марчи из Итальянского института гидробиологии, Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский... его жена коллега Елена Тимофеева-Ресовская приглашены президентом в/у института для работы в сентябре—октябре. В ходе этого визита будет продолжена работа, которая была начата во время прошлого визита в 1939—1940 гг. ..

Проф. Тимофеев-Ресовский является белым и без подданства. Ввиду высокого положения, которое он занимает, со стороны рейха никаких трудностей не ожидается» (т. 6, л. д. 43—44).

4. Опыты на людях

Скажем прямо, это одна из загадочных страниц в биографии Тимофеева-Ресовского. Нет, читатель, не пугайтесь, сам он опыты, судя по всему, не делал, их проводили его работники. Он либо руководил ими, либо хорошо был осведомлен о них.

Следствие выявило две группы экспериментов, проводимых в Отделе генетики на людях.

Первая группа.

Материалы об этих экспериментах опубликованы в статье Тимофеева-Ресовского, Борна и Циммера (сотрудники Отдела генетики) в 1942 г. («Ди натурвиссеншафтен», 1942, т. 30, № 40). Речь идет об определении скорости кровообращения у человека путем введения в его организм изотопов радия (торий-Х).

Следствие зафиксировало наличие этих экспериментов, не подвергая их экспертной оценке.

Эта проблема стала предметом оживленной дискуссии на страницах печати.

Специалист в области радиохимии профессор Г. Середа так комментирует эти опыты в своей публикации, о которой мы уже упоминали.

Санитарными правилами у нас и за рубежом запрещено введение в кровь людям любых количеств препаратов радия, ибо смертельная его доза хорошо известна с 1933 г.

В указанной статье Тимофеева-Ресовского и др. нет подробного описания этой, как выражается Г. Середа, «бесчеловечной методики». Но она есть, указывает ученый, в другой статье (журнал «Архивфюр. эксп. патол.», 1942, т. 199). Авторы работ Герлах, Вольф и Борн (Герлах и Борн — сотрудники Отдела генетики).

Г. Середа путем несложных расчетов показал, что доза радия, вводимого людям в экспериментах первой группы, в 14—20 раз п р е в ы ш а л а с м е р т е л ь н у ю.

«Адвокаты» Зубра, обычно так чутко и оперативно реагирующие на любые, даже малейшие признаки оппонирования, вот уже около года молчат, не комментируют публикацию Г. Середы. Это молчание как прикажете понимать — как знак согласия?

Вторая группа.

К этой группе экспериментов относятся опыты, проводимые по заказу и при совместном участии фирмы АУЭР (поставщик урана для разработки атомной бомбы и средств радиологической войны). Исполнителем этих работ был в Отделе генетики Г. Борн. В сохранившейся копии отчета этих работ, озаглавленного «Биологические исследования с помощью радиоактивных веществ кроме растений», Г. Борн, в частности, пишет об измерениях степени радиоактивности в пробах человеческой ткани: «Пробы орал у трупов. Некоторые из них (сообщение д-ра Эзера. По моему мнению, д-р Эзер вскрывал и трупы казненных) обрабатывались торием-Х; другие же трупы людей (сообщение проф. Аулера), которые много лет работали с радиоактивными веществами. Если в первом случае хотели установить распределение тория-Х, то во втором случае хотели узнать, могут ли в организм человека проникнуть значительные количества радиоактивных веществ, если он долго с ними работает» (т. 4, л. д. 34).

Информации для окончательных выводов здесь, скажем прямо, недостаточно. Но для некоторых обоснованных предположений ее вполне хватает. Биологические эксперименты на трупах — нонсенс. И здесь по каким-то причинам (возможно, и чисто профессиональным — не указывать само собой разумеющееся) опущено главное: «установить распределение тория-Х», как указано в отчете, в тканях человека можно только путем введения препарата в его *живой организм*. Для забора ткани (любой, в том числе и внутренних органов) человека необходимо умертвить (такова методика экспериментов на животных).

Других же людей, связанных с добычей (поставкой) урана, могли использовать (умерщвляя) для определения доз облучения при различных периодах работы с радиоактивными веществами.

Чтобы у читателя не оставалось никаких сомнений в осведомленности Тимофеева-Ресовского по поводу экспериментов, приведем показания свидетелей.

Заведующий канцелярией института мозга и Отдела генетики В. Пютц: «Тимофеев-Ресовский был в курсе всех секретных директив, направляющих в с ю д е я т е л ь н о с т ь (разрядка наша — *Д. И., В. П.*) института на нужды войны» (т. 3, л. д. 250—251).

Свидетель Х. Штуббе (один из самых ценных свидетелей для Д. Гранина и Е. Саканян): «Научной работой Отдела генетики в Берлин-Бухе очень конкретно руководил Тимофеев-Ресовский, и его сотрудники обсуждали ее в своем Отделе. Я поэтому полагаю, что весь Отдел знал о тематике работ» (т. 9, л. д. 151—164).

Свидетельница Х. Пальм: «Каждый из сотрудников знал, над чем работает его коллега» (т. 9, л. д. 165—178).

Свидетельница Ш. Греттин: «Каждый в Отделе знал о научной работе другого» (т. 9, л. д. 165—178).

5. Антифашистская «деятельность»

Миф об антифашистской деятельности Зубра родился не случайно. Этот соблазнительный ход был прямо-таки неизбежен в движении изначального замысла повести.

Судите сами. Нужен тип человека «без вины виноватого», страдальца, несущего крест высокой науки во имя человечества, иссушенного от тоски по Родине, но каким-то образом благополучно работающего при этом во вражеском стане на врага.

И вот является спасительная мысль о тайной деятельности, благо ею точно занимался сын Зубра — Дмитрий (Фома). А там — кто-то, где-то, что-то, как-то, о чем-то обмолвился, не приводя никаких фактов, и тонкие эфемерные нити начали вдохновенно ткать сказочный образ «антифашистской деятельности».

Пытаться войти внутрь этого воздушного замка и начать с «ним» диалог — значит пристально рассмотреть едва ли не полповести. Для этого, увы, нет возможности да, строго говоря, и необходимости.

Устойчивость этого мифа объясняется еще одним немаловажным обстоятельством: в умении создавать воздушные замки Д. Гранин достигает порой истинной виртуозности.

Прислушаемся, например, к разговору Д. Гранина в повести с Р. Ромпе — известным немецким физиком, жившим одно время в Бухе.

Текут, текут словеса... О разном. О Ромпе. О Зубре. Обо всем. Создается устойчивое ощущение текучести, убаюкиваемости, податливости. И в этом текущем потоке нет-нет и мелькнут то загадочные обмолвки, то высокая характеристика Зубра, то «антифашистское подполье», но с Ромпе связанное, то «антифашистские взгляды», но касающиеся Макса Планка и с интригующей оговоркой, — таких, включая Зубра, не трогали из-за популярности, — то промелькнет реплика о спасении «одного человека» неарийской расы, то о спаивании каких-то нужных людей для нужной справки. А текст течет и течет. А слова капают и капают. И ни одного к о н к р е т н о г о факта об антифашистской деятельности Зубра, а впечатление, ну, полное впечатление, что она есть. Присутствует рядом с Зубром.

Это, без сомнения, зрелое искусство манипуляции массовым сознанием. Воистину так!

Или в той же повести приводится письмо сотрудника Буха Х. Штуббе — почетного президента сельскохозяйственной академии ГДР. Там, в частности, есть такая фраза: «...Тимофеев-Ресовский постоянно был на стороне антифашистов». Речь, видимо, идет о начале 30-х годов. Во фразе ничего конкретного, она ни к чему не обязывает. Что значит «был на стороне»? Словом? делом? поступком? убеждениями?

Праздные вопросы. Здесь важно в текучем словесном потоке постоянное мерцание, раздражение глаза, методически капающая информация, создающая у р о в е н ь восприятия. А затем с опорой на него информационная подпитка увеличивается, а с нею возрастает и уровень, близкий к образу.

Так, Д. Гранин в интервью «Неделе» (№ 13, 1988 г.) говорит уже об «антифашистском поведении»: «Есть десятки свидетельств его антифашистского поведения, в том числе его коллег Ханса Штуббе... академика Роберта Ромпе... которые сейчас живы-здоровы».

Согласитесь, между «быть на стороне» и «поведением» разница огромная. Читатель, однако, этого не замечает. Но в этом-то и состоит волшебный секрет искусства манипуляции. Умело организованный информативный поток полностью исключает из восприятия а н а л и з, поскольку анализировать, сопоставлять можно только ф а к т ы из-за их неравнозначности, отличимости, несхожести. Но фактов-то нет! И тогда включается иной механизм — манипуляционный, апеллирующий к «чистой» эмоции. Задача — неприметно срастить слово «антифашист» с Зубром в текучем, вязком словесном потоке и периодическим мерцанием в нем важной информации. Эта технология в коммерческом телевидении Запада известна уже давно как чрезвычайно эффективное средство для внедрения рекламной информации в подкорку зрителя, минуя сознание. Называется эта технология «эффектом 25-го кадра». Суть ее в том, что во время движения на экране занимательного видеоряда (детектива, например) периодически, но кратковременно мелькают кадры рекламы, и зритель, как в гипнозе, больше покупает то, что так рекламируется.

То же самое и здесь, на фоне сращения двух понятий «антифашист» и Зубр, можно говорить все, что угодно, ибо все свидетельства воспринимаются подготовленным неаналитическим сознанием как слова, а не факты, и, как любые бессодержательные слова, они р а в н о з н а ч н ы, как нуль равен нулю. Вы говорите: «был на стороне антифашистов», затем: «антифашистское поведение», а можно с таким же успехом сказать об «активной позиции», «активной поддержке» и прочее. Все это успешно накапливается, и создается сначала образ, затем с т е р е о т и п.

Разрушить его крайне сложно, ибо он, как и любой психологический стереотип, устойчив.

Но разрушать стереотипы от манипуляции массовым сознанием необходимо, и сделать это могут только факты.

Сухая криминальная хроника.

Х. Штуббе и Р. Ромпе, давая пояснения в ходе следствия в мае 1988 г., заявили, что об антифашистской деятельности Тимофеева-Ресовского им ничего не известно (т. 9, л. д. 144—155).

Вообще, если сравнивать две биографии Зубра — фактическую и «сделанную» — в плане «антифашистской деятельности», то можно смело говорить, что речь идет просто об абсолютно разных людях: ощущение «сделанности» ну прямо-таки ошеломляющее.

Так, Н. Нумеров — участник берлинского подполья, как его представляет «Литгазета», указывает, что Зубр «...сочувственно относился к подпольной антифашистской работе сына...». А в своем заявлении, поступившем в следственные органы 26 февраля 1988 г., сообщает нечто противопо-

ложное: Зубр просил руководителя подпольного комитета Н. Бушманова, с которым, как утверждает Н. Нумеров, встречался ученый, «оставить сына в покое и не втягивать в работу» (т. 2, л. д. 211).

Несколько слов о гипотетической встрече Зубра с Н. Бушмановым. После войны в ходе следствия по делу, связанному с деятельностью берлинского подполья, Н. Бушманов ни словом не обмолвился об этой встрече, хотя говорил и о сыне, и об отце, который был, по мнению Н. Бушманова, «надежной крышей» для Фомы из-за своей популярности. Нет сомнения в том, что, будь эта встреча, руководитель подполья не преминул бы сказать о ней, — ведь это укрепило бы позицию комитета в глазах следствия и суда.

Далее Н. Тимофеев-Ресовский на суде в 1946 г. признался в связях с представителями антисоветского белоэмигрантского движения. Учитывая остроту восприятия таких показаний в то время, логично предположить, что и он для спасительного равновесия должен был рассказать следствию и суду о контакте с антифашистским подпольем. Такого показания, тем не менее, не последовало.

Никто и нигде не упомянул об этой встрече из участников берлинского подполья, хотя материалов о нем печаталось достаточно много.

Но это все, так сказать, присказка, которая просто бледнеет перед самой сказкой — вопиющей нелепостью самих показаний Н. Нумерова (в «Литгазете» и в материалах дела они полностью совпадают). Итак, по свидетельству Н. Нумерова, происходит встреча Зубра с Н. Бушмановым, который «дал понять, что связан с командованием Красной Армии, что доверяет ему и предлагает сотрудничество... Бушманов отметил: это обращение не удивило Тимофеева, он как будто бы его ждал, был внутренне готов к сотрудничеству. Сказал, что может быть полезнее, чем Фома, который, как он догадывается, участвует в подполье (разрядка наша. — *Д. И., В. П.*). Но поставил условие: «железное» подтверждение, что полковник Бушманов представляет действительно Красную Армию, а не гестапо. «Они там, в Москве, знают, как это делается, чтобы я поверил вам», — сказал он. К сожалению, связь с Москвой установить не удалось: все посланцы берлинского комитета после перехода фронта оказались за решеткой как «изменники Родины».

Вдумаемся в смысл сказанного. Зубр, опасаясь провокации, изначально принимает Н. Бушманова за сотрудника гестапо. Справедливо? Несомненно. И при этом, представьте себе, отец с ходу «продает» сына гестапо как «участника подполья». А для себя же требует «железного» подтверждения из Москвы.

На кого, хотелось бы знать, рассчитаны эти сказки? Их, судя по всему, с удовольствием слушают только в «Литгазете».

И еще кое-какие «мелочи». Кто же переходил линию фронта конкретно? когда? где свидетельства?

Об «изменниках Родины». Трудный вопрос. Будем справедливы, правосудие во многом скомпрометировало себя в то время. Во многом, но не во всем. Почему Н. Нумеров молчит о том, что многие члены берлинского комитета были офицерами власовской армии? Неужели он полагает, что в то время следствие должно было встречать их с цветами и музыкой? Их антифашистская деятельность значительно позже была доказана, но, как видим, дело это отнюдь не простое, во всяком случае, не дающее повода для спекуляций на настроениях сегодняшнего дня.

Вот давайте и подумаем, читатель: можно ли верить таким показаниям?

Право же, как не хотелось бы тревожить память сына Зубра и втягивать его имя в круг острой полемики. Но сделать это нас вынуждают односторонние, маловзвешенные суждения «полемистов».

«Полемист» И. Ришина зачитывает письмо члена берлинского подполья И. Иконникова, где речь идет о мужественном поведении Фомы на допросах. «Чувствовалось, что он получил хорошее семейное воспитание», — пишет автор письма.

У нас нет повода сомневаться в искренности И. Иконникова, нам странно другое: почему с такой настойчивостью ведется целенаправленный отбор мнений?

На допросе 6 сентября 1945 г. Тимофеев-Ресовский показал, что поддерживал тесные отношения с организацией русских бойскаутов (т. 1, л. д. 30). Из материалов следствия следует, что его сын Дмитрий (Фома) в 1932 г. являлся кандидатом для зачисления в «Берлинский лагерь» скаутов (т. 5, л. д. 75).

Это к вопросу о воспитании.

Будучи в апреле 1946 г. допрошен как репатриант, Петров И. П. — участник берлинского подполья — показал, что Дмитрий Тимофеев на очной ставке в гестапо полностью изобличил его в антифашистской деятельности (т. 5, л. д. 15, 20).

Так ли это? Как знать. Одно несомненно: необходим всесторонний и честный охват проблемы — страдальцам воздать должное, иных — не судить изначально, но и не возносить беспричинно.

А Д. Гранин, как доложила в «Литгазете» И. Ришина, уже вмонтировал сведения Н. Нумерова и И. Иконникова в книгу. Скажем откровенно: не лучший способ разговора с историей.

Маска насквозь придуманного в повести Зубра не снимается с него даже там, где он проявляет хотя и унизительное по духу, но как-то объяснимое ходатайство перед нацистскими чинами о судьбе сына.

По повести, ему устраивали для ходатайства встречу на высоком уровне, но «Зубр уперся». Почему? А вот такой он в повести — сверхчеловек. Уже у нас за него хлопочут, а он «оправдываться не желал, доказывать свою честность, порядочность, любовь к Родине... Перед кем оправдываться? Перед клеветниками, шпаной, людьми, лишенными совести?.. В нем вздыбился аристократизм. Это с ним бывало... Он ведь и в трамвае не ездил. Только на такси. Расплачивался бумажками. Мелочь не признавал — плебейство!».

Вот такой он гордый, независимый, крупный.

А в жизни было все куда как проще. На предварительном следствии в 1945 г. Тимофеев-Ресовский заявил, что в связи с арестом сына он обращался за помощью о его освобождении к доктору Шеферу — директору института по изучению Средней Азии им. Свенгедина, находящегося в ведении СС, профессору Эрвину Штреземану — секретарю Орнитологического общества, доктору Грауэ — политкомиссару Общества содействия наук им. Кайзера Вильгельма и Риль Николаю — директору научного отдела общества «Ауэргезельшафт», которые были тесно связаны с руководством гестапо и СС (т. 10, л. д. 151—155).

Как показала свидетель Пальм Х., она лично «печатала письмо для Тимофеева-Ресовского в адрес Кальтенбруннера, где тот просил освободить его сына» (т. 9, л. д. 165—178).

Стало быть, просил он. Без уговоров. И не раз.

Нет, мы это не в упрек ему. Речь о другом. У нас Тимофеев-Ресовский никогда не ходатайствовал о реабилитации. Между тем как его друзья и коллеги хлопочут, собирают документы, просят за него с риском для карьеры, он — само безмолвие: ни жестом, ни словом не выдает желания оправдаться. Друзья и умиляются этим, и бранятся: экий упрямец! А Д. Гранин, как обычно, без удержу: «Перед кем оправдываться? Перед клеветниками, шпаной, людьми, лишенными совести?»

О совести наших героев помолчим. Но вот представьте себе, читатель, как мы, владея материалом, не оставляющим камня на камне от фальшивых замков, вдруг в сердцах бы воскликнули: «А кому, собственно, доказывать? шпане? клеветникам? людям, лишенным совести?» Можете себе представить, как учащенно забился бы благородный пульс у «плюралистов», с какой бы синхронностью зашелестели в разных юридических конторах уголовные кодексы.

А «плюралисты» вещают. Не стесняются. Потому как это и есть плюрализм...

Так оттого и безмолвствовал, упирался Зубр, господа хорошие, что в отличие от вас прекрасно знал, что содеял, знал, видимо (не мог не знать), что при пересмотре дела многое еще может открыться (как в воду глядел!). И молчать бы вам, молчать, сокровенно поддерживая его горькие внутренние думы, бог весть, быть может, и покаянные...

А вам особость подавай: кому сенсацию, кому ученую независимость, кому «новое мышление» о родине.

Вам великие потрясения нужны...

Вам судьбу человека можно использовать...

Всю войну, если верить повести, Зубр только тем и занимался, что спасал военнопленных. Нелегко в это поверить. Ведь Бух, выполняя военные заказы, контролировался и абвером, и гестапо. Все спасенные люди, согласно повести, — это прежде всего специалисты. Не трудно предположить, что в этой ситуации военные интересы Германии были выше кадровых затруднений. И, скорее всего, речь шла не о спасении, но об укреплении кадров, так необходимых для сложных военных исследований.

А вот на эту тему один, точно установленный факт.

Читаем в повести список людей, спасенных Зубром, и среди прочих встречаем «русских супругов Паншиных». Затем, как это обычно принято у Д. Гранина, идет пространная биография И. Паншина, рассчитанная вызвать у читателя новый прилив эмоций по отношению к Зубру — с какими людьми работал! И как обычно, биография сделана с тонким манипуляционным расчетом.

Следует перечень имен, с которыми работал или встречался Паншин: Николай Иванович Вавилов, Н. Кольцов, Г. Меллер, Дончо Костов; там же, в контексте биографии, информация о весомом событии — VII Международном генетическом конгрессе, об интригах вокруг него. И, конечно же, очередная похвала Зубру! Затем мы узнаем о том, что Паншин увлекался горнолыжным спортом, профессионально занимался фотографией. «Сложные были его приключения, — романтично журчит ручеек текста, — неожиданные повороты судьбы, интересна история любви, женитьбы» (разрядка наша. — *Д. И., В. П.*).

И во всем этом разливанном море слове есть одна малюсенькая крапленая точка, которая из-за своей рассчитанной малости в рассчитанном масштабе словес буквально тонет бесследно при восприятии читателем. Речь идет о работе Паншина в плену переводчиком в танковой дивизии (даже не сказано, что в немецко-фашистской дивизии, может быть, хоть это бы пробудило читателя от гипноза).

Между тем профессионала-следователя, как все понимают, загипнотизировать не так-то легко. Поэтому, воспринимая эту романтическую историю только с фактической стороны, следствие установило: «военнопленный» Паншин И. Б. в 1941 г. добровольно сдался в плен и служил (а не работал!) переводчиком в 7-й танковой фашистской дивизии и в 9-й армии, был обмундирован в немецкую форму, получал денежное довольствие, осуществлял реквизицию скота у населения для нужд немецкой армии, вместе со старостами деревень мобилизовывал насильно людей на работы. Затем, заручившись рекомендательным письмом командующего 9-й армии генерал-лейтенанта Гульмана, принял германское подданство и в июле 1943 г. выехал с женой в Германию, где поступил на работу к Тимофееву-Ресовскому. За измену Родине Паншин И. Б. осужден законно и обоснованно и не оспаривает судебное решение (т. 10, л. д. 64—69).

Бывшая жена Паншина на допросе 23 июня 1988 г. показала, что в 1943 г. с Паншиным выехала из г. Орла в Польшу, там они зарегистрировали брак, получили немецкие паспорта и пассажирским поездом отправились в Берлин, где Тимофеев-Ресовский принял их на работу в Отдел генетики (т. 10, л. д. 225—230).

На основании собранных по делу доказательств Главная военная прокуратура в своем итоговом документе констатировала, что оснований для постановки вопроса о принесении протеста на состоявшееся су-

дебное решение 1946 года по делу Тимофеева-Ресовского не имеется.

Иными словами, ходатайству граждан о реабилитации Тимофеева-Ресовского Н. В. отказано ввиду тяжести содеянного им перед Родиной.

Вот и вся печальная история, в которой, нам думается, рано ставить окончательную точку.

Один из «полемистов» «Литгазеты», писатель Юрий Карякин, молвил: «Представьте себе эксперимент. Вдруг выясняется, что Зубр самый плохой человек, чуть ли не шпион... представляю — да простите мне! — з л о р а д с т в о (разрядка наша. — *Д. И., В. П.*) оппонентов...».

О таких в народе говорят: дышит ядом. Ну что там, казалось бы, печалиться: мало ли злых, беспощадных людей. Да вот беда! Они же нынче на высокую трибуну вхожи, по ковровым дорожкам на печатные полосы ступают. А как откроют огнедышащие уста — и ну учить! Демократии и свободе, правам личности и гласности...

Иногда кажется, что в этой злой давильне, в этом тупом «демократическом» фанатизме, воинствующем и агрессивном, загоняющем, как в 20-е годы, в царство «свободы», есть что-то болезненное, неестественное, великоинквизиторское.

Прощая вас, мы и разочаруем вас, Юрий Карякин: не злорадство, но горечь владеет нами при мысли что сгубил себя от соблазнительного самоизлома крупный русский талант. Шутка ли! Ведь он задолго до американцев сделал вывод о структуре гена.

Неисповедимы пути заблудших! Норвежская, как, впрочем, и вся мировая культура, прочно связана с именем писателя Кнута Гамсуна, которого, увы, на закате жизни бес попутал связаться с фашизмом. Писатель так же, как и наш Тимофеев-Ресовский, отсидел свое за умопомрачительный мираж своих страстей. Но норвежцам никогда в голову не приходило петь его предательство. Нужно время — таково свойство человеческой памяти, — чтобы остыло сердце народа, чтобы вина таких людей, остротой горячего чувства смешиваемая со злодеянием палачей, исподволь, неспешно, чуткостью невмешательства выделилась в иную вину — не рождающую злопамятства вину заблудшего.

Норвежцы умели ждать...

Ждал и бежал от шума Тимофеев-Ресовский...

И, быть может, дождался бы своего покаянного часа, кабы не попользовались «плюралисты» неприкаянной его душой в безжалостных, кастовых игрищах. Но всегда и во все времена подобные неправедные ристалища рождают разной формы явленности протест, сопротивление, и тогда зачастую, — таков печальный закон спровоцированной полемики, — предметом критики становится не столько лукаво созданный миф о человеке, сколько живой человек.

Когда талантливого Пастернака ловцы его дивидендов возносят в гении, когда дышащее неприязнью к истории России произведение В. Гроссмана сравнивают с «Войной и миром», когда вокруг повести «Зубр» организуются плановые вакханалии, то не вина Пастернака, Гроссмана и Тимофеева-Ресовского, а беда, что участники этих «больших игр», не щадя их памяти, подставляют их под огонь критики, неизбежно решающей в этом случае иные по отношению к творчеству задачи.

Пусть многие «плюралисты» скажут себе спасибо за то, что на гребне ажиотажа «Зубра» последовала серия ходатайств о реабилитации ученого, открыто новое следственное производство, которое обнаружило много н о в ы х ф а к т о в, еще более к о м п р о м е т и р у ю щ и х его и создающих, по сути дела, совершенно новый неприглядный образ (один **том** — уголовное дело 1945—1946 годов и *десять томов* — дополнительное расследование 1988—1989 годов).

Справедливость, о которой так витийствовали «полемисты» в «Литгазете», восторжествовала: следствие выполнило свой долг.

Спрашивается: кому это нужно было? Разве следствие не подтвердило то, о чем давно уже били в набат историк и публицист А. Кузьмин, критик В. Бондаренко, профессор Г. Середа?

Не услышали. Потому что праведнее сегодня те, у кого в руках бо́льшие тиражи. Для истины это, конечно, случайный и мимолетный фактор, для лжи — выигрыш времени. Ибо, уничтожая одни миражи, «плюралисты» создают другие.

Просто поразительно, как при такой лавине убийственных фактов, материалов, свидетельств против Зубра, при которых, казалось бы, и места-то живого не найти для иных свидетельств, Д. Гранин словно н е ч а я н н о, как искусный слаломист, умудрился пройти именно по той, нужной трассе сюжета.

Не будем ханжами и скажем откровенно: требовать от человека (в данном случае Тимофеева-Ресовского) добровольного самопожертвования, то есть требовать того, что должно быть внутренним саморазвитием души, едва ли правомерно. Стало быть, не о том и печемся. Но о достойном пути к истине...

В конце «полемики», о которой мы постоянно говорили, «Литературная газета» высказала намерение вернуться к разговору о Зубре.

Так, может, и впрямь вернуться?

Из нашей почты

В ЗАЩИТУ КЛАССИКА

В журнале «Знамя» в первом номере за этот год опубликовано лживое, иначе не назовешь, письмо Б. Филиппова с оскорблениями классика русской советской литературы С. Н. Сергеева-Ценского.

Сколько выплеснулось в этом письме желчи застарелой, ибо травля Сергеева-Ценского в 1918, 1927, 1936-м, конце 50-х продолжена в 1989 году.

Общеизвестно, как трудно складывалась литературная судьба Сергеева-Ценского. Вот строчки из биографии: «...меня вызывают в Алуштинский Совет и там окружают вооруженные люди в солдатских шинелях... Довольно спокойно я наблюдал, как наводились на меня наганы и винтовки, как вдруг пронзил все мое спокойствие чей-то истерический женский крик: «Бросайтесь в окно!.. Вас хотят убить!..» Как подстегнутый этим криком, я растолкал обступивших меня и кинулся к окну, вскочил на подоконник и бросился со второго этажа вниз. Это было в марте 1918 года, мне шел 43-й год... В чем было дело? — Готовилась в Алуште троцкистами и эсерами Варфоломеевская ночь для интеллигенции, — о чем я узнал через несколько дней из газеты «Таврическая правда», издававшейся в Симферополе. Статья была гневная: Совнарком Крыма призывал к порядку инициаторов этого подлого дела, но, как оказалось, в проскрипционном списке, состоявшем из 26 имен, мое имя стояло первым. В числе тех, которые хотели меня убить (и стреляли мне вслед, когда я выпрыгнул из окна), был некий Танаевский, устроившийся начальником милиции в Алуште... Лет тринадцать спустя писатель Юрезанский рассказал мне, что приводил тогда ко мне убийцу некий Фельдман, который потом сделался членом Союза советских писателей. На вопрос Юрезанского, за что именно хотели меня тогда убить, Фельдман ответил: — Да мы получили сведения, что этот самый Ценский — полковник гвардии».

Сергей Николаевич, как известно, был прапорщиком запаса. От пули тогда Сергеев-Ценский ушел благодаря своей находчивости. Но чтоб подобное не повторилось, 8 мая 1919 года Алуштинский Военно-Революционный Комитет выдал писателю мандат, в котором говорилось: «На основании предписания Симферопольского комиссариата просвещения от 25 апреля 1919 года за № 4 Алуштинский Военно-Революционный Комитет сим удостоверяет, что гражданин Сергей Николаевич Сергеев-Ценский, как великий представитель русского искусства и замечательный русский писатель, находится под высоким покровительством советской власти».

Это высокое покровительство было подтверждено в 1921 году следующей телеграммой:

«Из Москвы — Кремля

Симферополь, Ревком

Прошу оказать покровительство писателям Треневу, Шмелеву, Ценскому, Елпатьевскому. В случае наличия дела против кого-либо из них — переслать в Москву тчк Нр 1143/к.

Председатель ЦИК Калинин.

Народный комиссар по просвещению Луначарский».

Вроде бы защитили писателей от произвола политических авантюристов Танаевского и Фельдмана, но не было охранных грамот, ограждающих от жестокой разнузданной травли таких же авантюристов, захвативших «литературные посты».

Даже Горький признавал: «Необходимо обратить внимание на глубокую несправедливость, допускаемую кем-то по отношению к прекрасному писателю Сергееву-Ценскому... литературная молодежь должна учиться по его книгам». И еще: «...литературная карьера Сергеева-Ценского была одной из трудных карьер. В сущности, таковой она остается до сего дня. Все еще не многим ясно — хотя становится все яснее, — что в лице Сергеева-Ценского русская литература имеет одного из блестящих продолжателей колоссальной работы ее классиков — Толстого, Гоголя, Достоевского, Лескова».

Поставив Сергеева-Ценского в один ряд с гигантами русской литературы, Горький особо подчеркивал художественный дар писателя. Прочитав книгу эпопеи «Преображение России», Горький писал автору: «Вы встали передо мной, читателем, большущим русским художником, властителем словесных тайн, проницательным духовидцем и живописцем пейзажа, — живописцем, каких ныне нет у нас». Горький писал о другом романе Ценскому: «Был день рождения моего, гости, цветы и все, что полагается, а я затворился у себя в комнате, с утра до вечера читал роман «Обреченные на гибель» из «Преображения» и чуть не ревел от радости, что вы такой большой, насквозь русский».

Самобытный, национальный талант художника слова отмечал и М. Шолохов, говоря: «...Именно замашистое русское слово, такое оно и у Сергеева-Ценского. Богатырь нашей русской литературы».

Горький и Шолохов едины в оценке таланта С. Н. Сергеева-Ценского: перед нами могучий художник слова, «властитель словесных тайн», «богатырь нашей русской литературы». Горький не мог преувеличить неприязнь, враждебность критики к одному из наших классиков. Клеветнически злобный выпад Б. Филиппова по адресу Ценского вынуждает обратиться к архивам.

В то время как М. Горький восторгался первой книгой «Преображение России», а газете «Известия» появилась пятистрочная «рецензия» на это произведение, автор которой скрылся под инициалами «Г. К»: «Скучный ненужный роман о скучных людях. Автор ставит своих героев вне общества, вне жизни. Это маленькие люди с маленькими интересами, вернее, без них, они просто прозябают на земле. Полное отсутствие сочных мазков и живых красок. И кому только могут быть нужны подобные произведения?» А вот как назвал свою статью, опубликованную в 1927 году в журнале «На литературном посту», Ж. Эльсберг (он же впоследствии Я. Эльсберг): «Контрреволюционный аллегорический бытовизм. Творчество С. Н. Сергеева-Ценского». И главный вывод статьи Эльсберга: «В лице С. Н. Сергеева-Ценского мы имеем писателя, являющегося выразителем обнаженно-контрреволюционных настроений».

Приговор был вынесен, и писателю оставалось лишь ждать, когда его увезут туда, откуда не возвратились Павел Васильев, Николай Клюев, Сергей Клычков, Осип Мандельштам и многие другие советские писатели. Ценскому тогда посчастливилось избежать участи репрессированных, но на него все-таки было поставлено клеймо изгоя. В издательствах критики и редакторы, подобные Эльсбергу, смотрели на него в лучшем случае как на чужака. Между писателем и читателем воздвигались искусственные, порой непреодолимые препятствия. Изматывали силы, отнимали здоровье. Даже лучшая книга С. Н. Сергеева-Ценского — эпопея «Севастопольская страда» шла к читателю под злобное улюлюканье враждебно настроенных к «насквозь русскому» писателю. Ценский писал об этом: «Работа над эпопеей «Севастопольская страда» была начата в 1936 году. За этот год было написано свыше 40 авторских листов, но написанное оказалось очень трудно напечатать. В издательстве «Советский писатель», куда обратился автор, рукопись была решительно отклонена редактором Бассом, Гусом и Чеченовским, как произведение «квасно-патриотическое».

Тогда писатель предложил рукопись Ф. И. Панферову — главному редактору журнала «Октябрь». Эпопея была принята, но, едва появились первые главы, в «Литературной газете» публикуется разгромная статья, крикливая, бездоказательная, оскорбительная.

Истинный патриотизм творчества С. Сергеева-Ценского вызвал гнев и ярость критиков. А ведь это было неспокойное время, когда тучи сгущались на западе и на востоке. События на Хасане и Халхин-Голе, а также в Чехословакии и Польше требовали возрождения высокого патриотизма, к которому призывали лучшие отечественные писатели. Недаром в 1942 году защитники осажденного фашистами Севастополя писали Сергееву-Ценскому: «Ваша «Севастопольская страда» воюет рядом с нами. Она защищает Севастополь». Изданная отдельной книгой в канун Великой Отечественной войны и удостоенная высшей литературной премии того времени, эпопея завоевала сердца читателей. Казалось, рапповские времена канули в Лету. Но в 50-е годы сын умершего в 1903 году писателя М. М. Филиппова, автора малоизвестного романа «Осажденный Севастополь», впервые изданного в 1889 году, — Б. Филиппов обвинил С. Сергеева-Ценского в... плагиате. Как раз в то же время в который уже раз определенные круги раздули дело о плагиате автора «Тихого Дона». Как и Шолохов, Сергеев-Ценский был костью в горле нечистоплотным литераторам. Эти глыбы возвышались в русской литературе и заслоняли пигмеев, рвавшихся на Парнас. Авторитетные литературоведы растолковали тогда Б. Филиппову, что когда речь идет о книгах, написанных разными авторами об одном и том же событии, где действуют исторические лица, некоторые совпадения естественны и неизбежны. Никто же не считал «Памятник» Пушкина плагиатом у Державина, как не было конфликта между автором «Войны и мира» Л. Толстым и автором «Сожженной Москвы» Г. Данилевским. Претензия Б. Филиппова тогда была отклонена как бездоказательная и квалифицирована как злонамеренная попытка запятнать доброе имя классика русской литературы С. Н. Сергеева-Ценского.

С тех пор минуло 35 лет. За это время переиздавалась «Севастопольская страда» Сергеева-Ценского и дважды роман М. Филиппова «Осажденный Севастополь». Обе книги нашли своих читателей и почитателей. Молчавший все эти годы Б. Филиппов снова «заговорил». Те же обвинения: «...почетный академик, лауреат Сталинской премии, многое, деликатно говоря, бесцеремонно «заимствовал» из романа моего отца». И уже — утверждение о «наличии в эпопее Сергеева-Ценского всех форм заимствования — от идеи и подражания до прямого плагиата, выражающихся в механическом перенесении готовых деталей и текстов вне творческого переосмысления и переработки их, что зачастую делает эти детали в новом контексте, при иных ситуациях фальшивыми».

Обвинение серьезное, но совершенно бездоказательное, голословное, без единого примера «текстуальных совпадений». Ком грязи брошен, доверчивый читатель введен в заблуждение: классик русской литературы ошельмован. Выходит, рапповские времена в литературе возрождаются. Невольно вспоминаются крыловские строки о Моське, лающей на Слона. Выходит, что сегодня она и впрямь сильна. И сила ее держится на односторонней, кособокой гласности. РАПП был детищем массовых репрессий, и назрела необходимость сегодня разоблачить всю гнусность рапповских времен ради извлечения уроков против разнузданной русофобии сегодня.

С одной стороны, безудержный рекламный бум вокруг одних, нередко заурядных, писателей, имена которых не сходят с газетных и журнальных страниц. С другой стороны, бездоказательное охаивание, оскорбительные выпады, навешивание походя ярлыков, вроде «черносотенец», «ретроград», на уважаемых, талантливейших деятелей литературы Шолохова, Новикова-Прибоя, Сергеева-Ценского, на тех, кто шел в народ владимирскими проселками и вологодскими волоками, начинавших перестройку еще в пятидесятые и шестидесятые годы, опередивших ученых на десятилетия в борьбе за чистоту Байкала, за сохранность национальных святынь.

Иван ШЕВЦОВ,
председатель комиссии по литературному наследию С. Н. Сергеева-Ценского при Союзе писателей СССР.

ЗАЧЕМ ИМ ЭТО НАДО?

Одним из наиболее заметных результатов перестройки в нашей стране по праву считаются успехи в области гласности. Вместе с тем, судя по ряду публикаций в прессе, «шлюзы открыты явно недостаточно». Назойливо делается попытка внушить читателю, что среди немногих оставшихся якобы закрытых тем является тема Вооруженных Сил СССР. То, что наша страна перед всем миром раскрыла численность Вооруженных Сил и вооружений государств — участников Варшавского Договора, обнародовала часть данных о дислокации частей и соединений и т. д., почему-то «радетели перестройки» в расчет не принимают.

В ближайшее время, очевидно, правительством будет принято решение показать полную численность Вооруженных Сил и раскрыть военный бюджет. Это выбьет козыри у многих злопыхателей за рубежом, да и не только там. Уж очень огорчается академик В. Гольданский («Аргументы и факты», 1989, № 9), что «по другим отраслям можно все рассчитать с большой точностью, несмотря на отсутствие порядка в ценах, а тут...». Прямо-таки бухгалтерский зуд одолел ученого мужа.

Заметно активизировались отдельные органы печати и в освещении вопросов, прямо ставящих под сомнение целесообразность существующей структуры Вооруженных Сил и даже советского военного строительства в целом. Лидерство здесь, как и в освещении кооперативной темы, вне всякого сомнения принадлежит «Огоньку». Бок о бок с «Огоньком» идут «Московские новости». Эти печатные органы на удивление охотно предоставляют возможность «выговориться» на армейскую тему дилетантам экстремистского толка. «Сократить службу в армии до года, превратить ее в квалифицированную профессиональную армию», — вещает поэт Е. Евтушенко («Огонек», 1989, № 9). В этом же журнале (1989, № 11) читаем, что «некоторые положения общевоинского Устава не только не полезны, но и противопоказаны». Назвавшийся философом И. Шатило дает уникальную, на мой взгляд, формулу строительства армии в нашей стране: «...небольшая регулярная армия плюс крупные полувоенные организации, эволюционизирующие по направлению к чисто «гражданским» социально-экономическим службам и трудовым формированиям» («Московские новости», 1989, № 4).

В этом же номере газеты бухгалтер Е. Гюнтмахер советует «отказаться от всеобщего призыва».

Льющиеся мутным потоком предложения строить современную армию по «милицейской системе», «территориальному принципу» и другая казуистика, как считают их авторы, «восстановят ленинский облик социалистической армии» («Московские новости», 1988, № 45). Все это вызывает, мягко говоря, улыбку. Неужели кто-то способен принимать подобное всерьез, неужели мы ничему не научились на горьком опыте различных реорганизаций, многие из которых проводились не в столь отдаленные годы.

Какие только напасти не обрушивались

на нашу деревню! В результате действий ретивых хозяйственников и экономистов при научном обосновании академика Заславской было преступно уничтожено свыше 500 тысяч сел и деревень. Многие сотни миллионов гектаров пашни и покосов заросли лесом. В крайнем запустении и оскудении коренные области России. А ведь из этих сел и деревень десятки миллионов сражались за отчий дом и край в окопах, миллионы пали. Десятки миллионов тружеников тыла кормили всю страну. За что такая черная неблагодарность к россиянам тысячелетних сел?! Результаты подобных реформ и реорганизаций не могли не сказаться на положении и наших российских городов.

Не к такому ли конечному результату стремятся подвести и армию называемые мною «благодетели»?

В настоящее время наше государство вплотную подошло к реализации важнейшего политического решения, о котором было объявлено в декабре прошлого года (имею в виду сокращение Вооруженных Сил и расходов на оборону). Не ставя под сомнение обоснованность данного решения, замечу, что в освещении, особенно «Огоньком», одностороннего сокращения Вооруженных Сил СССР почему-то просматривается в основном международный аспект. Создается убеждение, что публикуемые там материалы направлены исключительно на Запад. Спрашивается, зачем подобное угодничество, низкопоклонство? Какая цель преследуется при этом? Что касается советского читателя, то ему назойливо внушают, что, сократив (а может быть, разогнав?) армию, государство сказочно разбогатеет. При этом упорно обходится вопрос о том, куда, в какую бездну действительно проваливаются народные деньги (к примеру, заключение международных договоров, чаще кабальных для нашей страны). Волей-неволей напрашивается вывод, что кому-то страшно хочется продлить «бесовский шабаш на русской земле» (В. Пикуль.— «Наш современник», 1989, № 2).

Нарастает волна разговоров о строительстве «общеевропейского дома». Со страниц того же «Огонька» улыбается министр обороны США (теперь уже бывший). Там же, пробуя перо, умиляется службой в американской армии отпрыск известного советского журналиста. В свою очередь в позу миротворцев становятся американские журналисты, побывавшие в одной из частей Советской Армии («Огонек», 1989, № 11). Все это можно было бы считать в порядке вещей, стройся «общеевропейский дом» совместными усилиями. Пока же суровая реальность свидетельствует об обратном. Запад без лишней трескотни, но зато основательно, делает свое дело, отложив участие в «строительстве» до лучших времен. «Сейчас не время для США и их союзников идти на сокращение вооруженных сил и вооружений, ослаблять наши оборонные усилия», — заявил президент Буш, поздравляя Р. Чейни с вступлением на пост министра обороны США. А пока отсутствие «общеевропейского дома» отнюдь не мешает некоторым «отказникам» от социализма совершать турне по капиталистическим странам, а по возвращении в СССР учить нас уму-разуму, в том числе в решению оборонных вопросов (как это делает А. Сахаров в «Московских новостях», 1989, № 6).

А. ЕФИМОВ,
полковник,
старший преподаватель Академии им. М. В. Фрунзе.

В 1990 году читайте в "Нашем современнике":

Александр СОЛЖЕНИЦЫН. "ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО" (из цикла романов "Красное колесо").

Юрий БОНДАРЕВ. Роман "ЖЕЛАНИЕ".

Сергей АЛЕКСЕЕВ. Роман "КРАМОЛА", книга вторая.

Валентин ПИКУЛЬ. Роман "СТАЛИНГРАД".

Среди авторов прозы: В. БЕЛОВ, В. АСТАФЬЕВ, В. СОЛОУХИН ("КАМЕШКИ НА ЛАДОНИ"), В. РАСПУТИН, Л. БОРОДИН (повесть "ТРЕТЬЯ ПРАВДА"), молодые писатели.

Публицистика и критика будут представлены широко известными именами И. ШАФАРЕВИЧА, М. АНТОНОВА, В. КОЖИНОВА, М. ЛОБАНОВА, Ф. ШИПУНОВА, А. САЛУЦКОГО, Д. ЖУКОВА, Вл. БОНДАРЕНКО, К. РАША, Т. ГЛУШКОВОЙ, Ю. ЛОЩИЦА, А. ЛАНЩИКОВА, В. ТРОСТНИКОВА, К. МЯЛО.

Рубрика "СВОБОДА СОВЕСТИ": материалы об истории русской церкви, о судьбах ее подвижников, о ее сегодняшнем дне.

Рубрика "РУССКАЯ МЫСЛЬ": труды Н. БЕРДЯЕВА, С. БУЛГАКОВА, Н. ЛОССКОГО, В. РОЗАНОВА, Е. ТРУБЕЦКОГО, Г. ФЕДОТОВА.

Рубрика "ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АРХИВ": неизвестные у нас страницы из мемуаров И. БУНИНА, М. АЛДАНОВА, З. ГИППИУС, исторические очерки Р. ГУЛЯ о крупнейших деятелях ЧК — ОГПУ, материалы, посвященные истории советских Соловков...

Поэзия "Нашего современника": Юрий КУЗНЕЦОВ, Владимир СОЛОУХИН, Николай ТРЯПКИН, Лариса ВАСИЛЬЕВА, Василий КАЗАНЦЕВ, Федор СУХОВ, Владимир КОСТРОВ, Виктор ЛАПШИН, молодые поэты. Из архивных публикаций — стихи М. КУЗМИНА, Н. КЛЮЕВА, М. ЦВЕТАЕВОЙ, Я. СМЕЛЯКОВА.